

О.Генри
Собрание сочинений в пяти томах
Том 4

СБОРНИК «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
Младенцы в джунглях

Как-то раз в Литл-Роке говорит мне Монтэгу Силвер, первый на всем Западе ловкач и пройдоха:

— Если ты когда-нибудь выживешь из ума. Билли, или почувствуешь, что ты уже слишком стар, чтобы по честному заниматься надувательством взрослых людей, поезжай в Нью-Йорк. На Западе каждую минуту рождается на свет один простак: но в Нью-Йорке их просто мечут, как икру, так что и не сосчитать.

Прошло два года, и вот замечаю я, что имена русских адмиралов стали выскакивать у меня из памяти, а над левым ухом появилось несколько седых волосков; тут я понял, что пришло время воспользоваться советом Силвера.

Я вкатился в Нью-Йорк в один прекрасный день около полудня и сразу же пошел прогуляться по Бродвею. Вдруг вижу — Силвер собственной персоной, наверчено на нем разной шикарной галантереи, и он стоит, прислонясь к стене какого-то отеля, и полирует себе лунки на ногтях шелковым платочком.

— Склероз мозга или преждевременная старость? — спрашиваю я его.

— А, Билли! — говорит Силвер. — Рад тебя видеть. Да, у нас на Западе, знаешь ли, все что-то очень поумнели. А Нью-Йорк я себе давно уже приберегал на сладкое. Конечно, не очень это красиво обирать таких людей, как нью-йоркские жители. Ведь они считать умеют только до трех, танцевать только от печки, а думают раз в год по обещанию. Не хотел бы я, чтобы моя мать знала, что я обчищаю таких несмышленишей. Она меня не для того воспитывала.

— А что, у дверей, где написано: «Принимают в чистку», уже толпится очередь? — спрашиваю я.

— Да нет, — говорит Силвер. — В наши дни и без рекламы можно обойтись. Я ведь здесь только месяц. Но я готов приступить; и все учащиеся воскресной школы Вилли Манхэттена, изъявившие желание сделать свой вклад в это благородное предприятие, благоволят послать свои фотографии, для помещения в «Ивнинг дэйли».

— Я тут знакомился с городом, — говорит дальше Силвер, — читал каждый день газеты и, могу сказать, изучил его так, как кошка в ратуше изучила повадки полисменов-ирландцев. Люди здесь такие, что, если ты не торопишься вынуть у них деньги из кармана, они просто кидаются на пол, визжат и дрыгают ногами. Пойдем ко мне, Билли, я тебе порасскажу, как и что. По старой дружбе я готов заняться этим городом с тобой на пару.

Повел меня Силвер в свой номер в отеле. Там у него валяется масса всякой всячины.

— Есть много способов выкачивать деньги из этих столичных олухов, — говорит Силвер, — больше даже, чем способов варить рис в Чарлстоне, Южная Каролина. Они клюют на любую приманку. У большинства из них мозги устроены с переключателем. Чем они умнее и учнее, тем меньше у них здравого смысла. Вот только недавно один человек продал Дж. П. Моргану писанный маслом портрет Рокфеллера-младшего, выдав его за знаменитую картину Андреа дель Сарто «Иоанн Креститель в молодости».

Видишь там, в уголке, кипу печатных брошюрок? Так вот, имей в виду, что это золотые россыпи. Я тут на днях стал было распродавать их, но через два часа должен был прекратить торговлю. Почему? Меня арестовали за то, что я застопорил уличное движение. Люди дрались из-за каждого экземпляра. По дороге в участок я успел продать десяток полисмену, который меня вел. Но после этого я их изъял из обращения. Не могу, понимаешь, просто так брать у людей деньги. Хочу, чтобы они хоть немножко подумали, прежде чем отдавать их мне, иначе это ранит мое самолюбие. Пусть хотя бы попробуют угадать, какой буквы не хватает в слове «Чик-го», или прикупить к паре девяток, прежде чем доставать кошелек из кармана.

А то вот еще было одно дело, которое далось мне так легко, что пришлось от него отказаться. Видишь на столе бутылку синих чернил? Я изобразил у себя на руке татуировку в виде якоря, пошел в один банк и представился там как племянник адмирала Дьюи. Мне тут же предложили выдать тысячу долларов под вексель с переводом на дядю, да на беду я не знал его инициалов. Но по этому примеру ты можешь судить, до чего легко работать в этом городе. Грабители, например, так те просто не войдут в дом, если там не приготовлен горячий ужин и нет достаточного штата прислуги с высшим образованием. В любом районе бандиты дырявят граждан без всякого затруднения, и это рассматривается как простой случай оскорбления действием.

— Монти, — говорю я, как только Силвер затормозил, — может, ты и правильно разделал Манхэттен в своем резюме, но что-то мне не верится. Я здесь всего два часа, но у меня нет такого впечатления, что этот городишко уже выложен для нас на тарелочку и даже ложка рядом. На мой вкус, ему не хватает *rus in urbe*[1]. Меня бы, прямо скажу, больше устроило, если бы у здешних граждан порой торчали соломинки в волосах и они питали пристрастие к бархатным жилетам и брелокам с гирию величиной. Боюсь, что не так уж они просты.

— Все понятно. Билли, — говорит Силвер. — Ты заболел эмигрантской болезнью. Само собой, Нью-Йорк чуть побольше, чем Литл-Рок или Европа, я приезжому человеку с непривычки страшновато. Но ничего, это у тебя пройдет. Я же тебе говорю, мне иной раз хочется отшлепать здешних жителей за то, что они не присылают мне все свои» деньги уложенными в корзины для белья и обрызганными жидкостью от насекомых. А то еще тащись за ними на улицу! Знаешь, кто в этом городе ходит в брильянтах? Жены мазуриков и невесты шулеров. Облапошить ньюйоркца легче, чем вышить голубую розу на салфеточке. Меня только одна вещь беспокоит — как бы мои сигары не поломались, когда у меня все карманы будут набиты двадцатками.

— Что ж, дай бог, чтоб ты оказался прав, Монти, — говорю я, — только лучше бы мне все-таки сидеть в Литл-Роке и не гнаться за большими доходами. Даже в неурожайный год там всегда наберется десяток-другой фермеров, готовых поставить свое имя на подписном листе в пользу постройки нового здания для почты, который можно учесть в местном банке сотни за две долларов. А у здешних людей, сдается мне, чересчур развит инстинкт самосохранения и сохранения своего кошелька. Боюсь, что у нас с тобой для такой игры тренировки маловато.

— Напрасные опасения, — говорит Силвер. — Я знаю настоящую цену этому Кретинтауну близ Разиньвилля, и это так же верно, как то, что Северная река-это Гудзон, а Восточная река — вообще не река.[2] Да тут в четырех кварталах от Бродвея живут люди, которые в жизни не видели никаких домов, кроме небоскребов. Живой, деятельный, энергичный житель Запада за каких-нибудь три месяца должен сделаться здесь достаточно заметной фигурой, чтобы заслужить либо снисхождение Джерома, либо осуждение Лоусона.

— Оставим гиперболы, — говорю я, — и скажи, можешь ли ты предложить конкретный способ облегчить здешнее общество на доллар-другой, не обращаясь к Армии спасения и не падая в обморок на крыльце особняка мисс Эллен Гүлд?

— Могу предложить хоть двадцать способов, — говорит Силвер. — Сколько у тебя капитала, Билли?

— Тысяча, — отвечаю.

— А у меня тысяча двести, — говорит он. — Составим компанию и будем делать большие дела. Есть столько возможностей нажать миллион, что я просто не знаю, с какой начинать.

На следующее утро Силвер встречает меня в вестибюле отеля, и я вижу, что он так и пыжится от удовольствия.

— Сегодня мы познакомимся с Дж. П. Морганом, — говорит он. — Тут у меня есть один знакомый в отеле, который хочет нас ему представить. Он его близкий приятель. Говорит, что тот очень любит приезжих с Запада.

— Вот это уже похоже на дело! — говорю я. — Очень буду рад познакомиться с мистером Морганом.

— Да, — говорит Силвер, — нам, пожалуй, не помешает завести знакомства среди финансовых воротил. Мне нравится, что в Нью-Йорке так радушно встречают приезжих.

Фамилия знакомого Силвера была Клейн. В три часа Клейн явился к Силверу в номер вместе со своим приятелем с Уолл-стрита. Мистер Морган был немного похож на свои

портреты; левая нога у него была обернута мохнатым полотенцем, и он ходил, опираясь на палку.

— Это мистер Силвер, а это мистер Пескад, — говорит Клейн. — Я думаю, нет нужды, — говорит он, — называть имя великого финансового...

— Ну, ну, ладно, Клейн, — говорит мистер Морган. — Рад познакомиться с вами, джентльмены; меня очень интересует Запад. Клейн сказал мне, что вы из Литл-Рока. У меня как будто имеется парочка железных дорог в тех краях. Может, кому из вас, ребята, охота перекинуться в покер, так я...

— Пирпонт, Пирпонт, — перебивает Клейн. — Вы что, забыли?

— Ах, извините, джентльмены! — говорит Морган. — С тех пор как у меня сделалась подагра, я иногда играю в картишки со знакомыми, которые навещают меня в моем особняке. Скажите, никому из вас не приходилось там, на Западе, встречать Одноглазого Питера? Он жил в Сиэтле, Нью-Мексико.

Не дожидаясь нашего ответа, мистер Морган вдруг сердито застучал палкой об пол и принялся расхаживать по комнате взад и вперед, браня кого-то громким голосом.

— Что, Пирпонт, наверное, на Уолл-стрите опять стараются сбить курс ваших акций? — спрашивает Клейн с усмешкой.

— Какие там еще акции! — грозно рычит мистер Морган. — Это я расстраиваюсь из-за той картины, за которой специально посылал человека в Европу. Только сегодня получил от него телеграмму, что он ищет ее по всей Италии и не может найти. Я бы завтрашний день заплатил за эту картину пятьдесят тысяч долларов — да что пятьдесят! Семьдесят пять тысяч заплатил бы. Я дал своему человеку a la carte: покупать за любую цену. Просто не понимаю, почему картинные галереи терпят, что настоящий де Винчи...

— Как, мистер Морган? — говорит Клейн. — Разве не все картины де Винчи находятся в вашей коллекции?

— А что это за картина, мистер Морган? — спрашивает Силвер. — Наверно, она величиной с боковую стену небоскреба «Утюг»?

— Вы, я вижу, не очень разбираетесь в искусстве, мистер Силвер, — говорит Морган. — Это картинка размером двадцать семь дюймов на сорок два, и называется она «Досуг любви». Нарисовано на ней несколько барышень-манекенш, которые танцуют тустеп на берегу лиловой речки. В телеграмме говорится, что скорей всего эта картинка уже вывезена в Америку. А без нее моя коллекция не полна. Ну, мне пора, джентльмены. Наш брат, финансист, должен, знаете, соблюдать режим.

Мистер Морган уехал от нас в кэбе вместе с Клейном. После их ухода мы с Силвером долго говорили о том, как простодушны и доверчивы великие люди; Силвер сказал, что обмануть такого человека, как мистер Морган, было бы просто бессовестно; а я сказал, что, на мой взгляд, это было бы неосторожно.

После обеда Клейн предложил пройтись по городу, и мы втроем, я, он и Силвер, отправились на Седьмую авеню посмотреть, какие там есть достопримечательности. В витрине у закладчика Клейн вдруг увидел запонки, которые ему ужасно понравились. Он вошел в лавку, чтобы купить их, а мы вошли вместе с ним.

Когда мы вернулись в отель и Клейн ушел к себе, Силвер вдруг кидается ко мне и начинает размахивать руками.

— Видал? — говорит он. — Ты ее видал, Билли?

— Кого — ее? — спрашиваю.

— Да ту самую картинку, за которой охотится Морган. Она висит у закладчика, прямо над его конторкой. Я только не хотел ничего говорить при Клейне. Будь уверен, это та самая. Барышни прямо как живые, из таких, что носят платье сорок шестого размера, но там-то они обходятся без платьев. И все так меланхолично выбрыкивают ногами, и речка тут же, и берег. Сколько, мистер Морган сказал, он бы отдал за эту картину? Ну, неужели не понимаешь? Ведь хозяин лавки наверняка не знает, что у него там за сокровище.

На следующее утро лавка еще не успела открыться, а мы с Силвером уже были тут как тут, словно двое забулдыг, которым не терпится раздобыть денег на выпивку под заклад воскресного костюма. Входим мы в лавку и начинаем рассматривать цепочки для часов.

— Это что за мазня у вас там висит, над конторкой? — говорит Силвер хозяину как бы между прочим. — Вообще говоря, никудышная картинка, но мне на ней приглянулась вон та рыженькая, с острыми лопатками. Я бы вам предложил за нее два доллара с четвертью, да боюсь, как бы вы не разбили какие-нибудь хрупкие предметы, когда броситесь поскорее снимать ее с гвоздя.

Хозяин усмехается и продолжает раскладывать перед нами часовые цепочки накладного золота.

— Эту картину, — говорит он, — принес мне в заклад один итальянец год тому назад. Я ему дал под нее пятьсот долларов. Это «Досуг любви» Леонардо де Винчи. Как раз два дня тому назад истек законный срок, так что сейчас она уже поступила в продажу как невыкупленный заклад. Вот, рекомендую эту цепочку, очень модный фасон.

Полчаса спустя мы с Силвером вышли из лавки с картиной подмышкой, заплатив за нее ростовщику две тысячи наличными. Силвер сразу же сел в кэб и покатил к Моргану в банк. Я вернулся в отель, сижу и дожидаясь. Через два часа является Силвер.

— Ну, как, застал мистера Моргана? — спрашиваю я. — Сколько он заплатил за картину? Силвер садится и начинает перебирать бахрому скатерти.

— Мистера Моргана мне застать не удалось, — говорит он, — потому что мистер Морган уже второй месяц путешествует по Европе. Но вот чего я не могу понять, Билли: эта самая картинка продается во всех универсальных магазинах и стоит вместе с рамкой три доллара сорок восемь центов. А за рамку отдельно просят три доллара пятьдесят центов — как же это получается, хотел бы я знать?

Город без происшествий

Перевод Е. Калашниковой

*Города, спеси полны,
Кичливый ведут спор —
Один — от прибрежной волны,
Другие — с отрогов гор.*
Р. Киплинг

Ну можно ли представить себе роман о Чикаго, или о Буффало, или, скажем, о Нэшвиле, штат Теннесси? В Соединенных Штатах всего три города, достойных этой, чести: прежде всего, конечно, Нью-Йорк, затем Новый Орлеан и лучший из всех — Сан-Франциско.

Франк Норрис

Восток-это Восток, а Запад-это Сан-Франциско, таково мнение калифорнийцев. Калифорнийцы — не просто обитатели штата, а особая нация. Это южане Запада. Чикагцы не менее преданы своему городу; но если вы спросите чикагца, за что он любит свой город, он начнет заикаться и бормотать что-то о рыбе из озера Мичиган и новом здании тайного ордена «Чудаков». Калифордянец же за словом в карман не полезет.

Прежде всего он будет добрых полчаса рассуждать о благодатном климате, пока вы думаете о поданных вам счетах за уголь и о шерстяных фуфайках. А когда он, ошибочно приняв ваше молчание за согласие, войдет в раж, он начнет расписывать город Золотых Ворот каким-то, Багдадом Нового Света. И, пожалуй, по этому пункту опровержений не требуется. Но, дорогие мои родственники (кузены по Адаму и Еве)! Опрометчиво поступит тот, кто, положив палец на географическую карту, скажет: «В этом городе нет ничего романтического... Что может случиться в таком городе?» Да, дерзко и опрометчиво было бы бросить в одной фразе вызов истории, романтике и издательству Рэнд и Мак-Нэлли.

«Нэшвил. Город; столица и ввозный порт штата Теннесси; расположен на реке Камберленд и на скрещении двух железных дорог. Считается самым значительным центром просвещения на юге».

Я вышел из поезда в восемь часов вечера. Тщетно перерыв словарь в поисках подходящих прилагательных я вынужден обратиться взамен словаря к фармакопее.

Возьмите лондонского тумана тридцать частей, малярии десять частей, просочившегося светильного газа двадцать частей, росы, собранной на кирпичном заводе при восходе солнца, двадцать пять частей, запаха жимолости пятнадцать частей. Смешайте.

Эта смесь даст вам некоторое представление о нэшвилском морозящем дожде. Не так пахуче, как шарики нафталина, и не так густо, как гороховый суп, а впрочем, ничего — дышат.

Я поехал в гостиницу в каком-то рыдване. Большого труда мне стоило воздержаться и не вскарабкаться, в подражание Сиднею Картону[3], на его верх. Повозку тащила пара ископаемых животных, а управляло ими что-то темное, но уже вырванное из тьмы рабства.

Я устал, и мне хотелось спать. Поэтому, добравшись до гостиницы, я поспешил уплатить пятьдесят центов, которые потребовал возница, и, честное слово, почти столько же прибавил на чай. Я знал их привычки, и у меня не было ни малейшего желания слушать его болтовню о старом хозяине и о том, что было «до войны».

Гостиница была одною из тех, которые описывают в рекламах как «заново отделанные». Это значит: на двадцать тысяч долларов новых мраморных колонн, изразцов, электрических люстр и медных Плевательниц в вестибюле, а также новое расписание поездов и литография с изображением Теннессийского хребта во всех просторных номерах на втором этаже. Администрация вела себя безукоризненно, прислуга была внимательна, полна утонченной южной вежливости, медлительна, как улитка, и добродушна, как Рип ван Винкль[4]. А кормили так, что из-за одного этого стоило проехать тысячу миль. Во всем мире не найдется гостиницы, где вам подали бы такую куриную печенку «броше».

За обедом я спросил слугу-негра, что делается у них в городе. Он сосредоточенно раздумывал с минуту, потом ответил:

— Видите ли, сэр, пожалуй, что после захода солнца здесь ничего не делается.

Заход солнца уже состоялся, — оно давно утонуло в морозящем дожде. Значит, этого зрелища я был лишен. Но я все-таки вышел на улицу, под дождь, в надежде увидеть хоть что-нибудь.

«Он построен на неровной местности, и улицы его освещаются электричеством. Годовое потребление энергии на 32.470 долларов».

Выйдя из гостиницы, я сразу натолкнулся на международные беспорядки. На меня бросилась толпа не то бедуинов, не то арабов или зулусов, вооруженных... впрочем, я с облегчением увидел, что они вооружены не винтовками, а кнутами. И еще я заметил неясные очертания целого каравана темных и неуклюжих повозок и, слыша успокоительные выкрики: «Прикажете подать? Куда прикажете? Пятьдесят центов конец», — рассудил, что я не жертва, а всего-навсего седок.

Я проходил по длинным улицам, которые все поднимались в гору. Интересно было бы узнать, как они спускаются потом обратно. А может быть, они вовсе не спускаются в ожидании нивелировки. На некоторых «главных» улицах я видел там и сям освещенные магазины; видел трамвай, развозивший во все концы почтенных граждан; видел пешеходов, упражнявшихся в искусстве разговора, слышал взрывы не слишком веселого смеха из заведения, в котором торговали содовой водой и мороженым. На «неглавных» улицах приютились дома, под крышами которых мирно текла семейная жизнь. Во многих из них за скромно опущенными шторами горели огни, доносились звуки рояля, ритмичные и благодетельные. Да, действительно, здесь «мало что делалось». Я пожалел, что не вышел до захода солнца, и вернулся в гостиницу.

«В ноябре 1864 года отряд южан генерала Гуда двинулся против Нэшвилля, где и окружил части северных войск под командованием генерала Томаса. Этот последний сделал вылазку и разбил конфедератов в жестоком бою».

Я всю свою жизнь был свидетелем и поклонником удивительной меткости, какой достигают в мирных боях южане, жуящие табак. Но в этой гостинице меня ожидал сюрприз. В большом вестибюле имелось двенадцать новых, блестящих, вместительных, внушительного вида медных плевательниц, настолько высоких, что их можно было бы назвать урнами, и с

такими широкими отверстиями, что на расстоянии не более пяти шагов лучший из подающих дамской бейсбольной команды, пожалуй, сумел бы попасть мячом в любую из них. Но хотя тут свирепствовала и продолжала свирепствовать страшная битва, враги не были побеждены. Они стояли блестящие, новые, внушительные, вместительные, нетронутые. Но — боже правый! — изразцовый пол, чудный изразцовый пол! Я невольно вспомнил битву под Нэшвилем и, по привычке, сделал кой-какие выводы в пользу того положения, что меткостью стрельбы управляют законы наследственности.

Здесь я в первый раз увидел Уэнтуорта Кэсуэла, майора Кэсуэла, если соблюсти неуместную южную учтивость. Я понял, что это за тип, лишь только сподобился увидеть его. Крысы не имеют определенного географического местожительства. Мой старый друг А. Теннисон сказал, и сказал, по своему обыкновению, метко:

«Пророк, прокляни болтливый язык и прокляни британскую гадину-крысу».

Будем рассматривать слово «британский», как подлежащее замене *ad libitum*[5]. Крыса везде остается крысой.

Человек этот сновал по вестибюлю гостиницы, как голодная собака, которая не помнит, где она зарыла кость. У него было широкое лицо, мясистое, красное, своей сонной массивностью напоминавшее Будду. Он имел только одно достоинство — был очень гладко выбрит. До тех пор пока человек бреется, печать зверя не ляжет на его лицо. Я думаю, что, не воспользуясь он в этот день бритвой, я бы отверг его авансы и в уголовную летопись мира не было бы внесено еще одно убийство.

Я стоял в пяти шагах от одной из плевательниц, когда майор Кэсуэл открыл по ней огонь. У меня хватило наблюдательности, чтобы заметить, что нападающая сторона пользуется скорострельной артиллерией, а не каким-нибудь охотничьим ружьем. Поэтому я быстро сделал шаг в сторону, что дало майору повод извиниться передо мной как представителем мирного населения. Язык у него был как раз «болтливый». Через четыре минуты он стал моим приятелем и потащил меня к стойке.

Я хочу оговориться здесь, что я и сам южанин, но не по профессии или ремеслу. Я избегаю галстуков-шнурков, шляп с широкими опущенными полями, длинных черных сюртуков «принц Альберт», разговоров о количестве тюков хлопка, уничтоженных генералом Шерманом, и жевания табака. Когда оркестр играет «Дикси»[6], я не рукоплещу. Я только усаживаюсь поудобнее в моем кожаном кресле, заказываю еще бутылку пива и жалею, что Лонгстрит[7] не... Но к чему сожаления?

Майор Кэсуэл ударил кулаком по стойке, и ему отозвалась первая пушка на форте Сэмтер. Когда он выстрелил из последней — на Аппоматоксе, у меня появилась слабая надежда... Но он перешел на родословные древа и выяснил, что Адам приходился семье Кэсуэл всего лишь троюродным братом, да и то только боковой ее ветви. Покончив с генеалогией, он, к великому моему отвращению, стал распространяться о своих семейных делах. Он упомянул о своей жене, проследил ее происхождение вплоть до Евы и яростно опроверг клеветнические слухи о том, что у нее будто бы есть какие-то родственные связи с потомками Каина.

К этому времени у меня родилось подозрение, что он затеял весь этот шум с целью заставить меня забыть, что напитки заказаны им, и в надежде, что я, заговоренный им до полусмерти, заплачу за них. Но когда мы выпили, он со звоном швырнул на стойку серебряный доллар. После этого мне ничего не оставалось, как только потребовать вторую порцию. Заплатив за нее, я сухо и решительно простился с ним, довольно было с меня его общества. Но прежде чем я отделался от него, он успел громко похвастаться доходами своей жены и показать мне полную пригоршню серебряной монеты.

Когда я подошел к конторке за ключом, клерк вежливо сказал мне:

— Если этот Кэсуэл надоедает вам, мы можем его выпроводить. Это несносное существо, бездельник, без каких-либо явных средств к существованию, хотя у него большей частью кое-какие деньги водятся. К сожалению, у нас нет повода вышвырнуть его отсюда законным образом.

— Нет, зачем же, — сказал я подумав. — У меня нет достаточных причин жаловаться на него. Но имейте в виду, что я действительно не ищу его общества. Ваш город, — продолжал я, — по-видимому, очень тихий город. Какого рода увеселения, приключения или развлечения можете вы предложить приехавшему к вам иностранцу?

— В будущий четверг, сэр, сюда приезжает цирк. Там... Да вот я поищу объявление и пришлю его вам в номер, когда вам подадут воду со льдом Покойной ночи.

Придя наверх в свою комнату, я выглянул из окна. Было всего только десять часов, но передо мной лежал уже безмолвный город. Продолжало моросить, кое-где блестели огоньки, но на таком далеком расстоянии друг от друга, как коринки в сладкой булке, продаваемой на дамском благотворительном базаре.

— Тихое место, — сказал я себе, когда мой первый башмак ударился в потолок над головой постояльца, занимавшего комнату внизу. — В здешней жизни нет того, что придает красочность и разнообразие городам Запада и Востока. Это просто хороший, обыкновенный, скучный, деловой город.

«Нэшвилл занимает одно из первых мест среди промышленных центров страны. Он является пятым обувным рынком Соединенных Штатов, самым крупным на юге поставщиком конфет и печенья и ведет обширную оптовую торговлю мануфактурой, колониальными и аптекарскими товарами».

Я должен сказать вам, зачем я приехал в Нэшвилл. Могу вас уверить, что это отступление так же скучно для меня, как и для вас. Ехал я в другое место, по своим делам, но один нью-йоркский издатель поручил мне завернуть сюда для установления личной связи между ним и одним из его сотрудников — А. Эддр.

От Эдэра (кроме почерка, редакция о нем ничего не знала) поступило всего несколько «опытов» (утраченной искусство!) и стихотворений. Просмотрев их за завтраком, редактор одобрительно чертыхнулся, а затем отрядил меня с поручением так или иначе обойти названного Эдэра и законтрактовать на корню всю его (или ее) литературную продукцию по два цента за слово, пока другой издатель не предложил ему (или ей) десять, а то и двадцать.

На следующее утро в девять часов, скушав куриную печенку «броше» (попробуйте непременно, если попадете в эту гостиницу), я вышел под дождь, которому все еще не предвиделось конца. На первом же углу я наткнулся на дядю Цезаря. Это был дюжий негр, старше пирамид, с седыми волосами и лицом, напомнившим мне сначала Брута, а через секунду покойного короля Сеттивайо. На нем было необыкновенное пальто. Такого я еще ни на ком не видел и, должно быть, никогда не увижу. Оно доходило ему до лодыжек и было некогда серым, как военная форма южан. Но дождь, солнце и годы так испестрили его, что рядом с ним плащ Иосифа показался бы бледной гравюрой в одну краску. Я останавливаюсь на описании этого пальто потому, что оно играет роль в последующих событиях, до которых мы никак не можем дойти, так как ведь трудно представить себе, что в Нэшвилле могло произойти какое-нибудь событие.

Пальто, по-видимому, некогда было офицерской шинелью. Капюшона на нем уже не существовало. Весь перед его был раньше богато отделан галуном и кисточками. Но галун и кисточки теперь тоже исчезли. На их месте был терпеливо пришит, вероятно какой-нибудь сохранившейся еще черной «мамми», новый галун, сделанный из мастерски скрученной обыкновенной бечевки. Бечевка была растрепана и раздергана. Это безвкусное, но потребовавшее великих трудов изделие призвано было, по-видимому, заменить исчезнувшее великолепие, так как веревка точно следовала по кривой, оставленной бывшим галуном. И в довершение смешного и жалкого вида одеяния все пуговицы на нем, кроме одной, отсутствовали. Уцелела только вторая сверху. Пальто завязывалось веревочками, продетыми в петли и в грубо проткнутые с противоположной стороны дырки. На свете еще не было одеяния, столь фантастически разукрашенного и испещренного таким количеством оттенков. Одинокая пуговица, желтая, роговая, величиной с полдоллара, была пришита толстой бечевкой.

Негр стоял около кареты, такой древней, что, должно быть, еще Хам по выходе из ковчега запрягал в нее пару чистых и занимался извозчицким промыслом. Когда я подошел, он открыл дверцу, вытащил метелку из перьев, помахал ею для видимости и сказал глухим, низким голосом:

— Пожалуйте, сар. Карета чистая, ни пылинки нет, Прямо с похорон, сар.

Я вывел заключение, что ради таких торжественных okazji, как похороны, кареты здесь подвергаются особой чистке. Оглядев улицу и ряд колымаг, стоявших у панели, я убедился, что выбирать не из чего. В своей записной книжке я нашел адрес Эдэра.

— Мне нужно на Джессамин-стрит, номер восемьсот шестьдесят один, — сказал я, собираясь уже влезть в карету.

Но в эту минуту огромная рука старого негра загородила мне вход. На его массивном и мрачном лице промелькнуло выражение подозрительности и вражды. Затем, быстро успокоившись, он спросил заискивающе!

— А зачем вы туда едете, сар?

— А вам какое дело? — сказал я довольно резко.

— Никакого, сар, никакого. Только улица это тихая, по делам туда никто не ездит. Пожалуйста, садитесь. Сиденье чистое, я прямо с похорон, сар.

Пути было, вероятно, мили полторы. Я ничего не слышал, кроме страшного гроыхания древней повозки по неровной каменной мостовой. Я ничего не ощущал, кроме мелкого дождя, пропитанного теперь запахом угольного дыма и чего-то вроде смеси дегтя с цветами олеандра. Сквозь струящуюся по стеклам воду я смутно различал только два длинных ряда домов.

«Город занимает площадь в 10 квадратных миль; общее протяжение улиц 181 миля, из которых 137 миль мощеных; магистрали водопровода, постройка которого стоила 2000000 долларов, составляют 77 миль».

Дом восемьсот шестьдесят один по Джессамин-стрит оказался полуразвалившимся особняком. Он стоял отступя шагов тридцать от улицы и был заслонен великолепной купой деревьев и неподстриженным кустарником; кусты самшита, посаженные вдоль забора, почти совсем скрывали его. Калитку удерживала веревочная петля, наброшенная на ближайший столбик забора. Но тому, кто входил в самый дом, становилось понятно, что номер восемьсот шестьдесят один только остов, только тень, только призрак былого великолепия. Впрочем, в рассказе я еще туда не вошел.

Когда карета перестала гроыхать и усталые четвероногие остановились, я протянул негру пятьдесят центов и прибавил еще двадцать пять с приятным сознанием своей щедрости. Он отказался взять деньги.

— Два доллара, сар, — сказал он.

— Это почему? — спросил я. — Я прекрасно слышал ваши выкрики у гостиницы: «Пятьдесят центов в любую часть города».

— Два доллара, сар, — упрямо повторил он. — Это очень далеко от гостиницы.

— Это в черте города, — доказывал я. — Не думайте, что вы подцепили желторотого янки. Вы видите эти горы, — продолжал я, указывая на восток (хотя я и сам за дождем ничего не видел), — ну, так знайте, что я родился и вырос там. А вы, глупый старый негр, неужели не умеете распознавать людей?

Мрачное лицо короля Сеттивайо смягчилось.

— Так вы с Юга, сар? Это ваши башмаки ввели меня в заблуждение: для джентльмена с Юга у них носы слишком острые.

— Теперь, я полагаю, плата будет пятьдесят центов? — непреклонно сказал я.

Прежнее выражение жадности и неприязни вернулось на его лицо, оставалось на нем десять секунд и исчезло.

— Сар, — сказал он, — пятьдесят центов правильная плата, только мне нужно два доллара, обязательно нужно два доллара. Не то чтобы я требовал их с вас, сар, раз уж знаю, что вы сами с Юга. А только я так говорю, что мне обязательно надо два доллара... А седоков нынче мало.

Теперь его тяжелое лицо выражало спокойствие и уверенность. Ему повезло больше, чем он рассчитывал. Вместо того, чтобы подцепить желторотого новичка, не знающего таксы, он наткнулся на старожилу.

— Ах вы, бесстыжий старый плут, — сказал я, опуская руку в карман. — Следовало бы вас отправить в полицию.

В первый раз я увидел у него улыбку. Он знал. Прекрасно знал. Знал с самого начала.

Я дал ему две бумажки по доллару. Протягивая их ему, я обратил внимание, что одна из них пережила немало передраг. Правый верхний угол был у нее оторван, и, кроме того, она

была разорвана посередине и склеена. Кусочек тончайшей голубой бумаги, наклеенной по надрыву, делал ее годной для дальнейшего обращения.

Но довольно пока об этом африканском бандите; я оставил его совершенно удовлетворенным, приподнял веревочную петлю и открыл скрипучую калитку.

Как я уже говорил, передо мною был только остов дома. Кисть маляра уже двадцать лет не касалась его. Я не мог понять, почему сильный ветер не смел его до сих пор, как карточный домик, пока не взглянул опять на тесно обступившие его деревья — на деревья, которые видели битву при Нэшвиле, но все еще простирали свои ветви вокруг дома, защищая его от бурь, холода и от врагов.

Азалия Эдэр — седая женщина лет пятидесяти, потомок кавалеров, тоненькая и хрупкая, как ее жилище, одетая в платье, дешевле и опрятней которого трудно себе представить, — приняла меня с царственной простотою.

Гостиная казалась величиной в квадратную милю, потому что в ней не было ничего, кроме книг на некрашенных белых сосновых полках, треснувшего мраморного стола, ковра из тряпок, волосяного дивана без волоса и двух или трех стульев. Да, была еще картина, нарисованная цветным карандашом и изображавшая пучок анютиных глазок. Я оглянулся, ища портрет Эндрю Джексона[8] и корзинку из сосновых шишек, но их не было.

Я побеседовал с Азалией Эдэр и кое что расскажу вам об этом. Детище старого Юга, она была заботливо возвращена среди окружавшего ее мирного уюта. Познания ее были не обширны, но глубоки и ярко оригинальны. Она воспитывалась дома, и ее знание света основывалось на умозаключениях и интуиции. Из таких людей и состоит малочисленная, но драгоценная и редкая порода эссеистов. Пока она говорила со мной, я бессознательно тер свои пальцы, виновато стараясь смахнуть с них несуществующую пыль от кожаных корешков Лэмба, Чосера, Хэзлита, Марка Аврелия, Монтэня и Гуда. Что за прелесть эта Азалия Эдэр! Какая ценная находка! В наши дни все знают так много — слишком много! — о действительной жизни.

Мне было совершенно ясно, что Азалия Эдэр очень бедна. «У нее есть дом и есть во что одеться, но больше, вероятно, ничего», — подумалось мне. Таким образом, раздираемый между моими обязательствами по отношению к издателю и преданностью поэтам и эссеистам, сражавшимся против генерала Томаса в долине Кэмберленда, я слушал ее голос, звучащий, как клавикорды, и понял, что не в силах повести речь о договорах. В присутствии девяти муз и трех граций не так-то легко низвести уровень беседы до двух центов. «Придется приехать еще раз, — сказал я себе. — Может быть, я тогда настроюсь на коммерческий лад». Но все же я сообщил ей о цели моего приезда, и деловой разговор был назначен на три часа следующего дня.

— Ваш город, — сказал я, готовясь уходить (в это время всегда говорят банальные фразы), — по-видимому, очень тихий, спокойный, так сказать семейный город, где редко случается что-нибудь из ряда вон выходящее.

«Он поддерживает с Западом и Югом обширную торговлю скобяными товарами, и его мукомольные мельницы пропускают свыше 2000 баррелей в день».

Азалия Эдэр, видимо, размышляла о чем-то.

— Я никогда не думала о нем с этой точки зрения, — сказала она с какой-то свойственной ей напряженной искренностью. — Разве происшествия не случаются как раз в тихих, спокойных местах? Мне представляется, что при сотворении мира, если б кто-нибудь в первый же понедельник высунул из окна, он услышал бы, как скатываются капли грязи с божьей лопаты, только что нагромоздившей эти первозданные горы. А к чему свелось самое громкое начинание мировой истории? Я говорю о Вавилонской башне. К двум-трем страницам на эсперанто в «Североамериканском обозрении».

— Конечно, — глупо ответил я, — человеческая природа везде одинакова, но в некоторых городах как-то больше красочности... э-э... больше драматизма и движения и... э-э... романтики, чем в других.

— На первый взгляд, — сказала Азалия Эдэр. — Я много раз путешествовала вокруг света на золотом воздушном корабле, крыльями которого были книги и мечты. Я видела (во время одной из моих воображаемых поездок), как турецкий султан собственноручно удавил шнурком одну из своих жен за то, что она открыла лицо на людях. Я видела, как один человек в Нэшвиле разорвал билеты в театр, потому что жена его собиралась пойти туда, закрыв лицо... слоем

пудры. В китайском квартале Сан-Франциско я видела, как девушку-рабыню Синг. И понемногу погружали в кипящее миндальное масло, заставляя ее принести клятву, что она больше никогда не увидится со своим возлюбленным-американцем. Она поклялась, когда кипящее масло поднялось на три дюйма выше колен. Я видела, как недавно на вечеринке в восточном Нэшвиле от Китти Морган отвернулись семь ее закадычных школьных подруг за то, что она вышла замуж за маляра. Кипящая олифа доходила ей до самого сердца, но посмотрели бы вы, с какой прелестной улыбкой она порхала от стола к столу. О да, это скучный город. Только несколько миль красных кирпичных домов, грязь, лавки и склады леса.

Кто-то осторожно постучал с черного хода. Азалия Эдэр мягко извинилась и пошла узнать, кто это. Она вернулась через три минуты, помолодевшая на десять лет, глаза ее блестели, на щеках проступил легкий румянец.

— Вы должны выпить у меня чашку чая со сладкими булочками, — сказала она.

Она позвонила в маленький металлический колокольчик. Явилась девочка-негритянка лет двенадцати, босая, не очень опрятная, и грозно посмотрела на меня, засунув большой палец в рот и выпучив глаза.

Азалия Эдэр открыла небольшой истрепанный кошелек и достала оттуда бумажный доллар — доллар с оторванным правым верхним углом, разорванный пополам и склеенный полоской тонкой голубой бумаги. Не могло быть сомнения — это была одна из бумажек, которые я дал разбойнику-негру.

— Сходи, на угол, Импи, к мистеру Бэкеру, — сказала она, передавая девочке доллар, — и возьми четверть фунта чая того, который мы всегда берем; — и на десять центов сладких булочек. Иди скорей. У нас как раз вышел весь чай, — объяснила она мне.

Импи вышла через заднюю дверь. Не успел еще затихнуть топот ее босых ног по крыльцу, как дикий крик, — я был уверен, что кричала она, — огласил пустой дом. Затем глухой и хриплый голос рассерженного мужчины смешался с писком и невнятным лепетанием девочки.

Азалия Эдэр встала, не выказывая ни тревоги, ни удивления, и исчезла. Еще минуты две я слышал хриплое мужское ворчание, какое-то ругательство и возню, затем она вернулась ко мне, по-прежнему спокойная.

— Это очень большой дом, — сказала она, — и я сдаю часть его жильцу. К сожалению, мне приходится отменить мое приглашение на чай. В магазине не оказалось чая того сорта, который я всегда беру. Мистер Бэкэр обещал достать мне его завтра.

Я был убежден, что Импи не успела еще уйти из дома. Я справился, где тут поближе проходит трамвай, и простился. Когда я уже порядочно отошел от дома, я вспомнил, что не спросил Азалию Эдэр, как ее настоящая фамилия. Ну, да все равно, завтра узнаю.

В этот же день я вступил на стезю порока, на которую привел меня этот город без происшествий. Я прожил в нем только два дня, но за это время успел бессовестно налгать по телеграфу и сделаться сообщником убийства, правда, сообщником *post factum*, если существует такое юридическое понятие.

Когда я заворачивал за угол, — ближайший к моей гостинице, африканский возница, обладатель многоцветного, единственного в своем роде пальто, перехватил меня, распахнул тюремную дверь своего передвижного саркофага, помахал метелкой из перьев и затянул свое обычное:

— Пожалуйте, сар, карета чистая, только что с похорон. Пятьдесят центов в любой...

Тут он узнал меня и широко осклабился.

— Простите, сар... Ведь вы — тот джентльмен, которого я возил нынче утром. Благодарю вас, сар.

— Завтра, в три часа, мне опять нужно на Джессамайн-стрит, — сказал я. — Если вы будете здесь, я поеду с вами. Так вы знаете мисс Эдэр? — добавил я, вспомнив свой бумажный доллар.

— Я принадлежал ее отцу, судье Эдэру, сар, — ответил он.

— Похоже, что она сильно нуждается, — сказал я. — Невелик у нее доход, а?

Опять передо мной мелькнуло свирепое лицо короля Сеттивайо и снова превратилось в лицо старого извозчика-вымогателя.

— Она не голодает, сар,-тихо сказал он, — у нее есть доходы... да, у нее есть доходы.

— Я заплачу вам пятьдесят центов за поездку, — сказал я.

— Совершенно правильно, сэр, — смиренно ответил он. — Это только сегодня мне необходимо было иметь два доллара, сэр.

Я вошел в гостиницу и заставил солгать телеграфный провод. Я протелеграфировал издателя: «Эдер настаивает восьми центом слово». Ответ пришел такого содержания: «Соглашайтесь немедленно тупица».

Перед самым обедом «майор» Уэнтурт Кэсуэл атаковал меня так радостно, будто я был его старым другом, которого он давно не видел. Я еще не встречал человека, который вызвал бы во мне такую ненависть и от которого так трудно было бы отделаться. Он застиг меня у стойки, поэтому я никак не мог разразиться тирадой о вреде алкоголя. Я с удовольствием первым заплатил бы за выпитое, чтобы избавиться от него; но он был одним из тех презренных, кричащих, выставяющих себя напоказ пьяниц, которые требуют оркестра, музыки и фейерверка к каждому центу, истраченному ими на свою блажь.

С таким видом, словно он дает миллион, он вытащил из кармана два бумажных доллара и бросил один из них на стойку. И я снова увидел бумажный доллар с оторванным правым углом, разорванный пополам и склеенный полоской тонкой голубой бумаги. Это опять был мой доллар. Другого такого быть не могло.

Я поднялся в свою комнату. Моросящий дождь и скука унылого, лишеного событий южного города навели на меня тоску и усталость. Помню, что перед тем как лечь, я успокоился относительно этого таинственного доллара (в Сан-Франциско он послужил бы прекрасной завязкой для детективного рассказа), сказав себе: «Здесь, как видно, существует трест извозчиков, и в нем очень много акционеров, И как быстро выдают у них дивиденды! Хотел бы я знать, что было бы, если бы...» Но тут я заснул.

На следующий день король Сеттивайо был на своем месте и мои кости снова протряслись в его катафалке до Джессамайн-стрит, Выходя, я велел ему ждать и доставить меня обратно.

Азалия Эдэр выглядела еще более чистенькой, бледной и хрупкой, чем накануне. Подписав договор (по восьми центов за слово), она совсем побелела и вдруг стала сползать со стула. Без особого труда я поднял ее, положил на допотопный диван, а затем выбежал на улицу и заорал пирату кофейного цвета, чтобы он привез доктора. С мудростью, которой я не подозревал в нем, он покинул своих одров и побежал пешком, очевидно понимая, что времени терять нечего. Через десять минут он вернулся с седовласым, серьезным, сведущим врачом. В нескольких словах (стоивших много меньше восьми центов каждое) я объяснил ему свое присутствие в этом пустом таинственном доме. Он величаво поклонился и повернулся к старому негру.

— Дядя Цезарь, — спокойно сказал он, — сбегай ко мне и скажи мисс Люси, чтоб она дала тебе полный кувшин свежего молока и полстакана портвейна. Живей. Только не на лошадях. Беги пешком — это дело спешное.

Я увидел, что доктор Мерримен тоже не доверяет резвости коней моего сухопутного пирата. Когда дядя Цезарь вышел, шагая неуклюже, но быстро, доктор очень вежливо, но вместе с тем и очень внимательно оглядел меня и, наконец, очевидно решил, что говорить со мной можно.

— Это от недоедания, — сказал он. — Другими словами — это результат бедности, гордости и голодовки. У миссис Кэсуэл много преданных друзей, которые были бы рады помочь ей, но она не желает принимать помощь ни от кого, кроме как от этого старого негра, дяди Цезаря, который когда-то принадлежал ее семье.

— Миссис Кэсуэл? — с удивлением переспросил я. А потом я взглянул на договор и увидел, что она подписалась: «Азалия Эдэр-Кэсуэл».

— Я думал, что она мисс Эдэр, — сказал я.

— ...вышедшая замуж за пьяного, никуда негодного бездельника, сэр, — закончил доктор. — Говорят, он отбирает у нее даже те крохи, которыми поддерживает ее старый слуга.

Когда появилось молоко и вино, доктор быстро привел Азалию Эдэр в чувство. Она села и стала говорить о красоте осенних листьев (дело было осенью), о прелести их окраски. Мимоходом она коснулась своего обморока как следствия давнишней болезни сердца. Она лежала на диване, а Импи обмахивала ее веером. Доктор торопился в другое место, и я дошел

с ним до подъезда. Я сказал ему, что имею намерение и возможность выдать Азалии Эдэр небольшой аванс в счет ее будущей работы в журнале, и он, по-видимому, был этим доволен.

— Между прочим, — сказал он, — вам, может быть, небезынтересно узнать, что вашим кучером был потомок королей. Дед старика Цезаря был королем в Конго. Вы могли заметить, что и у самого Цезаря царственная осанка.

Когда доктор уже уходил, я услышал голос дяди Цезаря:

— Так как же это... он оба доллара отнял у вас, мисс Зали?

— Да, Цезарь, — послышался ее слабый ответ.

Тут я вошел и закончил с нашим будущим сотрудником денежные расчеты. За свой страх я выдал ей авансом пятьдесят долларов, уверив ее, что это необходимая формальность для скрепления нашего договора. Затем дядя Цезарь отвез меня назад в гостиницу.

Здесь оканчивается та часть истории, которой я сам был свидетелем. Остальное будет только голым изложением фактов.

Около шести часов я вышел прогуляться. Дядя Цезарь был на своем углу. Он открыл дверцу кареты, помахал метелкой и затянул свою унылую формулу:

— Пожалуйста, сар, пятьдесят центов в любую часть города. Карета совершенно чистая, сар, только что с похорон...

Но тут он узнал меня. По-видимому, зрение его слабело. Пальто его расцветилось еще несколькими оттенками, веревка-шнурок еще больше растрепалась, и последняя оставшаяся пуговица — желтая роговая пуговица — исчезла. Жалким потомком королей был этот дядя Цезарь!

Часа два спустя я увидел возбужденную толпу, осаждавшую вход в аптеку. В пустыне, где никогда ничего не случается, это была манна небесная, и я протолкался в середину толпы. На импровизированном ложе из пустых ящиков и стульев покоились тленные останки майора Уэнтуорта Кэсуэла. Доктор попытался обнаружить и его нетленную душу, но пришел к выводу, что таковая отсутствует.

Бывший майор был найден мертвым на глухой улице и принесен в аптеку любопытными и скучающими согражданами. Все подробности указывали на то, что это бывшее человеческое существо выдержало отчаянный бой. Какой бы ни был он негодяй и бездельник, он все же оставался воином. Но он проиграл сражение. Кулаки его были сжаты так крепко, что не было возможности разогнуть пальцы. Знавшие его добросердечные граждане старались найти в своем лексиконе какое-нибудь доброе слово о нем. Один добродушного вида человек после долгих размышлений сказал:

— Когда Кэсу было четырнадцать лет, он был одним из лучших в школе по правописанию.

Пока я стоял тут, пальцы правой руки покойника, свесившиеся с края белого соснового ящика, разжались и выронили что-то около моей ноги. Я спокойно прикрыл «это» подошвой, а через некоторое время поднял и положил в карман. Я понял, что в последней борьбе его рука бессознательно схватила этот предмет и зажала его в предсмертной судороге.

В тот вечер в гостинице главной темой разговора, за исключением политики и «сухого закона», была кончина майора Кэсуэла. Я слышал, как один человек сказал группе слушателей:

— По моему мнению, джентльмены, Кэсуэла убил один из этих хулиганов-негров, из-за денег. Сегодня днем у него было пятьдесят долларов: он их многим показывал. А когда его нашли, денег при нем не оказалось.

Я выехал из города на следующее утро в девять часов, и когда поезд шел по мосту через Кэмберленд, я вынул из кармана желтую роговую пуговицу величиной с полдоллара с еще висевшими на ней раздерганными концами бечевки и выбросил ее из окна в тихую мутную воду.

Хотел бы я знать, что-то делается сейчас в Буффало?

Попробовали — убедились

Перевод под ред. Ив. Кашкина

Весна подмигнула редактору журнала «Минерва» прозрачным стеклянным глазком и совратила его с пути. Он только что позавтракал в своем излюбленном ресторанчике, в гостинице на Бродвее, и возвращался к себе в редакцию, но вот тут и увяз в путях проказницы весны. Это значит, если сказать попросту, что он свернул направо по Двадцать шестой улице, благополучно перебрался через весенний поток экипажей на Пятой авеню и углубился в аллею распускающегося Мэдисонсквера.

В мягком воздухе и нежном убранстве маленького парка чувствовалось нечто идиллическое; всюду преобладал зеленый цвет, основной цвет первозданных времен — дней сотворения человека и растительности. Тоненькая травка, пробивающаяся между дорожками, отливала медянкой, ядовитой зеленью, пронизанной дыханием множества бездомных человеческих существ, которым земля давала приют летом и осенью. Лопающиеся древесные почки напоминали что-то смутно знакомое тем, кто изучал ботанику по гарниру к рыбным блюдам сорокапятицентového обеда. Небо над головой было того бледно-аквамаринового оттенка, который салонные поэты рифмуют со словами «тобой», «судьбой» и «родной». Среди всей этой гаммы зелени был только один натуральный, беспримесный зеленый цвет — свежая краска садовых скамеек, нечто среднее между маринованным огурчиком и прошлогодним дождевым плащом, который пленял покупателей своей иссиня-черной блестящей поверхностью и маркой «нелиняющий».

Однако на городской взгляд редактора Уэстбрука пейзаж представлял собою истинный шедевр.

А теперь, принадлежите ли вы к категории опрометчивых безумцев, или нерешительных ангельских натур, вам придется последовать за мной и заглянуть на минутку в редакторскую душу.

Душа редактора Уэстбрука пребывала в счастливом, безмятежном покое. Апрельский выпуск «Минервы» разошелся весь целиком до десятого числа — торговый агент из Кеокука сообщил, что он мог бы сбить еще пятьдесят экземпляров, если бы они у него были. Издатели — хозяйева журнала — повысили ему (редактору) жалованье. Он только что обзавелся превосходной, недавно вывезенной из провинции кухаркой, до смерти боявшейся полисменов. Утренние газеты полностью напечатали его речь, произнесенную на банкете издателей. Вдобавок ко всему в ушах его еще звучала задорная мелодия чудесной песенки, которую его прелестная молодая жена спела ему сегодня утром, перед тем как он ушел из дому. Она последнее время страшно увлекалась пением и занималась им очень прилежно, с раннего утра. Когда он поздравил ее, сказав, что она сделала большие успехи, она бросилась ему на шею и чуть не задушила его в объятиях от радости, что он ее похвалил. Но, помимо всего прочего, он ощущал также и благотворное действие живительного лекарства опытной сиделки Весны, которое она дала ему, тихонько проходя по палатам выздоравливающего города.

Шествуя, не торопясь, между рядами скамеек (на которых уже расположились бродяги и блюстительницы буйной детворы), редактор Уэстбрук почувствовал вдруг, как кто-то схватил его за рукав. Полагая, что к нему пристал какой-нибудь попрошайка, он повернул к нему холодное, ничего не обещающее лицо и увидел, что его держит за рукав Доу — Шэклфорд Доу, грязный, обтрепанный, в котором уже почти не осталось и следа от человека из приличного общества.

Пока редактор приходит в себя от изумления, позволим читателю бегло познакомиться с биографией Доу.

Доу был литератор, беллетрист и давнишний знакомый Уэстбрука. Когда-то они были приятелями. Доу в то время был человек обеспеченный, жил в приличной квартире, по соседству с Уэстбруками, Обе супружеские четы часто ходили вместе в театр, устраивали семейные обеды. Миссис Доу и миссис Уэстбрук были закадычными подругами.

Но вот однажды некий спрут протянул свои щупальца и, разыгравшись, проглотил незначай скромный капитал Доу, после чего Доу пришлось перебраться в район Грэмерси-парка, где за несколько центов в неделю можно сидеть на собственном сундуке перед камином из каррарского мрамора, любоваться на восьмисвечные канделябры да смотреть, как мыши возьмется на полу. Доу рассчитывал жить при помощи своего пера. Время от времени ему удавалось пристроить какой-нибудь рассказик. Немало своих произведений он посылал Уэстбруку. «Минерва» напечатала одно-два, все остальные вернули автору. К каждой отвергнутой рукописи Уэстбрук прилагал длинное, тщательно обдуманное письмо, подробно

излагая все причины, по которым он считал данное произведение не пригодным к печати. У редактора Уэстбрука было свое, совершенно твердое представление о том, из каких составных элементов получается хорошая художественная проза. Так же как и у Доу. Что касается миссис Доу, ее больше интересовали составные элементы скромных обеденных блюд, которые ей с трудом приходилось сочинять. Как-то раз Доу угощал ее пространными рассуждениями о достоинствах некоторых французских писателей. За обедом миссис Доу положила ему на тарелку такую скромную порцию, какую проголодавшийся школьник проглотил бы, не поперхнувшись, одним глотком. Доу выразил на этот счет свое мнение.

— Это паштет Мопассан, — сказала миссис Доу. — Я, конечно, предпочла бы, пусть это даже и не настоящее искусство, чтобы ты сочинил что-нибудь вроде романа в сериях Мариона Кроуфорда, по меньшей мере из пяти блюд и с сонетом Эллы Уилер Уилкоккс на сладкое. Ты знаешь, мне ужасно есть хочется.

Так процветал Шэклфорд Доу, когда он столкнулся в Мэдисон-сквере с редактором Уэстбруком и схватил его за рукав. Это была их первая встреча за несколько месяцев.

— Как, Шэк, это вы? — воскликнул Уэстбрук и тут же запнулся, ибо восклицание, вырвавшееся у него, явно подразумевало разительную перемену во внешности его друга.

— Присядьте-ка на минутку, — сказал Доу, дергая его за обшлаг. — Это моя приемная. В вашу я не могу явиться в таком виде. Да сядьте же, прошу вас, не бойтесь уронить свой престиж. Эти общипанные пичуги на скамейках примут вас за какого-нибудь роскошного громилу. Им и в голову не придет, что вы всего-навсего редактор.

— Покурим, Шэк? — предложил редактор Уэстбрук, осторожно опускаясь на ядовито-зеленую скамью. Он всегда сдавался не без изящества, если уж сдавался.

Доу схватил сигару, как зимородок пескаря или как юная девица шоколадную конфетку.

— У меня, видите ли, только... — начал было редактор.

— Да, знаю, можете не договаривать. У вас всего только десять минут в вашем распоряжении. Как это вы ухитрились обмануть бдительность моего клерка и ворваться в мое святилище? Вон он идет, помахивая своей дубинкой и готовясь обрушить ее на бедного пса, который не может прочесть надписи на дощечке «По траве ходить воспрещается».

— Как ваша работа, пишете? — спросил редактор.

— Поглядите на меня, — сказал Доу. — Вот вам ответ. Только не стройте, пожалуйста, этакой искренно соболезнающей, озабоченной мины и не спрашивайте меня, почему я не поступлю торговым агентом в какую-нибудь винодельческую фирму или не сделаюсь извозчиком. Я решил вести борьбу до победного конца. Я знаю, что я могу писать хорошие рассказы, и я заставляю вас, голубчиков, признать это. Прежде чем я окончательно расплывусь с вами, я отучу вас подписываться под сожалениями и научу выписывать чеки.

Редактор Уэстбрук молча смотрел через стекла своего пенсне кротким, скорбным, проникновенно-сочувствующе-скептическим взором редактора, одолеваемого бездарным автором.

— Вы прочли последний рассказ, что я послал вам, «Пробуждение души»? — спросил Доу.

— Очень внимательно. Я долго колебался насчет этого рассказа, Шэк, можете мне поверить. В нем есть несомненные достоинства. Я все это написал вам и собирался приложить к рукописи, когда мы будем посылать ее вам обратно. Я очень сожалею...

— Хватит с меня сожалений, — яростно оборвал Доу. — Мне от них ни тепло, ни холодно. Мне важно знать чем они вызваны. Ну, выкладывайте, в чем дело, начинайте с достоинств.

Редактор Уэстбрук подавил невольный вздох.

— Ваш рассказ, — невозмутимо начал он, — построен на довольно оригинальном сюжете. Характеры удались вам как нельзя лучше. Композиция тоже очень недурна, за исключением нескольких слабых деталей, которые легко можно заменить или исправить кой-какими штрихами. Это был бы очень хороший рассказ, но...

— Значит, я могу писать английскую прозу? — перебил Доу.

— Я всегда говорил вам, что у вас есть стиль, — отвечал редактор.

— Так, значит, все дело в том...

— Все в том же самом, — подхватил Уэстбрук. — Вы разрабатываете ваш сюжет и подводите к развязке, как настоящий художник. А затем вдруг вы превращаетесь в фотографа. Я не знаю, что это у вас — мания или какая-то форма помешательства, но вы неизменно впадаете в это всякий раз, что бы вы ни писали. Нет, я даже беру обратно свое сравнение с фотографом. Фотографии, несмотря на немыслимую перспективу, все же удается кой-когда запечатлеть хоть какой-то проблеск истины. Вы же всякий раз, как доводите до развязки, портите все какой-то грязной, плоской, уничтожающей мазней; я уже столько раз указывал вам на это. Если бы вы, в ваших драматических сценах, держались на соответственной литературной высоте и изображали бы их в тех возвышенных тонах, которых требует настоящее искусство, почтальону не приходилось бы вручать вам так часто толстые пакеты, возвращающиеся по адресу отправителя.

— Экая ходульная чепуха! — насмешливо фыркнул Доу. — Вы все еще никак не можете расстаться со всеми — этими дурацкими вывертами отжившей провинциальной драмы. Ну ясно, когда черноусый герой похищает златокудрую Бесси, мамаша выходит на авансцену, падает на колени и, воздев руки к небу, восклицает: «Да будет всевышний свидетелем, что я не успокоюсь до тех пор, пока бессердечный злодей, похитивший мое дитя, не испытает на себе всей силы материнского отмщения!»

Редактор Уэстбрук невозмутимо улыбнулся спокойной, снисходительной улыбкой.

— Я думаю, что в жизни, — сказал он, — женщина, мать выразилась бы вот именно так или примерно в этом роде.

— Да ни в каком случае, ни в одной настоящей человеческой трагедии, — только на подмостках. Я вам скажу, как она реагировала бы в жизни. Вот что она сказала бы: «Как! Бесси увел какой-то неизвестный человек! Боже мой, что за несчастье! Одно за другим! Дайте мне скорей шляпу, мне надо немедленно ехать в полицию. И почему никто не смотрел за ней, хотела бы я знать? Ради бога не мешайтесь, уходите с дороги, или я никогда не соберусь. Да не эту шляпу, коричневую с бархатной лентой. Бесси, наверно, с ума сошла! Она всегда так стеснялась чужих! Я не слишком напудрилась? Ах, боже мой! Я прямо сама не своя!»

— Вот как она реагировала бы, — продолжал Доу. — Люди в жизни, в минуту душевных потрясений, не впадают в героину и мелодекламацию. Они просто неспособны на это. Если они вообще в состоянии говорить в такие минуты, они говорят самым обыкновенным, будничным языком, разве что немножко бессвязней, потому что у них путаются мысли и слова.

— Шэк, — внушительно произнес редактор Уэстбрук, — случилось ли вам когда-нибудь вытащить из-под трамвая безжизненное, изуродованное тело ребенка, взять его на руки, принести и положить на колени обезумевшей от горя матери? Случалось ли вам слышать при этом слова отчаянья и скорби, которые в эту минуту сами собой срываются с ее губ?

— Нет, не случилось, — отвечал Доу. — А вам случилось?

— Да нет, — слегка поморщившись, промолвил редактор Уэстбрук. — Но я прекрасно представляю себе, что она сказала бы.

— И я тоже, — буркнул Доу.

И тут для редактора Уэстбрука настал самый подходящий момент выступить в качестве оракула и заставить умолкнуть несговорчивого автора. Мыслимо ли позволить неудавшемуся прозаику вкладывать в уста героев и героинь журнала «Минерва» слова, не совместимые с теориями главного редактора?

— Дорогой мой Шэк, — сказал он, — если я хоть что-нибудь смыслю в жизни, я знаю, что всякое неожиданное, глубокое, трагическое душевное потрясение вызывает у человека соответственное, сообразное и подобающее его переживанию выражение чувств. В какой мере это неизбежное соотношение выражения и чувства является врожденным, в какой мере оно обуславливается влиянием искусства, это трудно сказать. Величественное, гневное рычание львицы, у которой отнимают детенышей, настолько же выше по своей драматической силе ее обычного воя и мурлыканья, насколько вдохновенная, царственная речь. Лира выше его старческих причитаний. Но наряду с этим всем людям, мужчинам и женщинам, присуще какое-то, я бы сказал, подсознательное, драматическое чувство, которое пробуждается в них под действием более или менее глубокого и сильного переживания; это чувство, инстинктивно усвоенное ими из литературы или из сценического искусства, побуждает их выражать свои переживания подобающим образом, словами, соответствующими силе и глубине чувства.

— Но откуда же, во имя всех небесных туманностей, черпает свой язык литература и сцена? — вскричал Доу.

— Из жизни, — победоносно изрек редактор.

Автор сорвался с места, красноречиво размахивая руками, неявно не находя слов для того, чтобы подобающим образом выразить свое негодование.

На соседней скамье какой-то оборванный малый, приоткрыв осоловелые красные глаза, обнаружил, что его угнетенный собрат нуждается в моральной поддержке.

— Двинь его хорошенько, Джек, — прохрипел он. — Этаким шаромыжник, пришел в сквер и бузит. Не даст порядочным людям спокойно посидеть и подумать.

Редактор Уэстбрук с подчеркнутой невозмутимостью посмотрел на часы.

— Но объясните мне, — в яростном отчаянии накинулся на него Доу, — в чем собственно, заключаются недостатки «Пробуждения души», которые не позволяют вам напечатать мой рассказ.

— Когда Габриэль Мэррей подходит к телефону, — начал Уэстбрук, — и ему сообщают, что его невеста погибла от руки бандита, он говорит, я точно не помню слов, но...

— Я помню, — перебил Доу. — Он говорит: «Проклятая Центральная, вечно разъединяет. (И потом своему другу.) Скажите, Томми, пуля тридцать второго калибра, это что, большая дыра? Надо же, везет как утопленнику! Дайте мне чего-нибудь хлебнуть, Томми, посмотрите в буфете, да нет, чистого, не разбавляйте».

— И дальше, — продолжал редактор, уклоняясь от объяснений, — когда Беренис получает письмо от мужа и узнает, что он бросил ее и уехал с маникюршей, она, я сейчас припомню...

— Она восклицает, — с готовностью подсказал автор: — «Нет, вы только подумайте!»

— Бессмысленные, абсолютно неподходящие слова, — отозвался Уэстбрук. — Они уничтожают все, рассказ превращается в какой-то жалкий, смехотворный анекдот. И хуже всего то, что эти слова являются искажением действительности. Ни один человек, внезапно настигнутый бедствием, не способен выражаться таким будничным, обиходным языком.

— Вранье! — рявкнул Доу, упрямо сжимая свои небритые челюсти. — А я говорю — ни один мужчина, ни одна женщина в минуту душевного потрясения не способны ни на какие высокопарные разглагольствования. Они разговаривают как всегда, только немножко бессвязней.

Редактор поднялся со скамьи с снисходительным видом человека, располагающего негласными сведениями.

— Скажите, Уэстбрук, — спросил Доу, удерживая его за обшлаг, — а вы приняли бы «Пробуждение души», если бы вы считали, что поступки и слова моих персонажей в тех ситуациях рассказа, о которых мы говорили, не расходятся с действительностью?

— Весьма вероятно, что принял бы, если бы я действительно так считал, — ответил редактор. — Но я уже вам сказал, что я думаю иначе.

— А если бы я мог доказать вам, что я прав?

— Мне очень жаль, Шэк, но боюсь, что у меня больше нет времени продолжать этот спор.

— А я и не собираюсь спорить, — отвечал Доу. — Я хочу доказать вам самой жизнью, что я рассуждаю правильно.

— Как же вы можете это сделать? — удивленно спросил Уэстбрук.

— А вот послушайте, — серьезно заговорил автор. — Я придумал способ. Мне важно, чтобы моя теория прозы, правдиво отображающей жизнь, была признана журналами. Я борюсь за это три года и за это время прожил все до последнего доллара, задолжал за два месяца за квартиру.

— А я, выбирая материал для «Минервы», руководился теорией, совершенно противоположной вашей, — сказал редактор. — И за это время тираж нашего журнала с девяноста тысяч поднялся.

— До четырехсот тысяч, — перебил Доу, — а его можно было бы поднять до миллиона.

— Вы, кажется, собирались привести какие-то доказательства в пользу вашей излюбленной теории?

— И приведу. Если вы пожертвуете мне полчаса вашего драгоценного времени, я докажу вам, что я прав. Я докажу это с помощью Луизы.

— Вашей жены! Каким же образом? — воскликнул Уэстбрук.

— Ну, не совсем с ее помощью, а, вернее сказать, на опыте с ней. Вы знаете, какая любящая жена Луиза и как она привязана ко мне. Она считает, что вся наша ходкая литературная продукция — это грубая подделка, и только я один умею писать по-настоящему. А с тех пор как я хожу в непризнанных гениях, она стала мне еще более преданным и верным другом.

— Да, поистине ваша жена изумительная, несравненная подруга жизни, — подтвердил редактор. — Я помню, она когда-то очень дружила с миссис Уэстбрук, они прямо-таки не расставались друг с другом. Нам с вами очень повезло, Шэк, что у нас такие жены. Вы должны непременно прийти к нам как-нибудь на днях с миссис Доу; поболтаем, посидим вечером, соорудим какой-нибудь ужин, как, помните, мы, бывало, устраивали в прежнее время.

— Хорошо, когда-нибудь, — сказал Доу, — когда я обзаведусь новой сорочкой. А пока что вот какой у меня план. Когда я сегодня собрался уходить после завтрака — если только можно назвать завтраком чай и овсянку — Луиза сказала мне, что она пойдет к своей тетке на Восемьдесят девятую улицу и вернется домой в три часа Луиза всегда приходит минута в минуту Сейчас...

Доу покосился на карман редакторской жилетки.

— Без двадцати семи три, — сказал Уэстбрук, взглянув на часы.

— Только-только успеть... Мы сейчас же идем с вами ко мне. Я пишу записку и оставляю ее на столе, на самом виду, так что Луиза сразу увидит ее, как только войдет. А мы с вами спрячемся в столовой, за портьерами. В этой записке будет написано, что я расстаюсь с ней навсегда, что я нашел родственную душу, которая понимает высокие порывы моей артистической натуры, на что она, Луиза, никогда не была способна. И вот когда она прочтет это, мы посмотрим, как она будет себя вести и что она скажет.

— Ни за что! — воскликнул редактор, энергично трясая головой. — Это же невыносимая жестокость. Шутить чувствами миссис Доу, — нет, я ни за что на это не соглашусь.

— Успокойтесь, — сказал автор. — Мне кажется, что ее интересы дороги мне во всяком случае не меньше, чем вам. И я в данном случае забочусь столько же о ней, сколько о себе. Так или иначе, я должен добиться, чтобы мои рассказы печатались. А с Луизой от этого ничего не случится. Она женщина здоровая, трезвая. Сердце у нее работает исправно, как девяностовосьмицентовые часы. И потом, сколько это продлится — минуту... я тут же выйду и объясню ей все. Вы должны согласиться, Уэстбрук. Вы не вправе лишать меня этого шанса.

В конце концов редактор Уэстбрук, хоть и неохотно и, так сказать, наполовину, дал свое согласие. И эту половину следует отнести за счет вивисектора, который безусловно скрывается в каждом из нас. Пусть тот, кто никогда не брал в руки скальпеля, осмелится подать голос. Все горе в том, что у нас не всегда бывают под рукой кролики и морские свинки.

Оба искусствовиспытателя вышли из сквера и взяли курс на восток, потом повернули на юг и через некоторое время очутились в районе Грэмерси. Маленький парк за высокой чугунной оградой красовался в новом зеленом весеннем наряде, любясь своим отражением в зеркальной глади бассейна. По ту сторону ограды выстроившиеся прямоугольником потрескавшиеся дома — покинутый приют отошедших в вечность владельцев — жались друг к другу, словно шушукующиеся призраки, вспоминая давние дела исчезнувшей знати. *Sic transit gloria urbis*[9].

Пройдя примерно два квартала к северу от парка, Доу с редактором опять взяли курс на восток и вскоре очутились перед высоким узким домом с безвкусно разукрашенным фасадом. Они взобрались на пятый этаж, и Доу, едва переводя дух, достал ключ и открыл одну из дверей, выходящих на площадку. Когда они вошли в квартиру, редактор Уэстбрук с чувством невольной жалости окинул взглядом убогую и скудную обстановку.

— Берите стул, если найдете, — сказал Доу, — а я пока поищу перо и чернила. Э, что это такое? Записка от Луизы, по-видимому она оставила мне, когда уходила.

Он взял конверт со стола, стоявшего посреди комнаты, и, вскрыв его, стал читать письмо. Он начал читать вслух и так и читал до конца. И вот что услышал редактор Уэстбрук:

«Дорогой Шэклфорд!

Когда ты получишь это письмо, я буду уже за сотню миль от тебя и все еще буду ехать. Я поступила в хор Западной оперной труппы, и сегодня в двенадцать часов мы отправляемся в турне. Я не хочу умирать с голоду и поэтому решила сама зарабатывать себе на жизнь. Я не вернусь к тебе больше. Мы едем вместе с миссис Уэстбрук.

Она говорит, что ей надоело жить с агрегатом из фонографа, льдины и словаря и что она также не вернется. Мы с ней два месяца практиковались потихоньку в пенье и танцах. Я надеюсь, что ты добьешься успеха и все будет хорошо.

Прощай.

Луиза».

Доу уронил письмо и, закрыв лицо дрожащими руками, воскликнул потрясенным, прерывающимся голосом:

— Господи боже, за что ты заставил меня испить чашу сию? Уж если она оказалась вероломной, тогда пусть самые прекрасные из всех твоих небесных даров — вера, любовь — станут пустой прибауткой в устах предателей и злодеев!

Пенсне редактора Уэстбрука свалилось на пол. Растерянно теребя пуговицу пиджака, он бормотал посиневшими губами:

— Послушайте, Шэк, ведь это черт знает что за письмо! Ведь этак можно человека с ног сбить. Да ведь это же черт знает что такое! А? Шэк?

«Кому что нужно»

Перевод М. Богословской

Ночь опустилась на большой, красивый город, что зовется Багдад-над-Подземкой, и на крыльях ночи слетели на него колдовские чары, которые не составляют монополии одной только Аравии. Улицы, базары и обнесенные стенами дома этого западного аванпоста романтики населял — хотя и в другом облики — не менее занятный люд, чем тот, что весьма занимал когда-то нашего старинного приятеля Г. А. Рашида. Одежды носили уже не те, какие видел покойный Г. А. на улицах Багдада, а ровно на одиннадцать столетий ближе к последнему крику моды, но люди-то под одеждой почти не изменились. Поглядите вокруг оком веры, и на каждом углу вам может встретиться и Маленький Горбун, и Синдбад-Мореход, и Мешковат Портной, и Прекрасный Персианин, и Одноглазые Дервиши, и Али-Баба с Сорока Разбойниками, не говоря уже о Цырюльнике и его Шести Братьях, словом, вся как есть старая арапская шайка. Но вернемся к нашим бараньим котлетам. Старый Том Кроули был калиф. Он владел сорока двумя миллионами долларов в самых солидных, привилегированных акциях. В наши дни, чтобы называться калифом, нужно иметь деньги. Калифствовать по-старинке, как мистер Рашид, теперь небезопасно. Попробуйте-ка пристать к какому-нибудь обывателю на базаре, или в турецкой бане, или просто в переулке и начать дознаваться о состоянии его личных дел! И охнуть не успеете, как уже будете стоять перед полицейским судом.

Старому Тому осточертели театры, клубы, обеды, приятели, музыка, деньги и вообще все на свете. Так и создаются калифы: вы должны почувствовать отвращение ко всему, что можно купить за деньги, выйти на улицу и постараться пожелать чего-нибудь такого, что не продается и не покупается.

«Пойду-ка я прогуляюсь один по городу, — подумал старина Том. — Погляжу, не удастся ли откопать что-нибудь новенькое. Стоп! Я, кажется, читал, что в стародавние времена какой-то король, или великан Кардифф, или еще кто-то в этом роде имел привычку расхаживать по улицам, нацепив фальшивую бороду, и заговаривать на восточный манер с людьми, которым он не был представлен. Тоже неплохая идея Знакомые-то все надоели до смерти, хандра от них заела Старый Кардифф, помнится, норовил выбирать тех, кто попал в беду. Как нарвется на таких, сейчас даст им золота — цехины, что ли, — и заставит пожениться или сунет на тепленькое местечко в каком-нибудь департаменте. Вот бы и мне надо что-нибудь такое отмочить. Мои деньги ничуть не хуже, чем его, хотя журналы и допытываются из месяца в месяц, как да откуда я их добываю Да, надо будет сегодня же вечером провести эту кардиффскую операцию. Посмотрим, что получится».

Одевшись попроще, старый Том Кроули покинул свой дворец на Мэдисон-авеню и взял курс на запад, а потом свернул к югу. В ту минуту, когда его нога ступила на тротуар, Судьба, которая держит в руках все нити и управляет из своей главной конторы жизнью очарованных городов, потянула за какой-то кончик, и в двадцати кварталах от старого Тома некий молодой человек глянул на стенные часы и надел пиджак.

Джеймс Тэрнер работал в одном из тех маленьких предприятий на Шестой авеню, где колокольчик поднимает отчаянный трезвон, когда вы отворяете дверь, и где чистят шляпы «в присутствии заказчика»... двое суток. Джеймс целый день стоял у электрической машины, которая кружила головные уборы быстрее, чем лучшее шампанское кружит головы. Снисходя к проявленному вами неуместному любопытству в отношении наружности незнакомого вам человека, мы позволим себе описать его в общих чертах: вес — сто восемнадцать фунтов; цвет лица и волос — светлый; рост — пять футов шесть дюймов; возраст — около двадцати трех лет; одет в десятидолларовый костюм из зеленовато-голубой саржи; содержимое карманов — два ключа и шестьдесят три цента мелкой монетой.

Воздержитесь от поспешных выводов, если описание это смахивает на полицейский протокол, — Джеймс Тэрнер жив и не пропал без вести.

Allons!

Джеймс Тэрнер целый день работал стоя. У него были чрезвычайно чувствительные ноги — болезненно чувствительные ко всякому давлению на них извне. День-деньской они ныли и горели, причиняя ему великие страдания и неудобства. Но работа приносила Джеймсу двенадцать долларов в неделю, которые были ему необходимы, чтобы держаться на ногах, даже если нот отказывались его держать.

У Джеймса Тэрнера было свое представление о счастье — совершенно так же, как у вас или у меня. По-вашему, нет ничего лучше, как носиться по свету на яхте или в автомобиле и швыряться дукатами в разные заморские диковинки. А я люблю посидеть в сумерках с трубочкой и поглядеть, как засыпают прерии и всякая нечисть отправляется помаленьку на покой.

Для Джеймса Тэрнера высшее блаженство заключалось в другом, и он был в этом совершенно самобытен. По окончании работы он шел домой — в меблированные комнаты с табльдотом. Поужинав скромным бифштеком, обугленным картофелем, печеным яблоком и цикорным кофе, он поднимался в свою угловую комнату на пятом этаже окнами во двор. Там, стащив с ног башмаки и носки, Джеймс Тэрнер растягивался на кровати, прижимал свои горящие ступни к ее холодным железным прутьям и уходил с головой в морские небылицы Кларка Рэссела. В блаженном прикосновении прохладною металла к многострадальным ступням Джеймс Тэрнер находил свою ежевечернюю отраду. Любимые морские истории, фантастические приключения отважных мореходов, никогда не приедались ему. Они были его единственной духовной страстью. Ни один миллионер никогда не чувствовал себя таким счастливым, как Джеймс Тэрнер, расположившийся отдохнуть.

Выйдя из мастерской, Джеймс Тэрнер не пошел на этот раз прямо домой, а уклонился в сторону на три квартала, чтобы порыться в старых книгах, которыми торгуют на тротуарах с лотков. Ему не раз удавалось раздобыть там за полцены какой-нибудь роман Кларка Рэссела в бумажной обложке.

Когда он стоял, склонившись с ученым видом над пестрой грудой макулатуры, старый Том Кроули, калиф, как раз проходил мимо. Его зоркий взгляд, обогащенный двадцатилетним опытом производства стирального мыла (экономьте на обертке!), сразу распознал в этом бедном, но взыскательном ученом достойный объект для своего калифского эксперимента. Спустившись по двум плоским каменным ступеням тротуара, он, не мешкая, обратился к намеченной им жертве своих будущих благодеяний. Начал он, как водится, с приветствия — просто чтобы нащупать почву.

Джеймс Тэрнер, зажав в одной руке «Sartor Resartus»[10], а в другой «Безумный брак», холодно поглядел на незнакомца.

— Проваливай, — сказал он. — Я не покупаю пиджачных вешалок и земельных участков в городе Хэнкипу, штат Нью-Джерси. Беги, старичок, поиграй со своим плюшевым медведем.

— Молодой человек, — сказал калиф, пропустив мимо ушей дерзкий ответ чистильщика шляп. — Я замечаю в вас склонность к кабинетным занятиям. Ученость — превосходная штука

Мне самому не пришлось ее набраться, — я родом с Запада, там у нас одни голые факты, — но в других я образованность ценю. И хоть не очень то я разбираюсь в поэзии и разных там иносказаниях, на которые вы тут нацелились, но мне нравится, когда кто-то думает, что он в состоянии понять, что все это значит. Короче, я хочу сделать вам предложение. Я стою сейчас около сорока миллионов долларов и с каждым днем становлюсь богаче. Я сколотил эту кучу денег на Серебристом Мыле Тетушки Пэтти. Это мое собственное изобретение. Три года пробовал так и этак, а потом взял как раз хорошую пропорцию хлористого натрия, каустика и поташа, сварил и получил то, что надо. На этом мыле я набрал миллионов девять, а остальное добрал на видах на урожай. Вы, я вижу, тяготеете к литературе и наукам. Так вот слушайте, что я надумал. Я оплачу ваше обучение в каком-нибудь самом первоклассном колледже. Потом вы поедете шататься по Европе и картинным галереям, и это я тоже оплачу. После чего я дам вам в руки какое-нибудь доходное дело. Не обязательно варить мыло, если вам это не по душе. Ваш костюм и эти махры, заменяющие галстук, говорят о том, что вы порядком нуждаетесь и не в ваших возможностях отклонить такое предложение. Итак, когда мы начнем?

Чистильщик шляп посмотрел на старого Тома, и тот увидел взгляд Большого Города: холодное и обоснованное подозрение читалось в этом взгляде, вызов, самозащита, любопытство, приговор (еще не окончательный, но суровый), цинизм, издевка и — как ни странно — детская тоска по теплоте участию, которую нужно скрывать, когда живешь среди «чужих банд». Ибо в Новом Багдаде, чтобы спасти свою шкуру, нужно остерегайся каждого, кто находится на соседней скамейке, рядом за стойкой, в комнате за стеной, в доме напротив, на ближайшем перекрестке или вон в том кэбе, — словом, всех, кто сидит, пьет, спит, живет, гуляет или проезжает мимо.

— Послушайте, приятель, — сказал Джеймс Тэрнер, — вы по какой части работаете, что-то я не пойму? Шнурки для ботинок? Мне не нужен этот товар. Ну-ка берите ноги в руки да катитесь отсюда, пока целы. Если вам надо сбыть партию автоматических ручек или очки в золотой оправе, которые вы подобрали на улице, или, может, пачку сертификатов — так не на того напали. Разве я, по-вашему, похож на человека, который сбегал из сумасшедшего дома по воображаемой пожарной лестнице? С чего это вас так разобрало?

— Сын мой, — произнес калиф на самых гарунальрашидских нотах, — у меня, как я уже сказал, сорок миллионов долларов. Мне не интересно тащить их с собой в могилу. Мне хочется сделать какое-нибудь доброе дело. Я видел, как вы рылись в этих литературных писаниях, и решил вас поддержать. Я пожертвовал миссионерским обществам два миллиона долларов, а что я от этого имею? Расписку секретаря. Вы, молодой человек, как раз то, что мне надо. Я хочу заняться вами и поглядеть, что можно из вас сделать с помощью денег.

Кларк Рассел в тот вечер что-то не попадался, и ноги Джеймса Тэрнера горели, как в огне, а от этого, прямо скажем, не подобреешь. Джеймс Тэрнер был простым чистильщиком шляп, но независимостью характера мог поспорить с любым калифом.

— Ну ты, старый пройдоха, — сказал он в сердцах, — топай отсюда! Я не знаю, чего ты добиваешься — разменять свою фальшивую кредитку в сорок миллионов? Так я не ношу с собой таких денег. А вот короткий левый в правую скулу у меня всегда при себе, и ты его заработаешь в два счета, если не разведешь пары.

— Ах ты, нахальный, паршивый уличный щенок! — сказал калиф.

Джеймс Тэрнер отвесил свой короткий левый. Старина Том ухватил его за шиворот и трижды лягнул в зад, чистильщик шляп извернулся и вошел в клинч; два лотка опрокинулись, и книги разлетелись по мостовой. Появился фараон и поволок обоих в участок.

— Драка и бесчинство, — доложил он сержанту полиции.

— На поруки — залог триста долларов, — мгновенно изрек сержант в утвердительно-вопросительной форме.

— Шестьдесят три цента, — сердито фыркнул Джеймс Тэрнер.

Калиф порылся в карманах и наскреб доллара на четыре бумажек и мелочи.

— Я стою, — сказал он, — сорок миллионов долларов, но...

— Запри их обоих, — распорядился сержант.

В камере Джеймс Тэрнер прилег на койку и задумался.

«Может, у него и вправду столько денег, а может, и врет. Да все одно — есть ли они у него, нет ли, — чего он сует свои нос в чужие дела? Когда человек знает, что ему нужно, и умеет своего добиться, так чем, спрашивается, это хуже сорока миллионов?»

Тут Джеймса Тэрнера осенила счастливая мысль, и лицо его просветлело.

Он разулся, пододвинул койку поближе к двери, растянулся со всем комфортом и прижал ноющие ступни к холодным железным прутьям решетки. Что-то твердое впилось ему в лопатку, причиняя неудобство. Он сунул руку под одеяло и вытащил оттуда роман Кларка Рессела «Возлюбленная моряка» в бумажной обложке. Джеймс Тэрнер удовлетворенно вздохнул.

К решетке подошел сторож и сказал:

— Слышь, парнишка, а ведь старый-то осел, которого забрали вместе с тобой за потасовку, и впрямь, оказывается, миллионер. Он позвонил своим друзьям и сидит сейчас в канцелярии с целой пачкой кредиток, толщиной в подушку спального вагона Ждет тебя — хочет взять на поруки.

— Скажите ему, что меня нет дома, — отвечал Джеймс Тэрнер.

Перевод Н. Озерской.

1

Сельский элемент в городе (лат.)

(обратно)

2

Северной рекой называется Гудзон в его нижнем течении. Восточная река — пролив между островами Манхэттен и Лонг-Айленд.

(обратно)

3

Персонаж из романа Диккенса «Повесть о двух городах».

(обратно)

4

Персонаж сказки Вашингтона Ирвинга.

(обратно)

5

По желанию (лат.)

(обратно)

6

Военная песня южан во время Гражданской войны в США.

(обратно)

7

Лонгстрит (1821—1904) — генерал южной армии в Гражданской войне США.

(обратно)

8

Президент США в 1829—1837 гг.

(обратно)

9

Так проходит слава городов (лат.)

(обратно)

10

«Портной в заплатках» (лат.) — философское сочинение Карлейля.

СБОРНИК «КОЛОВРАЩЕНИЕ»

Дверь и мир

У авторов, желающих привлечь внимание публики, существует излюбленный прием, сначала читателя уверяют, что все в рассказе — истинная правда, а затем прибавляют, что истина неправдоподобнее всякой выдумки. Я не знаю, истинна ли история, которую мне хочется вам рассказать, хотя суперкарго испанец с фруктового парохода «Эль Карреро» клялся мощами святой Гваделупы, что все факты были сообщены ему вице-консулом Соединенных Штатов в Ла Пасе — человеком, которому вряд ли могла быть известна и половина их.

А теперь я не без удовольствия опровергну вышеприведенную поговорку, клятвенно заверив вас, что совсем недавно мне довелось прочесть в заведомо выдуманном рассказе следующую фразу: «Да будет так», — сказал полисмен». Истина еще не породила ничего, столь невероятного.

Когда Х. фергюсон Хеджес, миллионер, предприниматель, биржевик и нью-йоркский бездельник, решал веселиться и весть об этом разносилась «по линии», вышибалы подбирали дубинки потяжелее, официанты ставили на его любимые столики небьющийся фарфор, кэбмены скоплялись перед ночными кафе, а предусмотрительные кассиры зланных мест, завсегдатаем которых он был, немедленно заносили на его счет несколько бутылок в качестве предисловия и введения.

В городе, где буфетчик, отпускающий вам «бесплатную закуску», ездит на работу в собственном автомобиле, обладатель одного миллиона не числится среди финансовых воротил. Но Хеджес тратил свои деньги так щедро, с таким размахом и блеском, как будто он был клерком, проматывающим недельное жалование. В конце концов, какое дело трактирщику до ваших капиталов? Его интересует ваш счет в баре, а не в банке.

В тот вечер, с которого начинается констатация фактов, Хеджес развлекался в теплой компании пяти-шести друзей и знакомых, собравшихся в его кильватере.

Самыми молодыми в этой компании были маклер Ральф Мэррием и его друг Уэйд.

Зафрахтовали два кэба дальнего плавания; на площади Колумба легли в дрейф и долго поносили великого мореплавателя, непатриотично упрекая его за то, что он открывал континенты, а не пивные. К полуночи ошвартовались где-то в трущобах, в задней комнате дешевого кафе.

Пьяный Хеджес вел себя надменно, грубо и придирчиво. Плотный и крепкий, седой, но еще полный сил, он готов был дебоширить хоть до утра. Пospорили — по пустякам, — обменялись пятипальными словами, словами, заменяющими перчатку перед поединком. Мэррием играл роль Готспура.[1]

Хеджес вскочил, схватил стул, размахнулся и яростно швырнул его в голову Мэрриема. Мэррием увернулся, выхватил маленький револьвер и выстрелил Хеджесу в грудь. Главный кутила пошатнулся, упал и бесформенной кучей застыл на полу.

Уэйд часто приходилось иметь дело с нью-йоркским транспортом, поэтому он умел действовать быстро. Он вытолкнул Мэрриема в боковую дверь, завел его за угол, протащил бегом через квартал и нанял кэб. Они ехали минут пять, потом сошли на темном углу и расплатились. Напротив лихорадочным гостеприимством блестяли огни кабачка.

— Иди туда, в заднюю комнату, — сказал Уэйд, — и жди. Я схожу узнать, как дела, и вернусь. До моего возвращения можешь выпить, но не больше двух стаканов.

Без десяти час Уэйд вернулся.

— Крепись, старина, — сказал он. — Как раз, когда я подошел, подъехала карета скорой помощи. Доктор говорит — умер. Пожалуй, выпей еще стакан. Предоставь все дело мне. Тебе надо исчезнуть. По-моему, стул юридически не считается оружием, опасным для жизни. Придется наострить лыжи, другого выхода нет.

Мэррием раздраженно пожаловался на холод и заказал еще стакан.

— Ты замечал, как у него на руках жилы вздуваются? Не выношу... Не...

— Выпей еще, и пошли, — сказал Уэйд. — Можешь рассчитывать на меня.

Уэйд сдержал свое слово: уже в одиннадцать часов следующего утра Мэррием с новым чемоданом, набитым новым бельем и щетками для волос, не привлекая ничьего внимания, прошел по одной из пристаней Восточной реки и поднялся на борт пятисоттонного фруктового пароходика, который только что доставил первый в сезоне груз апельсинов из порта Лимон и теперь возвращался обратно. В кармане у Мэрриема лежали его сбережения — две тысячи

восемьсот долларов крупными банкнотами, а в ушах звучало наставление Уэйда — оставить как можно больше воды между собой и Нью-Йорком. Больше ни на что времени не хватило.

Из порта Лимон Мэррием, направляясь вдоль побережья к югу сначала на шхуне, затем на шлюпе, добрался до Колона. Оттуда он переправился через перешеек в Панаму, где устроился пассажиром на грузовое судно, шедшее курсом в Кальяо с остановками во всех портах, какие могли привлечь внимание шкипера.

Мэррием решил высадиться в Ла-Пасе, в Ла Пасе. Прекрасном, маленьком городке без порта, полузадушенном буйной зеленой лентой, окаймляющей подножье уходящей в облака горы Там пароходик застопорил машины, и капитан в шлюпке отправился на берег пощупать пульс кокосового рынка. Захватив чемодан, Мэррием поехал с ним и остался в Ла-Пасе.

Колб, вице-консул, гражданин Соединенных Штатов греко-армянского происхождения, родившийся в Гессен-Дармштадте и вскормленный в избирательных участках Цинциннати, считал всех американцев своими кровными братьями и личными банкирами. Он вцепился в Мэрриема, перезнакомил его со всеми обутыми обитателями Ла-Паса, занял десять долларов и вернулся в свой гамак.

На опушке банановой рощи расположилась деревянная гостиница с видом на море, приспособленная к вкусам тех немногих иностранцев, которые ушли из мира в этот перуанский городишко. Под выкрики Колба «Познакомьтесь с „ Мэррием покорно обменялся рукопожатиями с доктором немцем, торговцем-французом, двумя торговцами-итальянцами и тремя или четырьмя янки, которых здесь называли „каучуковыми“ людьми, „золотыми“, «кокосовыми» — только не людьми из плоти и крови.

После обеда Мэррием, устроившись в углу широкой веранды, курил и пил шотландское виски с Биббом, вермонтцем, поставившим гидравлическое оборудование на рудники. Залитое лунным светом море уходило в бесконечность, и Мэрриему казалось, что оно навсегда легло между ним и его прошлым. Впервые с того момента, как он, несчастный беглец, прокрался на пароход, он мог без мучительной боли подумать об отвратительной трагедии, в которой сыграл столь роковую роль. Расстояние приносило ему успокоение. А Бибб тем временем открыл шлюзы давно сдерживаемого красноречия. Возможность изложить свежему слушателю свои всем давно надоевшие взгляды и теории приводила его в восторг.

— Еще год, — заявил Бибб, — и я отправлюсь домой, в Штаты. Здесь, конечно, очень мило, и *doice far niente* в неограниченном количестве, но белому человеку в этом краю долго не прожить. Нашему брату нужно и в снегу иногда застрять, и на бейсбол посмотреть, и крахмальный воротничок надеть, и ругань полисмена послушать. Хотя и Ла-Пас — неплохое местечко для послеобеденного отдыха. Кроме того, тут есть миссис Конант. Чуть только кто-нибудь из нас всерьез захочет утопиться, он мчится к ней в гости и делает предложение. Получить отказ от миссис Конант приятнее, чем утонуть, а говорят, что человек, когда тонет, испытывает восхитительное ощущение.

— И много здесь таких, как она? — осведомился Мэррием.

— Ни одной, — блаженно вздохнул Бибб. — Это единственная белая женщина в Ла-Пасе. Масть остальных колеблется от серой в яблоках до клавиши си бемоль. Она здесь год. Приехала из... ну знаете эту женскую манеру. Просишь их сказать «бечевка», а в ответ слышишь «силки» или «прыгалки». Сегодня думаешь, что она из Ошкоша, или из Джексонвилля, штат Флорида, а завтра — что с мыса Код.

— Тайна? — рискнул Мэррием.

— Мм... возможно, хотя говорит она достаточно ясно. Но таковы женщины По-моему, если сфинкс заговорит, то звучать это будет примерно так: «Боже мой, к обеду опять гости, а на стол подать нечего, кроме этого песка». Но вы забудете об этом, Мэррием, когда познакомитесь с ней. Вы ей тоже сделаете предложение.

И действительно, Мэррием познакомился с ней и сделал ей предложение. Он увидел женщину в черном, чьи волосы отливали бронзой, как крыло индейки, а загадочные помнящие глаза могли принадлежать... ну, хотя бы акушерке, наблюдавшей за сотворением Евы. Однако ее слова и манеры были ясны, как выразился Бибб. Она говорила — несколько неопределенно — о друзьях в Калифорнии, а также в южных округах Луизианы. Ей нравится здешний тропический климат и неторопливая жизнь; она подумывает о покупке апельсиновой рощи; короче говоря, она очарована Ла-Пасом.

Мэррием ухаживал за Сфинксом три месяца, хотя ему и в голову не приходило, что он ухаживает. Миссис Конант служила ему лекарством от угрызений совести, и он слишком поздно заметил, что без этого лекарства не может жить. Все это время Мэррием не получал из Нью-Йорка никаких известий Уэйд не знал, что он в Ла-Пасе, а он не помнил точного адреса Уэйда и боялся писать. Он пришел к заключению, что пока ничего предпринимать не следует.

Однажды они с миссис Конант наняли лошадей и отправились на прогулку в горы. У ледяной речки, стремглав несущейся с гор, они остановились выпить, и тут Мэррием заговорил: как и предсказал Бибб, он сделал предложение.

Миссис Конант поглядела на него с пылкой нежностью, но затем ее лицо выразило такую муку, что Мэррием мгновенно отрезвел.

— Простите меня, Флоренс, — сказал он, выпуская ее руку, — но я должен взять назад часть того, что сказал. Само собой, я не могу просить вас выйти за меня замуж. Я убил человека в Нью-Йорке — моего друга; насколько помню, застрелил его, как подлый трус. Я был пьян, но это безусловно не извинение. Я не мог больше молчать и никогда не откажусь от своих слов. Я скрываюсь здесь от правосудия — и, полагаю, на этом наше знакомство кончается.

Миссис Конант старательно обрывала листья с нависшей ветки лимонного дерева.

— Полагаю, что так, — произнесла она тихим, странно-прерывистым голосом, — но это зависит от вас. Я буду так же честна, как и вы. Я отравила моего мужа. Я сама сделала себя вдовой. Нельзя любить отравительницу. Так что, полагаю, на этом наше знакомство кончается.

Она медленно подняла глаза. Мэррием был бледен и тупо глядел на нее, как глухонемой, который не понимает, что происходит вокруг.

Вспыхнув, она быстро шагнула к нему.

— Не смотрите на меня так! — вскрикнула она, словно от невыносимой боли. — Прокляните меня, отвернитесь от меня, только не смотрите так! Он бил меня — меня! Если бы я могла показать вам рубцы — на плечах, на спине, а с тех пор прошло уже больше года, — следы его зверской ярости. Святая, и та убила бы его. Да, я его отравила. Каждую ночь в ушах у меня звучит та грязная, гнусная ругань, которой он осыпал меня в последний день. А потом — побои, и мое терпение кончилось. В тот день я купила яд. Каждый вечер перед сном он пил в библиотеке горячий ромовый пунш. Только из моих прекрасных рук соглашался он принять стакан — потому что знал, что я не выношу запаха спиртного. В этот вечер, когда горничная принесла мне пунш, я отослала ее вниз с каким-то поручением. Перед тем как идти к мужу, я подошла к моей личной аптечке и влила в стакан чайную ложку настойки аконита. Этого, как я узнала, было бы достаточно, чтобы убить троих. Еще утром я забрала из банка свои шесть тысяч долларов. Я взяла эти деньги и саквояж и незаметно ушла из дому. Проходя мимо библиотеки, я услышала, как он с трудом поднялся и тяжело упал на диван. Ночным поездом я уехала в Новый Орлеан, а оттуда отплыла на Бермуды. В конце концов я бросила якорь в Ла-Пасе. Ну, что вы теперь скажете? Что у вас, язык отнялся?

Мэррием очнулся.

— Флоренс, — сказал он серьезно, — вы нужны мне. Мне все равно, что вы сделали. Если мир...

— Ральф, — прервала она рыдающим голосом, — будь моим миром!

Лед в глазах ее растаял, она вся чудесно преобразилась и качнулась к Мэрриему так неожиданно, что ему пришлось прыгнуть, чтобы подхватить ее.

Боже мой! Почему в подобных ситуациях всегда выражаются так высокопарно? Но что поделаешь! Всех нас подсознательно влечет сияние рамп. Всколыхните душевные глубины вашей кухарки, и она разразится тирадой во вкусе Бульвер-Литтона.

Мэррием и миссис Конант были очень счастливы. Он объявил о своей помолвке в отеле «Orilla del Mar»[2]. Восемь иностранцев и четверо туземных Асторов похлопали его по спине и прокричали неискренние поздравления. Педрильо, бармен с манерами кастильского гранда, настолько оживился под градом заказов, что его подвижность заставила бы бостонского продавца фруктовых вод полиловать от зависти.

Они оба были очень счастливы. Тени, омрачавшие их прошлое, при сложении не только не стали гуще, но, наоборот, согласно странной арифметике бога родственных душ, наполовину рассеялись. Они заперли дверь на засов, оставив мир снаружи. Каждый стал миром

другого. Миссис Конант снова начала жить. «Помнящее» выражение исчезло из ее глаз. Мэррием старался проводить с ней как можно больше времени. На маленькой лужайке, под сенью пальм и тыквенных деревьев, они собирались построить волшебное бунгало. Они должны были пожениться через два месяца. Много часов они проводили вместе, склонившись над планом дома. Их объединенные капиталы, вложенные в экспорт фруктов или леса, обеспечат приличный доход. «Покойной ночи, мир мой», — каждый вечер говорила миссис Конант, когда Мэрриему пора было возвращаться в отель. Они были очень счастливы. Волей судеб их любовь приобрела тот оттенок грусти, который, по-видимому, необходим, чтобы сделать чувство поистине возвышенным. И казалось, что их общее великое несчастье — или грех — связало их нерушимо.

Однажды на горизонте замаячил пароход. Весь босоногий, полуголый Ла-Пас высыпал на берег: прибытие парохода заменяло здесь Кони-Айленд, цирк, день Свободы и светский прием.

Когда пароход приблизился, люди сведущие объявили, что это «Пахаро», идущий из Калья на север, в Панаму.

«Пахаро» затормозил в миле от берега. Вскоре по волнам запрыгала шлюпка. Мэррием лениво спустился к морю посмотреть на суету. На отмени матросы-караибы выскочили в воду и дружным рывком выволокли шлюпку на прибрежную гальку. Из шлюпки вылезли суперкарго, капитан и два пассажира и побрели к отелю, утопая в песке. Мэррием посмотрел на приезжих с тем легким любопытством, которое вызывало здесь всякое новое лицо. Походка одного из пассажиров показалась ему знакомой. Он поглядел снова, и кровь клубничным мороженым застыла в его жилах. Толстый, наглый, добродушный, как и прежде, к нему приближался Х. Фергюсон Хеджес, человек, которого он убил.

Когда Хеджес увидел Мэрриема, лицо его побагровело. Потом он завопил с прежней фамильярностью:

— Здорово, Мэррием! Рад тебя видеть. Вот уж не ожидал встретить тебя здесь. Куинби, это мой старый друг Мэррием из Нью-Йорка. Знакомьтесь.

Мэррием протянул Хеджесу, а затем Куинби похолодевшую руку.

— Бррр! — сказал Хеджес. — И ледяная же у тебя лапа! Да ты болен! Ты желт, как китаец. Малярийное местечко? А ну-ка доставь нас в бар, если они здесь водятся, и займемся профилактикой.

Мэррием, все еще в полубморочном состоянии, повел их к отелю «Orilla del Mar».

— Мы с Куинби, — объяснил Хеджес, пытая по песку, — ищем на побережье, куда бы вложить деньги. Мы побывали в Консепсьоне, в Вальпарайзо и Лиме. Капитан этой посудины говорит, что здесь можно заняться серебряными рудниками. Вот мы и слезли. Так где же твое кафе, Мэррием? А, в этой портативной будочке?

Доставив Куинби в бар, Хеджес отвел Мэрриема в сторону.

— Что с тобой? — сказал он с грубоватой сердечностью. — Ты что, дуешься из-за этой дурацкой ссоры?

— Я думал, — пробормотал Мэррием, — я слышал... мне сказали, что вы... что я...

— Ну, и я — нет, и ты — нет, — сказал Хеджес. — Этот молокосос из скорой помощи объявил Уэйд, что мне крышка, потому что мне надоело дышать и я решил отдохнуть немножко. Пришлось поваляться месяц в частной больнице, и вот я здесь и на здоровье не жалею. Мы с Уэйдом пытались тебя найти, но не могли. Ну-ка, Мэррием, давай лапу и забудь про это. Я сам виноват не меньше тебя, а пуля мне пошла только на пользу: из больницы я вышел крепким, как ломовая лошадь. Пошли, нам давно налили.

— Старина, — начал Мэррием растерянно, — как мне благодарить тебя? Я... Но...

— Брось, пожалуйста! — загремел Хеджес. — Куинби помрет от жажды, пока мы тут разговариваем.

Было одиннадцать часов. Бибб сидел в тени на веранде, ожидая завтрака. Вскоре из бара вышел Мэррием. Его глаза странно блестели.

— Бибб, дружище, — сказал он, медленно обводя рукой горизонт. — Ты видишь эти горы, и море, и небо, и солнце — все это принадлежит мне, Бибси, все принадлежит мне.

— Иди к себе, — сказал Бибб, — и прими восемь гран хинина. В здешнем климате человеку не годится воображать себя Рокфеллером или Джеймсом О'Нилом[3].

В отеле суперкарго развязывал пачку старых газет, которые «Пахаро» собрал в южных портах для раздачи на случайных остановках. Вот так мореплаватели благодетельствуют пленников моря и гор, доставляя им новости и развлечения.

Дядюшка Панчо, хозяин гостиницы, оседлав свой нос громадными серебряными anteojos[4], раскладывал газеты на меньшие кучки. В комнату влетел muchacho, добровольный кандидат на роль рассыльного.

— Vien venido[5], — сказал дядюшка Панчо. — Это для сеньоры Конант; это — для эль доктор С-с-шлегель Dios! Что за фамилия! Это — сеньору Дэвису, а эта — для дона Альберта. Эти две — в Casa de Huespedes, Numero 6, en la calle de las Buenas Gracias.[6] И скажи всем, muchacho, что «Пахаро» отплывает в Панаму сегодня в три. Кто хочет писать письма, пусть поторопится, чтобы они успели пройти через correo[7].

Миссис Конант получила предназначенную ей пачку в четыре часа. Доставка запоздала, ибо мальчик был совращен с пути долга встречной игуаной, за которой он немедленно погнался. Но для миссис Конант эта задержка не играла никакой роли — она не собиралась писать письма.

Она лениво покачивалась в гамаке в патио дома, где она жила, сонно мечтая о рае, который ей и Мэрриему удалось создать из обломков прошлого. И пусть горизонт, замкнувший это мерцающее море, замкнет и ее жизнь. Они закрыли дверь, оставив мир снаружи.

Мэррием пообедает в отеле и придет в семь часов. Она наденет белое платье, накинет кружевную мантилью абрикосового цвета, и они будут гулять у лагуны под кокосовыми пальмами. Она удовлетворенно улыбнулась и наугад вытащила газету из пачки, принесенной мальчиком.

Сперва слова одного из заголовков воскресной газеты не произвели на нее никакого впечатления, они только показались ей смутно знакомыми. Крупным шрифтом было напечатано: «Ллойд Б. Конант добился развода». Затем более мелко — подзаголовки: «Известный фабрикант красок из Сент-Луиса выигрывает процесс, ссылаясь на отсутствие жены в течение года». «Обстоятельства ее таинственного исчезновения». «С тех пор о ней ничего не известно».

Миссис Конант мгновенно вывернулась из гамака и быстро пробежала глазами заметку в полстолбца, которая заканчивалась следующим образом: «Как помнят читатели, миссис Конант исчезла однажды вечером, в марте прошлого года. Ходили слухи, что ее брак с Ллойдом Б. Конантом был очень несчастен. Утверждали даже, что его жестокость по отношению к жене неоднократно приобретала формы оскорбления действием. После отъезда миссис К. в ее спальне в маленькой аптечке был обнаружен пузырек смертельного яда — настойки аконита. Это наводит на предположение, что она помышляла о самоубийстве. Считают, что, вместо того чтобы привести в исполнение это намерение, если таковое у нее было, она предпочла покинуть свой дом».

Миссис Конант уронила газету и медленно опустилась на стул, судорожно сжав руки.

— Как же это было?.. боже мой!.. как же это было, — шептала она. — Я унесла пузырек... Я выбросила его из окна вагона... Я... В аптечке был другой пузырек... Они стояли рядом — аконит и валерьянка, которую я принимала от бессонницы... Если нашли пузырек с аконитом, значит... значит, он безусловно жив — я дала ему безобидную дозу валерьянки... Так я не убийца!.. Ральф, я... Господи, сделай, чтобы это не оказалось сном.

Она прошла в ту половину дома, которую снимала у старика-перуанца и его жены, заперла дверь и в течение получаса лихорадочно металась по комнате. На столе стояла фотография Мэрриема. Она взяла ее, улыбнулась с невыразимой нежностью — и уронила на нее четыре слезы. А Мэррием находился от нее только в ста метрах! Затем миссис Конант десять минут стояла неподвижно, глядя в пространство. Она глядела в пространство через медленно открывавшуюся дверь. По эту сторону были материалы для постройки романтического замка: любовь; Аркадия колышущихся пальм; колыбельная песня прибора; приют спокойствия, отдыха, мира; страна лотоса, страна мечтательной лени; жизнь без опасностей и страха, полная поэзии и сердечного покоя. Как по-вашему, Романтик, что увидела миссис Конант по ту сторону двери? Не знаете? Ах, не хотите сказать? Очень хорошо. Тогда слушайте.

Она увидела, как она входит в универсальный магазин и покупает пять мотков шелка и три ярда коленкора на передник кухарке. «Записать на ваш счет, мэм?» — спрашивает

продавец. А выходя, она встречает знакомую даму, та сердечно здоровается с ней и восклицает: «Ах, где вы достали выкройку этих рукавов, дорогая миссис Конант?» На углу полисмен помогает ей перейти улицу и почтительно прикасается к шлему. «Кто-нибудь заходил?» — спрашивает она горничную, вернувшись домой.

«Миссис Уолдрон, — отвечает горничная, — и обе мисс Иженкинсон». — «Прекрасно, — говорит она. — Принесите мне, пожалуйста, чашку чаю, Мэгги».

Миссис Конант подошла к двери и позвала Анджелу, старуху-перуанку.

— Если Матео дома, пошли его ко мне.

Матео — метис, волочащий ноги от старости, но еще исполнительный и бодрый, явился на зов.

— Я хочу уехать отсюда сегодня или завтра. Не знаешь, нет ли сейчас поблизости парохода или какого-нибудь другого судна?

Матео задумался.

— В Пунта Реина, в тридцати милях южнее, сеньора, маленький пароход грузится хиной и красильным деревом. Он уходит в Сан-Франциско завтра на рассвете. Так говорит мой брат, он сегодня утром проходил на своем шлюпе мимо Пунта Реина.

— Ты должен отвезти меня на этом шлюпе к пароходу сегодня же. Согласен?

— Может быть... — Матео красноречиво повел плечом.

Миссис Конант достала из ящика несколько монет и протянула ему.

— Подведи шлюп в бухту за мысом, к югу от города, — приказала она, — собери матросов и будь готов отплыть в шесть часов. Через полчаса приготовь в патио тележку с соломой. Ты отвезешь на шлюп мой сундук. Потом получишь еще. Ну, быстрее.

Матео удалился, впервые за много лет не волоча ноги.

— Анджела! — вскричала миссис Конант в лихорадочном возбуждении. — Помоги мне уложиться. Я уезжаю. Тащи сундук. Сначала платья. Пошевеливайся же! Сперва эти черные. Быстрее.

С самого начала она ни минуты не колебалась. Ее решение было твердым и окончательным. Ее дверь открылась, и через эту дверь ворвался мир. Любовь ее к Мэрриему не уменьшилась, но стала теперь чем-то нереальным и безнадежным. Видения их будущего, которое недавно казалось столь блаженным, исчезли. Она пыталась убедить себя, что отрекается только ради Мэрриема. Теперь, когда с нее снят ее крест — по крайней мере формально, — не слишком ли тяжело ему будет нести свой? Если она не покинет его, разница между ними будет медленно, но верно омрачать и подтачивать их счастье. Так она убеждала себя, а все это время в ее ушах едва заметно, но настойчиво, как гул отдаленных машин, звучали тихие голоса — еле слышные голоса мира, чей манящий зов, когда они сольются в хор, проникает сквозь самую толстую дверь.

Один раз за время сборов на нее пал легкий отсвет мечты о лотосе. Лево́й рукой она прижала к сердцу портрет Мэрриема, а правой швырнула в сундук туфли.

В шесть часов Матео вернулся и сообщил, что шлюп готов. Вдвоем с братом они поставили сундук на тележку, закутали соломой и отвезли к месту посадки, а оттуда в лодке переправили на шлюп. Затем Матео вернулся за дальнейшими распоряжениями.

Миссис Конант была готова. Она расплатилась с Анджелой и нетерпеливо ждала метиса. На ней был длинный широкий пыльник из черного шелка, который она обычно надевала, отправляясь на прогулку, если вечер был прохладен, и маленькая круглая шляпа с накинута́й сверху кружевной мантильей абрикосового цвета.

Короткие сумерки быстро сменились мраком. Матео вел ее по темным, заросшим травой улицам к мысу, за которым стоял на якоре шлюп. Повернув за угол, они заметили в трех кварталах справа туманное сияние керосиновых ламп в отеле «Orilla del Mar». Миссис Конант остановилась, ее глаза наполнились слезами.

— Я должна, я должна увидеть его еще раз перед отъездом, — пробормотала она, ломая руки.

Но она и теперь не колебалась в своем решении. Мгновенно она сочинила план, как поговорить с ним и все же уехать без его ведома. Она пройдет мимо отеля, попросит кого-

нибудь вызвать Мэрриема, поболтает с ним о каких-нибудь пустяках, и когда они расстанутся, он по-прежнему будет думать, что они встретятся в семь часов у нее.

Она отколола шляпу, дала ее Матео и приказала:

— Держи ее и жди здесь, пока я не вернусь.

Закутав голову мантильей, как она обычно делала, гуляя после захода солнца, миссис Конант направилась прямо в «Орилла дель Мар».

На веранде белела толстая фигура дядюшки Панчо. Она обрадовалась, увидев, что он один.

— Дядюшка Панчо, — сказала она с очаровательной улыбкой. — Не будете ли вы так добры попросить мистера Мэрриема спуститься сюда на минутку? Я хочу поговорить с ним.

Дядюшка Панчо поклонился с грацией циркового слона.

— Buenas tardes[8], сеньора Конант, — произнес он с учтивостью истого кабаллерио и продолжал смущенно: — Но разве сеньора не знает, что сеньор Мэррием сегодня в три часа отплыл на «Пахаро» в Панаму?

Вопрос высоты над уровнем моря

Перевод И. Гуровой

Однажды зимой оперная труппа театра «Альказар» из Нового Орлеана, в надежде поправить свои обстоятельства, совершала турне по Мексиканскому, Центрально— и Южноамериканскому побережью. Предприятие это оказалось весьма удачным. Впечатлительные испано-американцы, большие любители музыки, всюду осыпали артистов долларами и оглушали их криками «vivas!» Антрепренер раздобыл телом и умягчился духом. Только неподходящий климат помешал ему возложить на себя видимый знак своего благополучия — меховое пальто со шнурами, наружными петлями и обшитыми суташом пуговицами. От полноты чувств он чуть было даже не повысил жалование актерам, но вовремя опомнился и могучим усилием воли победил порыв к столь бесприбыльному выражению радости.

Самый большой успех гастролеры имели в Макуто, на побережье Венесуэлы. Представьте себе Кони-Айленд, переведенный на испанский язык, и вы поймете, что такое Макуто. Модный сезон продолжается от ноября до марта. Из Ла-Гвейры, Каракаса, Валенсии и других городов внутри страны стекаются сюда все, кто хочет повеселиться. К их услугам разнообразные развлечения — купанье в море, фиесты, бои быков, сплетни. И все эти люди одержимы страстью к музыке, которую оркестры, Играющие — один на площади, другой на взморье, могут только разбередить, но не насытить. Понятно, что прибытие оперной труппы было встречено с восторгом.

Знаменитый Гусман Бланке, президент и диктатор Венесуэлы, вместе со своим двором проводил зимний сезон в Макуто. Этот могущественный правитель, по чьему личному распоряжению оперному театру в Каракасе выдавалась ежегодная субсидия в сорок тысяч песо, приказал освободить один из правительственных складов и временно переоборудовать его под театр. Быстро воздвигли сцену, для зрителей сколотили деревянные скамьи, для президента и высших чинов армии и гражданской администрации построили несколько лож.

Труппа пробыла в Макуто две недели. На всех представлениях зал был набит битком. Даже на улице перед театром сотнями толпились обожатели музыки и дрались из-за места поближе к растворенной двери и открытым окнам. Зрительный зал являл собой необычайно пеструю картину. Тут были представлены все возможные оттенки человеческой кожи: вперемежку сидели светло-оливковые испанцы, желтые и коричневые метисы, черные как уголь негры с берегов Караибского моря и с Ямайки. Кое-где, небольшими кучками, вкраплены были индейцы с лицами, как у каменных идолов, закутанные в яркой расцветки шерстяные одеяла — индейцы из дальних округов — Саморы, Лос-Андес и Миранды, спустившиеся с гор к морю, чтобы в прибрежных городах обменять на товары намытый в ущельях золотой песок.

На этих выходцев из неприступных горных твердынь музыка оказывала потрясающее действие. Они слушали, оцепенев от восторга, резко выделяясь среди экспансивных жителей Макуто, которые для выражения своих чувств щедро пускали в ход и язык и руки. Только

однажды сумрачный экстаз этих исконных насельников страны проявился вовне. Во время представления «Фауста» Гусман Бланке, очарованный арией Маргариты, роль которой, как значилось на афише, исполняла мадемуазель Нина Жиро, бросил на сцену кошелек с червонцами. Другие видные граждане по его примеру тоже стали кидать золотые монеты, сколько кому не жаль, и даже некоторые из прекрасных сеньор, присутствовавших в театре, решились, сняв с пальчика кольцо или отстегнув брошку, бросить их к ногам примадонны. Тогда-то в разных углах зала начали вставать суровые жители гор и швырять на сцену серые и коричневые мешочки, которые шлепались об пол с мягким, глухим звуком.

Конечно, только радость от мысли, что ее искусство получило признание, заставила так ярко заблистать глаза мадемуазель Жиро, когда она у себя в уборной стала развязывать эти кожаные мешочки и обнаружила, что они содержат полновесный золотой песок. Если так, то что ж, радость ее была вполне законна, ибо голос мадемуазель Жиро, чистый, сильный и гибкий, безукоризненно передававший все оттенки чувств, волновавших впечатлительную душу артистки, без сомнения заслуживал той оценки, которую ему дали слушатели.

Но не триумфы оперной труппы «Альказар» являются темой нашего рассказа: они лишь слегка соприкасаются с ней и сообщают ей колорит. Дело в том, что за эти дни в Макуто произошло трагическое событие, пригасившее на время общее веселье и оставшееся неразрешимой загадкой.

Однажды под вечер, за короткий час между закатом солнца и тем мгновением, когда примадонне полагалось явиться на подмостках в черно-алом наряде пылкой Кармен, мадемуазель Нина Жиро бесследно исчезла. Шесть тысяч пар глаз, устремленных на сцену, шесть тысяч нетерпеливо бившихся сердец остались неудовлетворенными. Поднялась суматоха. Посланцы помчались в маленький французский отель, где жила певица. Другие устремились на пляж, где она могла замешкаться, увлекшись купанием или задремав под тентом. Но все поиски были тщетны. Мадемуазель словно сквозь землю провалилась.

Прошло еще полчаса. Диктатор, не привычный к капризам примадонн, начал проявлять нетерпение. Он послал своего адъютанта передать антрепренеру, что, если занавес не будет сию же минуту поднят, всю труппу незамедлительно отправят в тюрьму, хотя мысль о необходимости прибегнуть к таким мерам наполняет скорбью сердце президента. В Макуто умели заставить птичек петь.

Антрепренер временно отложил всякие надежды на мадемуазель Жиро. Одна из хористок, годами мечтавшая о таком счастливом случае, срочно преобразилась в Кармен, и представление началось.

Примадонна не отыскалась, однако, и на другой день.

Тогда актеры обратились за помощью к властям. Президент немедленно отрядил на розыски полицию, армию и всех граждан. Но тайну исчезновения мадемуазель Жиро не удалось раскрыть. Труппа отбыла из Макуто выполнять свои контракты в других городах на побережье.

На обратном пути, во время стоянки парохода в Макуто, антрепренер съехал на берег и еще раз навел справки. Напрасно! Следов пропавшей так и не нашли. Что было делать? Вещи мадемуазель Жиро оставили в отеле на случай ее возможного возвращения, и труппа продолжала свой путь на родину.

На camino real[9], тянувшейся вдоль берега, стояли четыре вьючных и два верховых мула дона сеньора Джонни Армстронга, терпеливо ожидая, пока щелкнет бич их arrkro[10], Луиса. Это должно было послужить сигналом для выступления в долгий путь по горам. Вьючные мулы были нагружены разнообразным ассортиментом скобяных товаров и ножевых изделий. Эти товары дон Джонни продавал индейцам, получая взамен золотой песок, который те намывали в сбегаящих с Анд горных реках и хранили в гусиных перьях и в кожаных мешочках, пока не прибывал к ним Джонни, совершая свою очередную поездку. Коммерция эта была очень выгодной, и сеньор Армстронг рассчитывал в ближайшем будущем приобрести ту кофейную плантацию, к которой давно присматривался.

Армстронг стоял на узком тротуарчике и обменивался изысканными прощальными приветствиями на испанском языке со старым Перальто, богатым местным купцом, только что содравшим с него втридорога за полгросса кухонных ножей, и краткими английскими

репликами с Руккером, маленьким немцем, исполнявшим в Макути обязанности консула Соединенных Штатов.

— Да пребудет с вами, сеньор, — говорил Перальто, — благословение святых угодников во время долгого вашего пути. Уповайте на милость Божию.

— Пейте-ка лучше хинин, — пробурчал Руккер, не выпуская трубки изо рта. — По два грана на ночь. И не пропадите надолго. Вы нам нужны. Этот Мелвил омерзительно играет в вист, а заменить его некем. Auf wiedersehen, и смотрите между мула ушами, когда по пропасти краю ехать будете.

Зазвенели бубенчики на сбруе передового мула, и караван тронулся. Армстронг помахал рукой провожающим и занял свое место в хвосте процессии. Шажком поднялись они по узкой улочке мимо двухэтажного деревянного здания, пышно именуемого «Hotel Ingles»[11], где Айве, Доусон, Ричмонд и прочая братия предавались безделью на широкой веранде, перечитывая газеты недельной давности. Все они подошли к перилам и дружески напутствовали Джонни кто умными, кто глупыми советами. Не спеша протрусили мулы по площади мимо бронзового памятника Гусману Бланке в ограде из ощетилившихся штыками трофейных винтовок, отнятых у повстанцев, и выбрались из города по кривым переулкам, где возле крытых соломою хижин, не стыдясь своей наготы, резвились юные граждане Макуто. Далее караван нырнул под влажную тень банановой рощи и снова вынырнул на яркий солнечный свет у искрящегося потока, где коричневые женщины в весьма скудной одежде стирали белье, безжалостно трепля его о камни. Затем путники, переправившись через речку вброд, двинулись в гору по крутой тропе и надолго распрощались даже с теми скромными элементами цивилизации, коими дано было наслаждаться жителям приморской полосы.

Не одну неделю провел Армстронг в горах, следуя, под водительством Луиса, по обычному своему маршруту. Наконец, после того как он набрал аррбу[12] драгоценного песка, что составляло пять тысяч долларов чистой прибыли, и вьюки на спинах мулов значительно облегчились, караван повернул обратно. Там, где из глубокого ущелья выбегает река Гуарико, Луис остановил мулов.

— Сеньор, — сказал он, — меньше чем в одном дневном переходе отсюда есть деревушка Такусама, где мы еще ни разу не бывали. Там, я думаю, найдется много унций золота. Стоит попробовать.

Армстронг согласился, и они опять двинулись в гору. Узкая тропа, карабкаясь по кручам, шла через густой лес. Надвигалась уже ночь, темная, мрачная, как вдруг Луис опять остановился. Перед путниками, преграждая тропу, разверзлась черная, бездонная пропасть. Луис спешился.

— Тут должен быть мост, — сказал он и побежал куда-то вдоль обрыва. — Есть, нашел! — крикнул он из темноты и, вернувшись, снова сел в седло. Через несколько мгновений Армстронг услышал грохот, как будто где-то во мраке били в огромный барабан. Это гремели копыта мулов по мосту из туго натянутых бычьих кож, привязанных к поперечным шестам и перекинутых через пропасть. В полумиле оттуда была уже Такусама. Кучка сложенных из камней и обмазанных глиной лачуг ютилась в темной лесной чаще.

Когда всадники подъезжали к селению, до их ушей внезапно долетел звук, до странности неожиданный в угрюмой тишине этих диких мест. Великолепный женский голос, чистый и сильный, пел какую-то звучную, прекрасную арию. Слова были английские, и мелодия показалась Армстронгу знакомой, хотя он и не мог вспомнить ее названия.

Пение исходило из длинной и низкой глинобитной постройки на краю деревни. Армстронг соскочил с мула и, подкравшись к узкому оконцу в задней стене дома, осторожно заглянул внутрь. В трех футах от себя он увидел женщину необыкновенной, величественной красоты, закутанную в свободное одеяние из леопардовых шкур. Дальше тесными рядами сидели на корточках индейцы, заполняя все помещение, кроме небольшого пространства, где стояла женщина.

Она кончила петь и села у самого окна, как будто ловя струю свежего воздуха, только здесь проникавшего в душную лачугу. Едва она умолкла, как несколько слушателей вскочили и принялись бросать к ее ногам маленькие мешочки, глухо шлепавшиеся о земляной пол. Остальные разразились гортанным ропотом, что у этих сумрачных меломанов было, очевидно, равносильно аплодисментам.

Армстронг привык быстро ориентироваться в обстановке. Пользуясь поднявшимся шумом, он тихо, но внятно проговорил: — Не оборачивайтесь. Слушайте. Я американец. Если вам нужна помощь, скажите, как вам ее оказать. Отвечайте как можно короче.

Женщина оказалась достойной его отваги. Только по внезапно вспыхнувшему на ее щеках румянцу можно было судить, что она слышала и поняла его слова. Затем она заговорила, почти не шевеля губами:

— Эти индейцы держат меня в плену. Видит бог, мне нужна помощь. Через два часа приходите к хижине в двадцати ярдах отсюда, ближе к горному склону. Там будет свет, на окне красная занавеска. У дверей всегда стоит караульный, его придется убрать. Ради всего святого, не покидайте меня.

Приключения, битвы и тайны как-то не идут к нашему рассказу. Тема, которую мы избрали, слишком деликатна для этих грубых и воинственных мотивов. И однако она стара как мир. Ее называли «влиянием среды», но разве такими бледными словами можно описать то неизъяснимое родство между человеком и природой, то загадочное братство между нами и морской волной, облаками, деревом и камнем, в силу которого наши чувства покоряются тому, что нас окружает? Почему мы настраиваемся торжественно и благоговейно на горных вершинах, предаемся лирическим раздумьям под тенью пышных роц, впадаем в легкомысленное веселье и сами готовы пуститься в пляс, когда сверкающая волна разливается по отмели? Быть может, протоплазма... Но довольно! Этим вопросом занялись химики, и скоро они всю жизнь закуют в свою таблицу элементов.

Итак, чтобы не выходить из пределов научного изложения, сообщим только, что Армстронг пришел ночью к хижине, задушил индейского стража и увез мадемуазель Жиро. Вместе с ней уехало из Такусамы несколько фунтов золотого песка, собранного артисткой за время своего вынужденного ангажемента. Индейцы Карабабо самые страстные любители музыки на всей территории между экватором и Французским оперным театром в Новом Орлеане. Кроме того, они твердо верят, что Эмерсон преподал нам разумный совет, когда сказал: «То, чего жаждет твоя душа, о человек, возьми и заплати положенную цену». Несколько из этих индейцев присутствовали на гастролях оперного театра «Альказар» в Макуто и нашли вокальные данные мадемуазель Жиро вполне удовлетворительными. Они ее возжаждали, и они ее взяли-увезли однажды вечером, быстро и без всякого шума. У себя они окружили ее почетом и уважением, требуя только одного коротенького концерта в вечер. Она была очень рада тому, что мистер Армстронг освободил ее из плена. На этом кончаются все тайны и приключения. Вернемся теперь к вопросу о протоплазме.

Джон Армстронг и мадемуазель Жиро ехали по тропе среди горных вершин, овеванные их торжественным покоем. На лоне природы даже тот, кто совсем забыл о своем родстве с ней, с новой силой ощущает эту живую связь. Среди гигантских массивов, воздвигнутых древними геологическими переворотами, среди грандиозных просторов и безмерных далей все ничтожное выпадает, из души человека, как выпадает из раствора осадок под действием химического реагента. Путники двигались медлительно и важно, словно молящиеся во храме. Их сердца, как и горные пики, устремлялись к небу. Их души насыщались величием и миром.

Армстронгу женщина, ехавшая рядом с ним, казалась почти святыней. ореол мученичества, еще окружавший ее, придавал ей величавое достоинство и превращал ее женскую прелесть в иную, более возвышенную красоту. В эти первые часы совместного путешествия Армстронг испытывал к своей спутнице чувство, в котором земная любовь сочеталась с преклонением перед сошедшей с небес богиней.

Ни разу еще после освобождения не тронула ее уст улыбка. Она все еще носила мантию из леопардовых шкур, ибо в горах было прохладно. В этом одеянии она казалась принцессой, повелительницей этих диких и грозных высот. Дух ее был в согласии с духом горного края. Ее взор постоянно обращался к темным утесам, голубым ущельям, увенчанным снегами пикам и выражал такую же торжественную печаль, какую источали они. Временами она запевала *Te deum* или *Miserere*[13], которые как будто отражали самую душу гор и делали движение каравана подобным богослужебному шествию среди колонн собора. Освобожденная пленница редко роняла слово, как бы учась молчанию у окружающей природы. Армстронг смотрел на нее, как на ангела. Он счел бы святотатством ухаживать за ней, как за обыкновенной женщиной.

Спускаясь мало-помалу, на третий день они очутились в tierra templada[14] — на невысоких плато в предгорьях. Горы отступили, но еще высились вдаль, вздымая в небо свои грозные головы. Тут уже видны были следы человека. На расчищенных в лесу полянах белели домики — посреди кофейных плантаций. На дороге попадались встречные всадники и вьючные мулы. На склонах паслись стада. В придорожной деревушке большеглазые pinos[15] приветствовали караван пронзительными криками.

Мадемуазель Жиро сняла свою мантию из леопардовых шкур. Это одеяние, так гармонизировавшее с духом высокогорья, здесь уже казалось несколько неуместным. И Армстронгу почудилось, что вместе с этой одеждой мадемуазель Жиро сбросила и частицу важности и достоинства, отличавших до сих пор ее поведение. Чем населеннее становилась местность, чем чаще встречались признаки цивилизации, говорившие о жизненных удобствах и уюте, тем ощутительнее делалась эта перемена в спутнице Армстронга. Он с радостью видел, что принцесса и священнослужительница превращается в простую женщину — обыкновенную, земную, однако не менее обаятельную. Слабый румянец заиграл на ее мраморных щеках. Под леопардовой мантией обнаружилось обычное платье, и мадемуазель Жиро принялась оправлять его с заботливостью, доказывавшей, что чужие взгляды ей не безразличны. Она пригладила свои разметавшиеся по плечам кудри. В ее глазах замерцал огонек интереса к миру и его делам, не смевший до сих пор разгореться в ледяном воздухе аскетических горных вершин.

Божество оттаивало — и сердце Армстронга забилося сильнее. Так бьется сердце у исследователя Арктики, когда он впервые видит зеленые поля и текучие воды. Очутившись на менее высоком уровне суши и жизни, путешественники поддались его таинственному, неуловимому влиянию. Их уже не обступали суровые скалы; воздух, которым они дышали, не был уже разреженным воздухом горных высот. Они ощущали на своем лице дыхание фруктовых садов, зреющих нив и теплого жилья — добрый запах дыма и влажной земли, все, чем пытается утешить себя человек, отгораживаясь от мертвого праха, из которого он возник. В соседстве снежных вершин мадемуазель Жиро сама проникалась их замкнутостью и молчаливостью. А теперь — ужель это была та же самая женщина? Трепещущая, полная жизни и страсти, счастливая от сознания своей прелести, женственная до кончиков пальцев! Наблюдая эту метаморфозу, Армстронг чувствовал, что в душу его закрадывается смутное опасение. Ему хотелось остаться здесь, не пускать дальше эту женщину-хамелеона. Здесь была та высота и те условия, при которых проявлялось все лучшее в ее натуре. Он боялся спускаться ниже, на те уровни, где природа окончательно покорена человеком. Какие еще изменения претерпит дух его возлюбленной в той искусственной зоне, куда они держат путь?

Наконец, с небольшого плато они увидели сверкающую полоску моря по краю зеленых низин. У мадемуазель Жиро вырвался легкий радостный вздох.

— Ах, посмотрите, мистер Армстронг! Море! Какая прелесть! Мне так надоели горы! — Она с отвращением передернула плечиком. — И эти ужасные индейцы! Подумайте, как я настрадаюсь! Правда, осуществилась моя мечта — быть звездой сцены, но вряд ли все-таки я возобновила бы этот ангажемент. Я так благодарна вам за то, что вы меня увезли. Скажите, мистер Армстронг, — только по совести! — я, наверно, бог знает на кого похожа? Я ведь целую вечность не гляделась в зеркало.

Армстронг дал ей тот ответ, который подсказывало ему изменившееся настроение. Он даже решился нежно пожать ее ручку, опирающуюся на луку седла. Луис ехал в голове каравана и ничего не видел. Мадемуазель Жиро позволила руке Армстронга остаться там, куда он ее положил, и ответила ему улыбкой и взглядом, чуждым всякой застенчивости.

На закате солнца они совершили последнее нисхождение до уровня моря и ступили на дорогу, которая шла к Макуто под сенью пальм и лимонных деревьев, среди яркой зелени, киновари и охры tierra caliente[16]. Они въехали в город и увидели цепочки беззаботных купальщиков, резвившихся среди пенных валов прибоя. Горы остались далеко-далеко позади.

Глаза мадемуазель Жиро искрились таким весельем, которое, конечно, было немисливо для нее в те дни, когда ее блюли дуэньи в снеговых чепцах. Но теперь к ней взывали иные духи — нимфы апельсиновых рощ, наяды бурливого прибоя, бесенята, рожденные музыкой, благоуханием цветов, яркими красками земли и вкрадчивым шепотом человеческих голосов. Она вдруг звонко рассмеялась — видимо, ей пришла в голову забавная мысль.

— Ну и сенсация же будет! — воскликнула она, обращаясь к Армстронгу. — Жаль, что у меня сейчас нет ангажемента! А то какую рекламу можно бы сострять! «Знаменитая певица в плену у диких индейцев, покоренных чарами ее соловьиного голоса!» Ну да ничего, я во всяком случае в накладе не осталась. Тысячи две долларов, пожалуй, будет в этих мешочках с золотым песком, что я набрала во время моего высокогорного турне? А? Как вы думаете?

Армстронг оставил ее у дверей маленького отеля «De Buen Descansar»[17], где она жила раньше. Через два часа он вернулся в отель и, подойдя к растворенной двери, заглянул в небольшой зал, служивший одновременно приемной и рестораном.

На креслах и диванах расположились пять-шесть представителей светских и чиновных кругов Макуто. Сеньор Виллабланка, богач и концессионер, державший в руках местную каучуковую промышленность, сидел сразу на двух стульях, ибо на одном не умещались его жирные телеса; масляная улыбка расплзалась по его коричневому, как шоколад, лицу. Горный инженер, француз Гильбер, умильно поглядывал сквозь сверкающие стекла пенсне. Представитель армии, полковник Мендес, в шитом золотом мундире, с самодовольной улыбкой деловито раскупоривал шампанское. Прочие сливки общества выламывались кто как умел и принимали эффектные позы. В воздухе было сине от дыма. Из опрокинутой бутылки на пол текло вино.

Посреди комнаты, словно королева на троне, восседала на столе мадемуазель Жиро. Свой дорожный костюм она уже успела сменить на шикарный туалет из белого муслина с вишневыми лентами. Краешек кружева, две-три оборки, розовый чулочек со стрелками, как бы невзначай выставившийся из-под юбки... На коленях мадемуазель Жиро держала гитару. Лицо ее сияло счастьем — то был свет восстания из мертвых, ликование воскресшей души, которая достигла, наконец, Элизиума, пройдя сквозь огонь и муки. Бойко аккомпанируя себе на гитаре, она пела:

Вон на небо лезет красная луна,
Знать, она, голубушка, пьяным-пьяна,
Так давайте же стаканы наливать
И своих девчонок — эх! — послаще целовать!
Тут певица заметила Армстронга.

— Эй! Эй! Джонни! — закричала она. — Где ты пропадал, я тебя уже целый час дожидаюсь! Скука без тебя смертная! Ну и компания же у вас тут, как я погляжу! Пить и то не умеют. Иди, иди к нам, я велю этому черномазому с золотыми эполетами откупорить для тебя свежую бутылочку!

— Благодарю вас, — сказал Армстронг. — Как-нибудь в другой раз. Сейчас мне некогда.

Он вышел из отеля и зашагал по улице. Навстречу ему попался Руккер, возвращавшийся домой из своего консульства.

— Пойдем сыграем на бильярде, — сказал Армстронг. — Мне надо развлечься, авось перестанет тошнить от угощенья, что подносят тут у вас, на уровне моря.

Вождь краснокожих

Перевод О. Холмской

Дельце как будто подвертывалось выгодное. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу. Мы были тогда с Биллом Дрисколлом на Юге, в штате Алабама. Там нас и осенила блестящая идея насчет хищения. Должно быть, как говаривал потом Билл, «нашло временное помрачение ума», — только мы-то об этом догадались много позже.

Есть там один городишко, плоский, как блин, и, конечно, называется «Вершины». Живет в нем самая безобидная и всем довольная деревенщина, какой впору только плясать вокруг майского шеста.

У нас с Биллом было в то время долларов шестьсот объединенного капитала, а требовалось нам еще ровно две тысячи на проведение жульнической спекуляции земельными участками в Западном Иллинойсе. Мы поговорили об этом, сидя на крыльце гостиницы. Чадолубие, говорили мы, сильно развито в полудеревенских общинах; а поэтому, а также и

по другим причинам план похищения легче будет осуществить здесь, чем в радиусе действия газет, которые поднимают в таких случаях шум, рассылая во все стороны переодетых корреспондентов. Мы знали, «что городишко не может послать за нами в погоню ничего страшнее констеблей, да каких-нибудь сентиментальных ищеек, да двух-трех обличительных заметок в „Еженедельном бюджете фермера“. Как будто получалось недурно.

Мы выбрали нашей жертвой единственного сына самого видного из горожан, по имени Эбенезер Дорсет.

Папаша был человек почтенный и прижимистый, любитель просроченных закладных, честный и неподкупный церковный сборщик. Сынок был мальчишка лет десяти, с выпуклыми веснушками по всему лицу и волосами приблизительно такого цвета, как обложка журнала, который покупаешь обычно в киоске, спеша на поезд. Мы с Биллом рассчитывали, что Эбенезер сразу выложит нам за сынка две тысячи долларов, никак не меньше. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу.

Милях в двух от города есть невысокая гора, поросшая густым кедровником. В заднем склоне этой горы имеется пещера. Там мы сложили провизию.

Однажды вечером, после захода солнца, мы проехали в шарабана мимо дома старика Дорсета. Мальчишка был на улице и швырял камнями в котенка, сидевшего на заборе.

— Эй, мальчик! — говорил Билл. — Хочешь получить пакетик леденцов и прокатиться?

Мальчишка засветил Биллу в самый глаз обломком кирпича.

— Это обойдется старику в лишних пятьсот долларов, — сказал Билл, перелезая через колесо.

Мальчишка этот дрался, как бурый медведь среднего веса, но в конце концов мы его запихали на дно шарабана и поехали. Мы отвели мальчишку в пещеру, а лошадь я привязал в кедровнике. Когда стемнело, я отвез шарабан в деревушку, где мы его нанимали, милях в трех от нас, а оттуда прогулялся к горе пешком.

Смотрю, Билл заклеивает липким пластырем царапины и ссадины на своей физиономии. Позади большой скалы у входа в пещеру горит костер, и мальчишка с двумя ястребиными перьями в рыжих волосах следит за кипящим кофейником. Подхожу я, а он нацелился в меня палкой и говорит:

— А, проклятый бледнолицый, как ты смеешь являться в лагерь Вождя Краснокожих, грозы равнин?

— Сейчас он еще ничего, — говорит Билл, закатывая штаны, чтобы разглядеть ссадины на голених. — Мы играем в индейцев. Цирк по сравнению с нами — просто виды Палестины в волшебном фонаре. Я старый охотник Хенк, пленник Вождя Краснокожих, и на рассвете с меня снимут скальп. Святые мученики! И здоров же лягаться этот мальчишка!

Да, сэр, мальчишка, видимо, веселился вовсю. Жить в пещере ему понравилось, он и думать забыл, что он сам пленник. Меня он тут же окрестил Змеиным Глазом и Соглядатаем и объявил, что, когда его храбрые воины вернутся из похода, я буду изжарен на костре, как только взойдет солнце.

Потом мы сели ужинать, и мальчишка, набив рот хлебом с грудинкой, начал болтать. Он произнес застольную речь в таком роде:

— Мне тут здорово нравится. Я никогда еще не жил в лесу; зато у меня был один раз ручной опоссум, а в прошлый день рождения мне исполнилось девять лет. Терпеть не могу ходить в школу. Крысы сожрали шестнадцать штук яиц из-под рябой курицы тетки Джимми Талбота. А настоящие индейцы тут в лесу есть? Я хочу еще подливки. Ветер отчего дует? Оттого, что деревья качаются? У нас было пять штук щенят. Хенк, отчего у тебя нос такой красный? У моего отца денег видимоневидимо. А звезды горячие? В субботу я два раза отлупил Эда Уокера. Не люблю девчонок! Жабу не очень-то поймаешь, разве только на веревочку. Быки ревут или нет? Почему апельсины круглые? А кровати у вас в пещере есть? Амос Меррей — шестипалый. Попугай умеет говорить, а обезьяна и рыба нет. Дюжина — это сколько будет?

Каждые пять минут мальчишка вспоминал, что он краснокожий, и, схватив палку, которую он называл ружьем, крался на цыпочках ко входу в пещеру выслеживать лазутчиков ненавистных бледнолицых. Время от времени он выпускал военный клич, от которого бросало в дрожь старого охотника Хенка, Билла этот мальчишка запугал с самого начала.

— Вождь Краснокожих, — говорю я ему, — а домой тебе разве не хочется?

— А ну их, чего я там не видал? — говорит он. — Дома ничего нет интересного. В школу ходить я не люблю. Мне нравится жить в лесу. Ты ведь не отведешь меня домой. Змеиный Глаз?

— Пока не собираюсь, — говорю я. — Мы еще проживем тут в пещере.

— Ну ладно, — говорит он. — Вот здорово! Мне никогда в жизни не было так весело.

Мы легли спать часов в одиннадцать. Расстелили на землю шерстяные и стеганные одеяла, посередине уложили Вождя Краснокожих, а сами легли с краю. Что он сбежит, мы не боялись. Часа три он, не давая нам спать, все вскакивал, хватал свое ружье; при каждом треске сучка и шорохе листьев, его юному воображению чудилось, будто к пещере подкрадывается шайка разбойников, и он верещал на ухо то мне, то Биллу: «Тише, приятель!» Под конец я заснул тревожным сном и во сне видел, будто меня похитил и приковал к дереву свирепый пират с рыжими волосами.

На рассвете меня разбудил страшный визг Билла. Не крики, или вопли, или вой, или рев, какого можно было бы ожидать от голосовых связок мужчины, — нет, прямо-таки неприличный, ужасающий, унижительный визг, каким визжат женщины, увидев привидение или гусеницу. Ужасно слышать, как на утренней заре в пещере визжит без умолку толстый, сильный, отчаянной храбрости мужчина.

Я вскочил с постели посмотреть, что такое делается. Вождь Краснокожих сидел на груди Билла, вцепившись одной рукой ему в волосы. В другой руке он держал острый ножик, которым мы обыкновенно резали грудинку, и самым деловитым и недвусмысленным образом пытался снять с Билла скальп, выполняя приговор, который вынес ему вчера вечером.

Я отнял у мальчишки ножик и опять уложил его спать. Но с этой самой минуты дух Билла был сломлен. Он улегся на своем краю постели, однако больше уже не сомкнул глаз за все то время, что мальчик был с нами. Я было задремал ненадолго, но к восходу солнца вдруг вспомнил, что Вождь Краснокожих обещался сжечь меня на костре, как только взойдет солнце. Не то чтобы я нервничал или боялся, а все-таки сел, закурил трубку и прислонился к скале.

— Чего ты поднялся в такую рань, Сэм? — спросил меня Билл.

— Я? — говорю. — Что-то плечо ломит. Думаю, может легче станет, если посидеть немного.

— Врешь ты, — говорит Билл. — Ты боишься. Тебя он хотел сжечь на рассвете, и ты боишься, что он так и сделает, И сжег бы, если б нашел спички. Ведь это просто ужас, Сэм. Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет платить деньги за то, чтобы такой дьяволенок вернулся домой?

— Думаю, — говорю я. — Вот как раз таких-то хулиганов и обожают родители. А теперь вы с Вождем Краснокожих вставайте и готовьте завтрак, а я поднимусь на гору и произведу разведку.

Я взошел на вершину маленькой горы и обвел взглядом окрестности. В направлении города я ожидал увидеть дюжих фермеров, с косами и вилами рыскающих в поисках подлых похитителей. А вместо того я увидел мирный пейзаж, и оживлял его единственный человек, пахавший на сером муле. Никто не бродил с баграми вдоль реки; всадники не скакали взад и вперед и не сообщали безутешным родителям, что пока еще ничего не известно Сонным спокойствием лесов веяло от той части Алабамы, которая простиралась перед моими глазами.

— Может быть, — сказал я самому себе, — еще не обнаружено, что волки унесли ягненок из загона. Помоги, боже, волкам! — И я спустился с горы завтракать.

Подхожу ближе к пещере и вижу, что Билл стоит, прижавшись к стенке, и едва дышит, а мальчишка собирается его трахнуть камнем чуть ли не с кокосовый орех величиной.

— Он сунул мне за шиворот с пылу горячую картошку, — объяснил Билл, — и раздавил ее ногой, а я ему надрал уши. Ружье с тобой, Сэм?

Я отнял у мальчишки камень и кое-как уладил это недоразумение.

— Я тебе покажу! — говорит мальчишка Биллу. — Еще ни один человек не ударил Вождя Краснокожих, не поплатившись за это. Так что ты берегись!

После завтрака мальчишка достает из кармана кусок кожи, обмотанный бечевкой, и идет из пещеры, разматывая бечевку на ходу.

— Что это он теперь затеял? — тревожно спрашивает Билл. — Как ты думаешь, Сэм, он не убежит домой?

— Не бойся, — говорю я — Он, кажется, вовсе не такой уж домосед. Однако нам нужно придумать какой-то план насчет выкупа. Не видно, чтобы в городе особенно беспокоились из-за того, что он пропал, а может быть, еще не пронюхали насчет похищения. Родные, может, думают, что он остался ночевать у тети Джейн или у кого-нибудь из соседей. Во всяком случае сегодня его должны хватиться. К вечеру мы пошлем его отцу письмо и потребуем две тысячи долларов выкупа.

И тут мы услышали что-то вроде военного клича, какой, должно быть, испустил Давид, когда нокаутировал чемпиона Голиафа. Оказывается, Вождь Краснокожих вытащил из кармана пращу и теперь крутил ее над головой.

Я увернулся и услышал глухой тяжелый стук и что-то похожее на вздох лошади, когда с нее снимают седло. Черный камень величиной с яйцо стукнул Билла по голове как раз позади левого уха. Он сразу весь обмяк и упал головой в костер, прямо на кастрюлю с кипятком для мытья посуды. Я вытащил его из огня и целых полчаса поливал холодной водой.

Понемножку Билл пришел в себя, сел, пощупал за ухом и говорит:

— Сэм, знаешь, кто у меня любимый герой в библии?

— Ты погоди, — говорю я. — Мало-помалу придешь в чувство.

— Царь Ирод, — говорит он. — Ты ведь не уйдешь, Сэм, не оставишь меня одного?

Я вышел из пещеры, поймал мальчишку и начал так его трясти, что веснушки застучали друг о друга.

— Если ты не будешь вести себя как следует, — говорю я, — я тебя сию минуту отправлю домой. Ну, будешь ты слушаться или нет?

— Я ведь только пошутил, — сказал он надувшись. — Я не хотел обижать старика Хенка. А он зачем меня ударил? Я буду слушаться. Змеиный Глаз, только ты не отправляй меня домой и позволь мне сегодня играть в разведчиков.

— Я этой игры не знаю, — сказал я. — Это уж вы решайте с мистером Биллом. Сегодня он будет с тобой играть. Я сейчас уйду ненадолго по делу. Теперь ступай помирись с ним да попроси прощения за то, что ты его ушиб, а не то сейчас же отправишься домой.

Я заставил их пожать друг другу руки, потом отвел Билла в сторонку и сказал ему, что уйду в деревушку Поплар-Ков, в трех милях от пещеры, и попробую узнать, как смотрят в городе на похищение младенца. Кроме того, я думаю, что будет лучше в этот же день послать угрожающее письмо старику Дорсету с требованием выкупа и наказом, как именно следует его уплатить.

— Ты знаешь, Сэм, — говорит Билл, — я всегда был готов за тебя в огонь и воду, не моргнув глазом во время землетрясения, игры в покер, динамитных взрывов, полицейских облав, нападений на поезда и циклонов. Я никогда ничего не боялся, пока мы не украли эту двуногую ракету. Он меня доконал. Ты ведь не оставишь меня с ним надолго, Сэм?

— Я вернусь к вечеру, что-нибудь около этого, — говорю я. — Твое дело занимать и успокаивать ребенка, пока я не вернусь. А сейчас мы с тобой напишем письмо старику Дорсету.

Мы с Билом взяли бумагу и карандаш и стали сочинять письмо, а Вождь Краснокожих тем временем расхаживал взад и вперед, закутавшись в одеяло и охраняя вход в пещеру. Билл со слезами просил меня назначить выкуп в полторы тысячи долларов вместо двух.

— Я вовсе не пытаюсь унижить прославленную, с моральной точки зрения, родительскую любовь, но ведь мы имеем дело с людьми, а какой же человек нашел бы в себе силы заплатить две тысячи долларов за эту веснушчатую дикую кошку! Я согласен рискнуть: пускай будет полторы тысячи долларов. Разницу можешь отнести на мой счет.

Чтобы утешить Билла, я согласился, и мы с ним вместе состряпали такое письмо:

«Эбенезеру Дорсету, эсквайру.

Мы спрятали вашего мальчика в надежном месте, далеко от города. Не только вы, но даже самые ловкие сыщики напрасно будут его искать. Окончательные, единственные условия, на которых вы можете получить его обратно, следующие: мы требуем за его возвращение полторы тысячи долларов; деньги должны быть оставлены сегодня в полночь на том же месте и в той же коробочке, что и ваш ответ, — где именно, будет сказано ниже. Если вы согласны

на эти условия, пришлите ответ в письменном виде с кем-нибудь одним к половине девятого. За бродом через Совиный ручей по дороге к Тополевой роще растут три больших дерева на расстоянии ста ярдов одно от другого, у самой изгороди, что идет мимо пшеничного поля, с правой стороны. Под столбом этой изгороди, напротив третьего дерева, ваш посланный найдет небольшую картонную коробку.

Он должен положить ответ в эту коробку и немедленно вернуться в город.

Если вы попытаетесь выдать нас или не выполнить наших требований, как сказано, вы никогда больше не увидите вашего сына.

Если вы уплатите деньги, как сказано, он будет вам возвращен целым и невредимым в течение трех часов. Эти условия окончательны, и, если вы на них не согласитесь, всякие дальнейшие сообщения будут прерваны.

«Два злодея».

Я надписал адрес Дорсета и положил письмо в карман. Когда я уже собрался в путь, мальчишка подходит ко мне и говорит:

— Змеиный Глаз, ты сказал, что мне можно играть в разведчика, пока тебя не будет.

— Играй, конечно, — говорю я. — Вот мистер Билл с тобой поиграет. А что это за игра такая?

— Я разведчик, — говорит Вождь Краснокожих, — и должен скакать на заставу, предупредить поселенцев, что индейцы идут. Мне надоело самому быть индейцем. Я хочу быть разведчиком.

— Ну, ладно, — говорю я. — По-моему, вреда от этого не будет. Мистер Билл поможет тебе отразить нападение свирепых дикарей.

— А что мне надо делать? — спрашивает Билл, подозрительно глядя на мальчишку.

— Ты будешь конь, — говорит разведчик. — Становись на четвереньки. А то как же я доскачу до заставы без коня?

— Ты уж лучше займи его, — сказал я, — пока наш план не будет приведен в действие. Порезвись немножко.

Билл становится на четвереньки, и в глазах у него появляется такое выражение, как у кролика, попавшего в западню.

— Далеко ли до заставы, малыш? — спрашивает он довольно-таки хриплым голосом.

— Девяносто миль, — отвечает разведчик. — И тебе придется поторопиться, чтобы попасть туда вовремя. Ну пошел!

Разведчик вскакивает Биллу на спину и вонзает пятки ему в бока.

— Ради бога, — говорит Билл, — возвращайся, Сэм, как можно скорее! Жалко, что мы назначили такой выкуп, надо бы не больше тысячи. Слушай, ты перестань меня лягать, а не то я вскочу и огрею тебя как следует!

Я отправился в Поплар-Ков, заглянул на почту и в лавку, посидел там, поговорил с фермерами, которые приходили за покупками. Один бородач слышал, будто бы весь город переполошился из-за того, что у Эбенезера Дорсета пропал или украден мальчишка. Это-то мне и нужно было знать. Я купил табуку, справился мимоходом, почем нынче горох, незаметно опустил письмо в ящик и ушел. Почтмейстер сказал мне, что через час проедет мимо почтальон и заберет городскую почту.

Когда я вернулся в пещеру, ни Билла, ни мальчишки нигде не было видно. Я произвел разведку в окрестностях пещеры, отважился раза два аукнуть, но мне никто не ответил. Я закурил трубку и уселся на моховую кочку ожидать дальнейших событий.

Приблизительно через полчаса в кустах зашелестело, и Билл выкатился на полянку перед пещерой. За ним крался мальчишка, ступая бесшумно, как разведчик, и ухмыляясь во всю ширь своей физиономии. Билл остановился, снял шляпу и вытер лицо красным платком. Мальчишка остановился футах в восьми позади него.

— Сэм, — говорит Билл, — пожалуй, ты сочтешь меня предателем, но я просто не мог терпеть. Я взрослый человек, способен к самозащите, и привычки у меня мужественные, однако бывают случаи, когда все идет прахом — и самомнение и самообладание. Мальчик ушел. Я отослал его домой. Все кончено. Бывали мученики в старое время, которые скорее

были готовы принять смерть, чем расстаться с любимой профессией. Но никто из них не подвергался таким сверхъестественным пыткам, как я. Мне хотелось остаться верным нашему грабительскому уставу, но сил не хватило.

— Что такое случилось, Билл? — спрашиваю я.

— Я проскакал все девяносто миль до заставы, ни дюймом меньше, — отвечает Билл. — Потом, когда поселенцы были спасены, мне дали овса. Песок — неважная замена овсу. А потом я битый час должен был объяснять, почему в дырках ничего нету, зачем дорога идет в обе стороны и отчего трава зеленая. Говорю тебе, Сэм, есть предел человеческому терпению. Хватаю мальчишку за шиворот и тащу с горы вниз. По дороге он меня лягает, все ноги от колен книзу у меня в синяках; два-три укуса в руку и в большой палец мне придется прижечь. Зато он ушел, — продолжает Билл, — ушел домой. Я показал ему дорогу в город, да еще и подшвырнул его пинком футов на восемь вперед. Жалко, что выкуп мы теряем, ну, да ведь либо это, либо мне отправляться в сумасшедший дом.

Билл пыхтит и отдувается, но его ярко-розовая физиономия выражает неизъяснимый мир и полное довольство.

— Билл, — говорю я, — у вас в семье ведь нет сердечных болезней?

— Нет, — говорит Билл, — ничего такого хронического, кроме малярии и несчастных случаев. А что?

— Тогда можешь обернуться, — говорю я, — и поглядеть, что у тебя за спиной.

Билл оборачивается, видит мальчишку, разом бледнеет, плюхается на землю и начинает бессмысленно хвататься за траву и мелкие щепочки. Целый час я опасался за его рассудок. После этого я сказал ему, что, по-моему, надо кончать это дело моментально и что мы успеем получить выкуп и смыться еще до полуночи, если старик Дорсет согласится на наше предложение. Так что Билл немного подбодрился, настолько даже, что через силу улыбнулся мальчишке и пообещал ему изображать русских в войне с японцами, как только ему станет чуточку полегче.

Я придумал, как получить выкуп без всякого риска быть захваченным противной стороной, и мой план одобрил бы всякий профессиональный похититель. Дерево, под которое должны были положить ответ, а потом и деньги, стояло у самой дороги; вдоль дороги была изгородь, а за ней с обеих сторон — большие голые поля. Если бы того, кто придет за письмом, подстерегала шайка констеблей, его увидели бы издали на дороге или посреди поля. Так нет же, голубчики! В половине девятого я уже сидел на этом дереве, спрятавшись не хуже древесной лягушки, и поджидал, когда появится посланный.

Ровно в назначенный час подъезжает на велосипеде мальчишка-подросток, находит картонную коробку под столбом, засовывает в нее сложенную бумажку и укатывает обратно в город.

Я подождал еще час, пока не уверился, что подвоха тут нет. Слез с дерева, достал записку из коробки, прокрался вдоль изгороди до самого леса и через полчаса был уже в пещере. Там я вскрыл записку, подсел поближе к фонарю и прочел ее Биллу. Она была написана чернилами, очень неразборчиво, и самая суть ее заключалась в следующем:

«Двум злодеям.

Джентльмены, с сегодняшней почтой я получил ваше письмо насчет выкупа, который вы просите за то, чтобы вернуть мне сына. Думаю, что вы запрашиваете лишнее, а потому делаю вам со своей стороны контрпредложение и полагаю, что вы его примете. Вы приводите Джонни домой и платите мне двести пятьдесят долларов наличными, а я соглашаюсь взять его у вас с рук долой. Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что он пропал без вести, и я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Джонни домой.

С совершенным почтением

Эбенезер Дорсет».

— Великие пираты! — говорю я! — Да ведь этакой наглости...

Но тут я взглянул на Билла и замолчал. У него в глазах я заметил такое умоляющее выражение, какого не видел прежде ни у бессловесных, ни у говорящих животных.

— Сэм, — говорит он, — что такое двести пятьдесят долларов в конце концов? Деньги у нас есть. Еще одна ночь с этим мальчишкой, и придется меня свезти в сумасшедший дом. Кроме

того, что мистер Дорсет настоящий джентльмен, он, помоему, еще и расточитель, если делает нам такое великодушное предложение. Ведь ты не собираешься упускать такой случай, а?

— Сказать тебе по правде, Билл, — говорю я, — это сокровище что-то и мне действует на нервы! Мы отвезем его домой, заплатим выкуп и смоемся куда-нибудь подальше.

В ту же ночь мы отвезли мальчишку домой. Мы его уговорили-наплели, будто бы отец купил ему винтовку с серебряной насечкой и мокасины и будто бы завтра мы с ним поедem охотиться на медведя.

Было ровно двенадцать часов ночи, когда мы постучались в парадную дверь Эбenezера. Как раз в ту самую минуту, когда я должен был извлекать полторы тысячи долларов из коробки под деревом, Билл отсчитывал двести пятьдесят долларов в руку Дорсету.

Как только мальчишка обнаружил, что мы собираемся оставить его дома, он поднял вой не хуже паровой сирены и вцепился в ногу Билла, словно пиявка. Отец отдирает его от ноги, как липкий пластырь.

— Сколько времени вы сможете его держать? — спрашивает Билл.

— Силы у меня уж не те, что прежде, — говорит старик Дорсет, — но думаю, что за десять минут могу вам ручаться.

— Этого довольно, — говорит Билл. — В десять минут я пересеку Центральные, Южные и Среднезападные штаты и свободно успею добежать до канадской границы.

Хотя ночь была очень темная, Билл очень толст, а я умел очень быстро бегать, я нагнал его только в полутора милях от города.

Формальная ошибка

Перевод Н. Дарузес

Я всегда недолго любил вендетты. По-моему, этот продукт нашей страны переоценивают еще более чем грейпфрут, коктейль и медовый месяц. Однако, с вашего разрешения, я хотел бы рассказать об одной вендетте на индейской территории, вендетте, в которой я играл роль репортера, адъютанта и несоучастника.

Я гостил на ранчо Сэма Дорки и развлекался вовсю — падал с ненаманикюренных лошадей и грозил кулаком волкам, когда они были за две мили Сэм, закаленный субъект лет двадцати пяти, пользовался репутацией человека, не боящегося возвращаться домой после наступления темноты, хотя он проделывал это часто с большой неохотой.

Неподалеку, в Крик-Нейшн, проживало семейство Тэтемов. Мне сообщили, что Дорки и Тэтемы вендеттируют много лет. По нескольку человек с каждой стороны уже ткнулось носом в траву, и ожидалось, что число Навуходоносоров этим не ограничится. Подрастало молодое поколение, и трава росла вместе с ним. Но, насколько я понял, война велась честно и никто не залегал в кукурузном поле, целясь в скрещение подтяжек на спине врага, — отчасти, возможно, потому, что не было кукурузных полей и никто не носил более одной подтяжки, также не причинялось вреда детям и женщинам враждебного рода. В те дни, как, впрочем, и теперь, их женщинам не грозила опасность.

У Сэма Дорки была девушка (если бы я собирался продать этот рассказ в беллетристический журнал, я написал бы: «Мистер Дорки имел счастье быть помолвленным»). Ее звали Элла Бэйнс. Казалось они питали друг к другу безграничную любовь и доверие; впрочем, это впечатление производят любые помолвленные, даже такие, между которыми нет ни любви, ни доверия. Мисс Бэйнс была недурна, особенно ее красили густые каштановые волосы Сэм представил ей меня, но это никак не отразилось на ее расположении к нему, из чего я заключил, что они поистине созданы друг для друга.

Мисс Бэйнс жила в Кингфишере, в двадцати милях от ранчо. Сэм жил в седле между Кингфишером и ранчо.

Однажды в Кингфишере появился бойкий молодой человек, невысокого роста, с правильными чертами лица и гладкой кожей. Он настойчиво наводил справки о городских делах и поименно о горожанах. Он говорил, что приехал из Маскоги, и, судя по его желтым

ботинкам и вязаному галстуку, это было правдой. Я познакомился с ним, когда приехал за почтой. Он назвался Беверли Трэйверзом, что прозвучало как-то неубедительно.

На ранчо в то время была горячая пора, и Сэм не мог часто ездить в город. Мне, бесполезному гостю, ничего не смыслившему в хозяйстве, выпала обязанность снабжать ранчо всякими мелочами, как-то: открытками, мешками муки, дрожжами, табаком и письмами от Эллы.

И вот раз, будучи послан за полугроссом пачек курительной бумаги и двумя фургонными шинами, я увидел пролетку с желтыми колесами, а в ней вышепоименованного Беверли Трэйверза, нагло катающего Эллу Бэйнс по городу со всем шиком, какой допускала черная липкая грязь улиц. Я знал, что сообщение об этом факте не прольется целительным бальзамом в душу Сэма, и по возвращении, отчитываясь в городских новостях, воздержался от упоминания о нем. Но на следующий день на ранчо прискакал долговязый экс-ковбой по имени Симмонс, старинный приятель Сэма, владелец фуражного склада в Кингфишере. Прежде чем заговорить, он свернул и выкурил немало папирос. Когда же он, наконец, раскрыл рот, слова его были таковы:

— Имей в виду, Сэм, что в Кингфишере в последние две недели портил пейзаж один болван, обзывавший себя Выверни Трензель. Знаешь, кто он? Самый что ни на есть Бен Тэтем, сын старика Гофера Тэтема, которого твой дядя Ньют застрелил в феврале. Знаешь, что он сделал сегодня утром? Убил твоего брата Лестера — застрелил его во дворе суда.

Мне показалось, что Сэм не расслышал, Он отломил веточку с мескитового куста, задумчиво дожевал ее и сказал:

— Да? Убил Лестера?

— Его самого, — ответил Симмонс. — И еще того больше — он убежал с твоей девушкой, этой самой, так сказать, мисс Эллой Бэйнс. Я подумал, что тебе надо бы узнать об этом, вот и приехал сообщить.

— Весьма обязан, Джим, — сказал Сэм, вынимая изо рта изжеванную веточку. — Я рад, что ты приехал. Очень рад.

— Ну, я, пожалуй, поеду. У меня на складе остался только мальчишка, а этот дуралей сено с овсом путает. Он выстрелил Лестеру в спину.

— Выстрелил в спину?

— Да, когда он привязывал лошадь.

— Весьма обязан, Джим.

— Я подумал, что ты, может быть, захочешь узнать об этом поскорее.

— Выпей кофе на дорогу, Джим?

— Да нет, пожалуй. Мне пора на склад.

— И ты говоришь...

— Да, Сэм. Все видели, как они уехали вместе, а к тележке был привязан большой узел, вроде как с одеждой. А в упряжке — пара, которую он привел из Маскоги. Их сразу не догнать.

— А по какой...

— Я как раз собирался сказать тебе. Поехали они по дороге в Гатри, а куда свернут, сам понимаешь, неизвестно.

— Ладно, Джим, весьма обязан.

— Не за что, Сэм.

Симмонс свернул папиросу и пришпорил лошадь. Отъехав ярдов на двадцать, он задержался и крикнул:

— Тебе не нужно... содействия, так сказать?

— Спасибо, обойдусь.

— Я так и думал. Ну, будь здоров.

Сэм вытащил карманный нож с костяной ручкой, открыл его и счистил с левого сапога присохшую грязь. Я было подумал, что он собирается поклясться на лезвии в вечной мести или продекламировать «Проклятие цыганки». Те немногие вендетты, которые мне довелось видеть или о которых я читал, начинались именно так. Эта как будто велась на новый манер.

В театре публика наверняка освистала бы ее и потребовала бы взамен одну из душераздирающих мелодрам Беласко.

— Интересно, — вдумчиво сказал Сэм, — остались ли на кухне холодные бобы!

Он позвал Уоша, повара-негра, и, узнав, что бобы остались, приказал разогреть их и сварить крепкого кофе. Потом мы пошли в комнату Сэма, где он спал и держал оружие, собак и седла любимых лошадей. Он вынул из книжного шкафа три или четыре кольца и начал осматривать их, рассеянно насвистывая «Жалобу ковбоя». Затем он приказал оседлать и привязать у дома двух лучших лошадей ранчо.

Я замечал, что по всей нашей стране вендетты в одном отношении неуклонно подчиняются строгому этикету. В присутствии заинтересованного лица о вендетте не говорят и даже не упоминают самого слова. Это так же предосудительно, как упоминание о бородавке на носу богатой тетушки. Позднее я обнаружил, что существует еще одно неписаное правило, но, насколько я понимаю, оно принадлежит исключительно Западу.

До ужина оставалось еще два часа, однако уже через двадцать минут мы с Сэмом глубоко погрузились в разогретенные бобы, горячий кофе и холодную говядину.

— Перед большим перегоном надо закусить получше, — сказал Сэм. — Ешь плотнее.

У меня возникло неожиданное подозрение.

— Почему ты велел оседлать двух лошадей? — спросил я.

— Один да один — два, — сказал Сэм. — Ты считать умеешь?

От его математических выкладок у меня по спине пробежала холодная дрожь, но они послужили мне уроком. Ему и в голову не приходило, что мне может прийти в голову бросить его одного на багряной дороге мести и правосудия. Это была высшая математика. Я был обречен и положил себе еще бобов.

Час спустя мы ровным галопом неслись на восток. Наши кентуккийские лошади недаром набирались сил на мескитной траве Запада. Лошади Бена Тэтема были, возможно, быстрее, и он намного опередил нас, но если бы он услышал ритмический стук копыт наших скакунов, рожденных в самом сердце страны вендетт, он почувствовал бы, что возмездие приближается по следам его резвых коней.

Я знал, что Бен Тэтем делает ставку на бегство и не остановится до тех пор, пока не окажется в сравнительной безопасности среди своих друзей и приверженцев.

Он, без сомнения, понимал, что его враг будет следовать за ним повсюду и до конца.

Пока мы ехали, Сэм говорил о погоде, о ценах на мясо и о пианолах. Казалось, у него никогда не было ни брата, ни возлюбленной, ни врага. Есть темы, для которых не найти слов даже в самом полном словаре. Я знал требования кодекса вендетт, но, не имея опыта, несколько перегнул палку и рассказал пару забавных анекдотов. Там, где следовало, Сэм смеялся — смеялся ртом. Увидев его рот, я пожалел, что у меня не хватило такта воздержаться от этих анекдотов.

Мы догнали их в Гатри. Измученные, голодные, пропыленные насквозь, мы ввалились в маленькую гостиницу и уселись за столик. В дальнем углу комнаты сидели беглецы. Они жадно ели и по временам боязливо оглядывались.

На девушке было коричневое шелковое платье с кружевным воротничком и манжетами и с плиссированной — так, кажется, они называются — юбкой. Ее лицо наполовину закрывала густая коричневая вуаль, на голове была соломенная шляпа с широкими полями, украшенная перьями. Мужчина был одет в простой темный костюм, волосы его были коротко подстрижены. В толпе его внешность не привлекла бы внимания.

За одним столом сидели они — убийца и женщина, которую он похитил, за другим — мы: законный (согласно обычаю) мститель и сверхштатный свидетель, пишущий эти строки.

И тут в сердце сверхштатного проснулась жажда крови. На мгновение он присоединился к сражающимся — словесно.

— Чего ты ждешь, Сэм? — прошептал я. — Стреляй!

Сэм тоскливо вздохнул.

— Ты не понимаешь, — сказал он. — А он понимает. Он знает. В здешних местах, Мистер из Города, у порядочных людей есть правило: в присутствии женщины в мужчину не стреляют.

Я ни разу не слышал, чтобы его нарушили. Так не делают. Его надо поймать, когда он в мужской компании или один. Вот оно как. Он это тоже знает. Мы все знаем. Так вот, значит, каков этот красавчик, мистер Бен Тэтем! Я его заарканю прежде, чем они отсюда уедут, и закрою ему счет.

После ужина парочка быстро исчезла. Хотя Сэм до рассвета бродил по лестницам, буфету и коридорам, беглецам каким-то таинственным образом удалось ускользнуть, и на следующее утро не было ни дамы под вуалью, в коричневом платье с плиссированной юбкой, ни худощавого невысокого молодого человека с коротко подстриженными волосами, ни тележки с резвыми лошадьми.

История этой погони слишком монотонна, и я буду краток. Мы нагнали их в пути. Когда мы приблизились к тележке на пятьдесят ярдов, беглецы оглянулись и даже не хлестнули лошадей. Торопиться им больше было незачем. Бен Тэтем знал. Знал, что теперь спасти его может только кодекс. Без сомнения, будь Бен один, дело быстро закончилось бы обычным путем. Но присутствие его спутницы заставляло обоих врагов удерживать пальцы на спусковых крючках. Судя по всему, Бен не был трусом.

Таким образом, как вы видите, женщина иногда мешает столкновению между мужчинами, а не вызывает его. Но не сознательно и не по доброй воле. Кодексов для нее не существует.

Через пять миль мы добрались до Чендлера, одного из грядущих городов Запада. Лошади и преследователей и преследуемых были голодны и измучены. Только одна гостиница грозила людям и манила скотину — мы все четверо встретились в столовой по зову громадного колокола, чей гудящий звон давно уже расколол небесный свод. Комната была меньше, чем в Гатри.

Когда мы примялись за яблочный пирог, — как переплетаются бурлеск и трагедия! — я заметил, что Сэм напряженно вглядывается в нашу добычу, сидящую в углу напротив. На девушке было то же коричневое платье с кружевным воротничком и манжетами; вуаль по-прежнему закрывал! ее лицо. Мужчина низко склонил над тарелкой коротко остриженную голову.

Я услышал, как Сэм пробормотал не то мне, не то самому себе:

— Есть правило, что нельзя убивать мужчину в присутствии женщины. Но, черт побери, нигде не сказано, что нельзя убить женщину в присутствии мужчины!

И, прежде чем я успел понять, к чему ведет это рассуждение, он выхватил кольт и всадил все шесть пуль в коричневое платье с кружевным воротничком и манжетами и с плиссированной юбкой.

Уронив на руки голову, лишённую былой красоты и гордости, за столом сидела девушка, чья жизнь теперь была навеки погублена. А сбежавшиеся люди поднимали с пола труп Бена Тэтема в женском платье, которое дало возможность Сэму формально обойти требования кодекса.

Коловращение жизни

Перевод И. Гуровой

Мировой судья Бинаджа Уиддеп сидел на крылечке суда и курил самодельную бузиновую трубку. Кэмберлендский горный кряж, голубовато-серый в вечернем мареве, тянулся к зениту, загромоздив полнеба. Рябая чванливая курица проковыляла по «главному проспекту» поселка, бессмысленно клохча.

На дороге послышался скрип колес» за клубилось облачко пыли и показалась запряженная быком двуколка, а в ней — Рэнси Билбро со своей половиной. Двуколка остановилась перед зданием суда, и супружеская чета вылезла из нее. Рэнси Билбро состоял преимущественно из дубленой коричневой кожи, увенчанной на высоте шести футов копной желтых волос. Невозмутимый покой родных молчаливых гор одевал его словно броней. В наружности его жены прежде всего бросалось в глаза большое количество ситца, много острых углов и следы нюхательного табака. Сквозь все это проглядывало беспокойство не вполне осознанных желаний и глухой протест обманутой молодости, не замечающей, что она уже прошла.

Мировой судья сунул ноги в башмаки, из уважения к своему званию, и поднялся, чтобы пропустить супругов.

— Мы, вот, — сказала женщина, и голос ее прозвучал, как гудение ветра в ветвях сосен, — хотим развестись. — Она взглянула на мужа, не усмотрел ли он какой-нибудь неясности, неточности, уклончивости, пристрастия или стремления к личной выгоде в том, как она изложила сущность дела.

— Развестись, — повторил Рэнси, подкрепляя свои слова торжественным кивком. — Мы, вот, не можем ужиться, хоть ты тресни! В горах-то у нас глушь — одиноко, стало быть, жить-то. Ну, когда муж или, к примеру, жена стараются друг для дружки — еще куда ни шло. А уж когда она шипит, как дикая кошка, или сидит нахохлившись, что твоя сова, человеку-то мочи нет жить с ней вместе.

— Да когда он бездельник и чумовой, — без особенного жара сказала женщина. — Валандается с разными поганцами, с самогонщиками, а после дрыхнет день-деньской, налакавшись виски, да еще целая напасть сего собаками — корми их!

— Да когда она швыряется крышками от кастрюль, — в тон ей забубнил Рэнси. — да еще окатила кипятком лучшего охотничьего пса на весь Кэмберленд, а чтоб мужу похлебку сварить, так нет ее, а уж ночь-то всю как есть глаз сомкнуть не дает, все пилит и пилит за всякую пустяковину.

— Да когда он на податных чиновников с кулаками лезет и на все горы ославился как самый что ни на есть никудышный пропойца, — тут нешто уснешь?

Мировой судья не спеша приступил к исполнению своих обязанностей. Он предложил спорящим сторонам табурет и свой единственный стул, раскрыл свод законов и углубился в перечень статей. Потом протер очки и пододвинул к себе чернильницу.

— В законе и его уложении, — начал судья, — ничего не говорится насчет развода в смысле, так сказать, его включаемости в юрисдикцию данного суда. Но, с точки зрения справедливости, конституции и священного писания, всякая сделка хороша только постольку, поскольку ее можно расторгнуть. Если мировой судья может сочетать какую-либо пару узами брака, ясно, что он может, если потребуется, и развести ее. Наш суд вынесет решение о разводе и позволит себе надеяться, что Верховный суд оставит это решение в силе.

Рэнси Билбро вытащил из кармана штанов небольшой кисет. Из кисета он вытряхнул на стол пятидолларовую бумажку.

— Продал медвежью шкуру и трех лисиц, — сказал он. — Вот все наши денежки, больше нету.

— Установленная судом плата за развод, — сказал судья, — равняется пяти долларам. — С подчеркнuto равнодушным видом он сунул бумажку в карман своего домотканого жилета. Затем с заметным физическим и умственным напряжением нацарапал на четвертушке листа постановление о разводе, переписал его на другую четвертушку и прочел вслух Рэнси Билбро и его супруга выслушали приговор о своем полном и обоюдном раскабалении.

«Сим доводится до всеобщего сведения, что Рэнси Билбро и его жена Эриэла Билбро, будучи в здравом уме и твердой памяти, лично предстали сегодня передо мной и дали обещание отныне и впредь не любить и не почитать друг друга и ни в чем друг другу не повиноваться, ни в радости, ни в горе, после чего и были привлечены к суду для расторжения брака в интересах соблюдения общественного спокойствия и достоинства Штата. От слова не отступать, и да поможет вам бог Бинаджа Уиддеп, мировой судья округа Пьемонта. В округе Пьемонте, штат Теннесси».

Судья уже протягивал одну из бумажек Рэнси, но голос Эриэлы приостановил вручение документа. Оба мужчины уставились на нее. В лице этой женщины их неповоротливый мужской ум столкнулся с чем-то непредвиденным.

— Судья, ты погоди-ка давать ему эту бумагу. Так не все ладно будет. Ты наперед защити мои права. Пусть заплатит мне пансион. Это разве дело — сам получил развод, а жена что? Живи, как знаешь? А я вот надумала отправиться к братцу Эду на Свиной хребет, так мне нужно пару башмаков купить и табаку, да еще то да се Коли Рэнси мог заплатить разводные, так пусть и мне платит пансион.

Рэнси Билбро онемел от этого удара. Ни о каком пенсионе прежде у них разговору не было. Но ведь женщины всегда преподносят мужчинам ошеломляющие сюрпризы.

Мировой судья Бинаджа Уиддеп понял, что этот вопрос может быть разрешен только в юридическом порядке. Свод законов хранил и на сей счет гробовое молчание, однако ноги женщины были босы, а тропа на Свиной хребет — крута и кремниста.

— Эриэла Билбро. — спросил Бинаджа Уиддеп судейским голосом, — какой пенсион полагаете вы достаточным и соразмерным по делу, которое в настоящую минуту слушается в суде?

— Я полагаю, — отвечала женщина, — на башмаки и на все про все, стало быть, пять долларов. Это не бог весть какой пансион, но до братца Эда, может, и доберусь.

— Названная сумма, — сказал судья, — не представляется суду непомерной. Рэнси Билбро, по решению суда вам надлежит уплатить истице пять долларов, дабы постановление о разводе могло войти в силу.

— А где их взять-то, — с тяжелым вздохом отвечал Рэнси. — Я вам выложил все, что у меня было.

— В противном случае, — изрек судья, свирепо воззрившись на Рэнси поверх очков, — вы будете привлечены к ответственности за неуважение к суду.

— Кабы вы обождали денек, — с мольбой сказал Рэнси, — может, я бы и наскреб где. Кто ж его знал, что она потребует пансион.

— Слушание дела откладывается, — объявил судья. — Завтра вы оба должны явиться, дабы выполнить постановление суда. После чего вам будет выдано на руки свидетельство о разводе.

Бинаджа Уиддеп уселся на крыльце и начал расшнуровывать башмаки.

— Что ж, к дядюшке Зайе поедем, что ли? — сказал Рэнси. — Переночуем у него. — Он влез в двуколку, Эриэла забралась в нее с другой стороны. Маленький рыжий бычок, повинувшись удару веревочной вожжи, не торопясь описал полукруг и потащился куда следовало. Двуколка, вздымая облака пыли, затарахтела по дороге.

Судья Бинаджа Уиддеп выкурил свою бузиновую трубку. Потом достал еженедельную газету и принялся за чтение. Он читал до самых сумерек, а когда строчки стали расплываться у него перед глазами, зажег сальную свечу на столе и продолжал читать, пока не взошла луна, возвестив время ужина.

Судья жил в бревенчатой хижине на склоне холма, у сухого тополя. Направляясь домой, он перебрался через ручеек, проложивший себе путь в лавровых зарослях. Темная фигура выступила из-за деревьев и направила ему в грудь дуло ружья. Низко надвинутая шляпа и какой-то лоскут закрывали лицо грабителя.

— Давай деньги, — сказала фигура, — да помалкивай. Я зол как черт, и палец, вишь, так и пляшет на спуске...

— П-п-пять долларов — все, что у меня есть, — пробормотал судья, доставая бумажку из жилетного кармана.

— Сверни ее, — последовал приказ, — и засунь в ствол ружья.

Бумажка была новенькая и хрустящая. Даже дрожащим от страха неуклюжим пальцам нетрудно было свернуть ее трубочкой и (что потребовало больших усилий!) засунуть в ствол ружья.

— Ну ладно, ступай теперь, — сказал грабитель.

Судья не стал мешкать.

На другой день маленький рыжий бычок приволок двуколку к крыльцу суда. Судья Бинаджа Уиддеп с утра сидел обутый, так как поджидал посетителей. В его присутствии Рэнси Билбро вручил жене пятидолларовую бумажку. Судья впился в нее взглядом. Она закручивалась с концов, словно была не так давно свернута трубочкой и засунута в ствол ружья. Но Бинаджа Уиддеп воздержался от замечаний. Мало ли чего — никакой бумажке не заказано скручиваться. Судья вручил каждому из супругов свидетельство о расторжении брака. Они в неловком молчании стояли рядом, медленно складывая полученные ими гарантии свободы, Эриэла бросила робкий, неуверенный взгляд на мужа.

— Ты, стало быть, домой теперь, на двуколке... Хлеб в шкафу, в жестяной коробке. Сало я положила в котелок — от собак подальше. Не позабудь часы-то завести на ночь.

— А ты, значит, к братцу Эду? — с тонко разыгранным безразличием спросил Рэнси.

— Да вот до ночи надо бы добраться. Не больно-то они там обрадуются, когда меня увидят, да куда ж больше пойдешь. А путь-то туда знаешь какой. Пойду уж, стало быть... Надо бы, значит, попрощаться нам с тобой, Рэнси... да ведь ты, может, и не захочешь попрощаться-то...

— Может, я, конечно, собака, — голосом мученика проговорил Рэнси. — не захочу, видишь ты, попрощаться!.. Оно, конечно, когда кому невтерпеж уйти, так тому, может, и не до прощанья...

Эриэла молчала. Она тщательно сложила пятидолларовую бумажку и свидетельство о разводе и сунула их за пазуху. Бинаджа Уиддеп скорбным взглядом проводил исчезающую банкноту.

Мысли его текли своим путем, и последующие его слова показали, что он, может быть, принадлежал либо к довольно распространенной категории чутких душ, либо к значительно более редкой разновидности — к финансовым гениям.

— Одиноко тебе будет нынче в старой-то хижине, а, Рэнси? — сказала Эриэла.

Рэнси Билбро глядел в сторону, на Кэмберлендский кряж — светло-синий сейчас, в лучах солнца. Он не смотрел на Эриэлу.

— А то нет, что ли, — сказал он. — Так ведь когда кто начнет с ума сходить да кричать насчет развода, так разве ж того силком удержишь.

— Так когда ж кто другой сам хотел развода, — сказала Эриэла, адресуясь к табуретке. — Видать, кто-то не больно уж хочет, чтоб кто-то остался.

— Да когда б кто сказал, что не хочет.

— Да когда б кто сказал, что хочет. Пойду-ка я к братцу Эду. Пора уж.

— Видать, теперь никто уж не заведет наших часов.

— Может, мне поехать с тобой, Рэнси, на двуколке, завести тебе часы?

На лице горца не отразилось никаких чувств. Но он протянул огромную ручищу, и худая, коричневая от загара рука жены исчезла в ней. На мгновение жесткие черты Эриэлы просветлели, словно озаренные изнутри.

— Уж я пригляжу, чтоб собаки не донимали тебя, — сказал Рэнси. — Скотина я был, как есть скотина. Ты уж заведи часы, Эриэла.

— Сердце-то у меня там осталось, Рэнси, в нашей хижине, — шепнула Эриэла. — Где ты — там и оно. И я не стану больше беситься-то. Поедем домой, Рэнси, может еще поспеем засветло.

Забыв о присутствии судьи, они направились было к двери, но Бинаджа Уиддеп окликнул их.

— Именем штата Теннесси. — сказал он, — запрещаю вам нарушать его порядки и установления. Суду чрезвычайно отраднo и не скажу как радостно видеть, что развеялись тучи раздора и взаимонепонимания, омрачавшие союз двух любящих сердец. Тем не менее суд призван стоять на страже нравственности и моральной чистоты Штата и он напоминает вам, что вы разведены по всем правилам и, стало быть, больше не муж и не жена и, как не таковые, лишаетесь права пользоваться благами, кои составляют исключительную привилегию матрианомального состояния.

Эриэла схватила мужа за руку. Что он там говорит, этот судья? Он хочет отнять у нее Рэнси теперь, когда жизнь дала им обоим хороший урок?

— Однако, — продолжал судья, — суд готов снять с вас неправомочия, налагаемые фактом бракоразвода, и может хоть сейчас приступить к совершению торжественного обряда бракосочетания, дабы все стало на свое место и тяжущиеся стороны могли повергнуть себя вновь в благородное и возвышенное матрианомальное состояние. Плата за вышеозначенный обряд в вышеизложенном случае составит, короче говоря, пять долларов.

В последних словах судьи Эриэла уловила для себя слабый проблеск надежды. Рука ее проворно скользнула за пазуху, и оттуда, выпущенной на свободу голубкой, выпорхнула

пятидолларовая бумажка и, сложив крылышки, опустилась на стол судьи. Бронзовые щеки Эриэлы зарделись, когда она, стоя рука об руку с Рэнси, слушала слова, вновь скрепляющие их союз.

Рэнси помог ей взобраться в двуколку и сел рядом. Маленький рыжий бычок снова описал полукруг, и они — все так же рука с рукой — покатали к себе в горы.

Мировой судья Бинаджа Уиддеп уселся на крыльце и стащил с ног башмаки. Пощупал еще раз засунутую в жилетный карман пятидолларовую бумажку. Закурил свою бузиновую трубку. Рябая чванливая курица проковыляла по «главному проспекту» поселка, бессмысленно клохча.

Дороги, которые мы выбираем

Перевод Т. Озерской

В двадцати милях к западу от Таксона «Вечерний экспресс» остановился у водокачки набрать воды. Кроме воды, паровоз этого знаменитого экспресса захватил и еще кое-что, не столь для него ролезное.

В то время как кочегар отцеплял шланг, Боб Тидбол, «Акула» Додсон и индеец-метис из племени криков, по прозвищу Джон Большая Собака, влезли на паровоз и показали машинисту три круглых отверстия своих карманных артиллерийских орудий. Это произвело на машиниста такое сильное впечатление, что он мгновенно вскинул обе руки вверх, как это делают при восклицании: «Да что вы! Быть не может!» По короткой команде Акулы Додсона, который был начальником атакующего отряда, машинист сошел на рельсы и отцепил паровоз и тендер. После этого Джон Большая Собака, забравшись на кучу угля, шутки ради направил на машиниста и кочегара два револьвера и предложил им отвести паровоз на пятьдесят ярдов от состава и ожидать дальнейших распоряжений.

Акула Додсон и Боб Тидбол не стали пропускать сквозь грохот такую бедную золотом породу, как пассажиры, а направились напрямик к богатым россыпям почтового вагона. Проводника они застали врасплох — он был в полной уверенности, что «Вечерний экспресс» не набирает ничего вреднее и опаснее чистой воды. Пока Боб Тидбол выбивал это пагубное заблуждение из его головы ручкой шестизарядного кольта, Акула Додсон, не теряя времени, закладывал динамитный патрон под сейф почтового вагона.

Сейф взорвался, дав тридцать тысяч долларов чистой прибыли золотом и кредитками. Пассажиры то там, то здесь высовывались из окон поглядеть, где это гремит гром. Старший кондуктор дернул за веревку от звонка, но она, безжизненно повиснув, не оказала никакого сопротивления. Акула Додсон и Боб Тидбол, побросав добычу в крепкий брезентовый мешок, прыгнули наземь и, спотыкаясь на высоких каблуках, побежали к паровозу.

Машинист, угрюмо, но благоразумно повинувшись их команде, погнал паровоз прочь от неподвижного состава. Но еще до этого проводник почтового вагона, очнувшись от гипноза, выскочил на насыпь с винчестером в руках и принял активное участие в игре. Джон Большая Собака, сидевший на тендере с углем, сделал неверный ход, подставив себя под выстрел, и проводник прихлопнул его козырным тузом. Рыцарь большой дороги скатился наземь с пулей между лопаток, и таким образом доля добычи каждого из его партнеров увеличилась на одну шестую.

В двух милях от водокачки машинисту было приказано остановиться. Бандиты вызывающе помахали ему на прощанье ручкой и, скатившись вниз по крутому откосу, исчезли в густых зарослях, окаймлявших путь. Через пять минут, с треском проломившись сквозь кусты чаппаралья, они очутились на поляне, где к нижним ветвям деревьев были привязаны три лошади. Одна из них дожидалась Джона Большой Собака, которому уже не суждено было ездить на ней ни днем, ни ночью. Сняв с этой лошади седло и уздечку, бандиты отпустили ее на волю. На остальных двух они сели сами, взвалив мешок на луку седла, и поскакали быстро, но озираясь по сторонам, сначала через лес, затем по дикому, пустынному ущелью. Здесь лошадь Боба Тидбола поскользнулась на мшистом валуне и сломала переднюю ногу. Бандиты тут же пристрелили ее и уселись держать совет. Прodelав такой длинный и извилистый путь, они пока были в безопасности — время еще терпело. Много миль и часов отделяло их от самой быстрой погони. Лошадь Акулы Додсона, волоча уздечку по земле и поводя боками, благодарно щипала траву на берегу ручья. Боб Тидбол развязал мешок и, смеясь, как ребенок,

выгреб из него аккуратно заклеенные пачки новеньких кредиток и единственный мешочек с золотом.

— Послушай-ка, старый разбойник, — весело обратился он к Додсону, — а ведь ты оказался прав, дело-то выгорело. Ну и голова у тебя, прямо министр финансов. Кому угодно в Аризоне можешь дать сто очков вперед.

— Как же нам быть с лошадьё, Боб? Засиживаться здесь нельзя. Они еще до рассвета пустятся за нами в погоню.

— Ну, твой Боливар выдержит пока что и двоих, — ответил жизнерадостный Боб. — Заберем первую же лошадь, какая нам подвернется. Черт возьми, хорош улов, а? Тут тридцать тысяч, если верить тому, что на бумажках напечатано, — по пятнадцати тысяч на брата.

— Я думал будет больше, — сказал Акула Додсон, слегка подталкивая пачки с деньгами носком сапога. И он окинул задумчивым взглядом мокрые бока своего заморенного коня.

— Старик Боливар почти выдохся, — сказал он с расстановкой. — Жалко, что твоя гнедая сломала ногу.

— Еще бы не жалко, — простодушно ответил Боб, — да ведь с этим ничего не поделаешь. Боливар у тебя двужильный — он нас доведет, куда надо, а там мы сменим лошадей. А ведь, прах побери, смешно, что ты с Востока, чужак здесь, а мы на Западе, у себя дома, и все-таки в подметки тебе не годимся. Из какого ты штата?

— Из штата Нью-Йорк, — ответил Акула Додсон, садясь на валун и пожевывая веточку. — Я родился на ферме в округе Олстер. Семнадцати лет я убежал из дому. И на Запад-то я попал случайно. Шел я по дороге с узелком в руках, хотел попасть в Нью-Йорк. Думал, попаду туда и начну деньги загребать. Мне всегда казалось, что я для этого и родился. Дошел я до перекрестка и не знаю, куда мне идти. С полчаса я раздумывал, как мне быть, потом повернул налево. К вечеру я нагнал циркачей-ковбоев и с ними двинулся на Запад. Я часто думаю, что было бы со мной, если бы я выбрал другую дорогу.

— По-моему, было бы то жк самое, — философски ответил Боб Тидбол. — Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу.

Акула Додсон встал и прислонился к дереву.

— Очень мне жалко, что твоя гнедая сломала ногу, Боб, — повторил он с чувством.

— И мне тоже, — согласился Боб, — хорошая была лошадка. Ну, да Боливар нас вывезет. Пожалуй, нам пора и двигаться, Акула. Сейчас я все это уложу обратно, и в путь; рыба ищет где глубже, а человек где лучше.

Боб Тидбол уложил добычу в мешок и крепко завязал его веревкой. Подняв глаза, он увидел дуло сорокапяткакалиберного кольта, из которого целился в него бестрепетной рукой Акула Додсон.

— Брось ты эти шуточки, — ухмыляясь, сказал Боб. — Пора двигаться.

— Сиди, как сидишь! — сказал Акула. — Ты отсюда не двинешься Боб. Мне очень неприятно это говорить, но место есть только для одного. Боливар выдохся, и двоих ему не снести.

— Мы с тобой были товарищами целых три года, Акула Додсон, — спокойно ответил Боб. — Не один раз мы вместе с тобой рисковали жизнью. Я всегда был с тобой честен, думал, что ты человек. Слышал я о тебе кое-что неладное, будто бы ты убил двоих ни за что ни про что, да не поверил. Если ты пошутил, Акула, убери кольт и бежим скорее. А если хочешь стрелять — стреляй, черная душа, стреляй, тарантул!

Лицо Акулы Додсона выразило глубокую печаль.

— Ты не поверишь, Боб, — вздохнул он, — как мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу.

И его лицо мгновенно изменилось — теперь оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность. Душа этого человека проглянула на минуту, как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома.

В самом деле, Бобу не суждено было двинуться с места. Раздался выстрел вероломного друга, и негодующим эхим ответили ему у каменные стены ущелья. А невольный сообщник злодея — Боливар — быстро унес прочь последнего из шайки, ограбившей «Вечерний экспресс», — коню не пришлось нести двойной груз.

Но когда Акула Додсон скакал по лесу, деревья перед ним словно застлало туманом, револьвер в правой руке стал изогнутой ручкой дубового кресла, обивка седла была какая-то странная, и, открыв глаза, он увидел, что ноги его упираются не в стремена, а в письменный стол мореного дуба.

Так вот я и говорю, что Додсон, глава маклерской конторы Додсон и Деккер, Уолл-стрит, открыл глаза. Рядом с креслом стоял доверенный клерк Пибоди, не решаясь заговорить. Под окном глухо грохотали колеса, усыпительно жужжал электрический вентилятор.

— Кхм! Пибоди, — моргая, сказал Додсон. — Я, кажется, уснул. Видел любопытнейший сон. В чем дело, Пибоди?

— Мистер Уильямс от «Треси и Уильямс» ждет вас, сэр. Он пришел рассчитаться за Икс, Игрек, Зет. Он попался с ними, сэр, если припомните.

— Да, помню. А какая на них расценка сегодня?

— Один восемьдесят пять, сэр.

— Ну вот и рассчитайтесь с ним по этой цене.

— Простите, сэр, — сказал Пибоди, волнуясь, — я говорил с Уильямсом. Он ваш старый друг, мистер Додсон, а ведь вы скупили все Икс, Игрек, Зет. Мне кажется, вы могли бы, то есть... Может быть, вы не помните, что он продал их вам по девяносто восемь. Если он будет рассчитываться по теперешней цене, он должен будет лишиться всего капитала и продать свой дом.

Лицо Додсона мгновенно изменилось — теперь оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность. Душа этого человека проглянула на минуту, как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома.

— Пусть платит один восемьдесят пять, — сказал Додсон. — Боливару не снести двоих.

Сделка

Непристойнее всего в адвокатской конторе Янси Гори был сам Гори, развалившийся в своем скрипучем старом кресле. Маленькая убогая контора, выстроенная из красного кирпича, выходила прямо на улицу, главную улицу города Бэтела.

Бэтел приютился у подножия Синего хребта. Над городом горы громоздились до самого неба. Далеко внизу мутная желтая Катоба поблескивала на дне унылой долины.

Был самый душный час июньского дня. Бэтел дремал в тени, не дающей прохлады. Торговля замерла. Было так тихо, что Гори, полулежа в кресле, отчетливо слышал стук фишек в зале суда, где «шайка судейских» играла в покер. От настезь открытой задней двери конторы утопанная тропинка извивалась по травке к зданию суда. Прогулки по этой тропинке стоили Гори всего, что у него было за душой, — сначала наследства в несколько тысяч долларов, потом старинной родовой усадьбы и, наконец, последних остатков самоуважения и человеческого достоинства. Судейские обобрали его до нитки. Незадачливый игрок стал пьяницей и паразитом; он дожил до того дня, когда люди, ограбившие его, отказали ему в месте за карточным столом. Его «слово» больше не принималось. Ежедневная партия в покер составлялась без него; ему же предоставили жалкую роль зрителя. Шериф, секретарь округа, разбитной помощник шерифа, веселый прокурор и человек с бескровным лицом, явившийся «из долины», сидели вокруг стола, а остриженной овце давался молчаливый совет — постараться снова обрасти шерстью.

Этот остракизм скоро наскучил Гори, и он отправился восвояси, нетвердо ступая по злосчастной тропинке и что-то бормоча себе под нос. Глотнув маисовой водки из полуштофа, стоявшего под столом, он бросился в кресло и в какой-то пьяной апатии стал глядеть на горы, тонувшие в летнем тумане. Маленькое белое пятно вдали, на склоне Черного Джека, была Лорел, деревня, близ которой он родился и вырос. Здесь также родилась кровная вражда между Гори и Колтренами. Теперь не осталось в живых ни одного прямого потомка рода Гори, кроме этой ощипанной и опаленной птицы печали. В роде Колтренов тоже остался всего один представитель мужского пола: полковник Эбнер Колтрен, человек с весом и положением, член законодательного собрания штата, сверстник отца Гори. Вендетта была обычного в этой местности типа; она оставила за собой кровавый след ненависти, обид и убийств.

Но Янси Гори думал не о вендеттах. Его отуманенный мозг безнадежно бился над проблемой — как существовать дальше, не отказываясь от привычных пороков. Последнее время старые друзья его семьи заботились о том, чтобы у него было что есть и где спать, но покупать ему виски они не желали, а ему необходимо было виски. Его адвокатская практика заглохла; уже два года ему не поручали ни одного дела. Он погряз в долгах, стал нахлебником, и если не упал еще ниже, то только потому, что не подвернулся удобный случай. Сыграть бы еще один раз, говорил он себе, один только раз — и он наверняка отыграется; но ему нечего было продать, а кредит его давно истощился.

Он не мог не улыбнуться даже сейчас при воспоминании о человеке, которому он полгода назад продал старую усадьбу семьи Гори. «Оттуда», с гор, прибыли два необычайно странных существа — некто Пайк Гарви и его супруга. Словом «там», сопровождаемым жестом руки по направлению к лесистым вершинам, горцы привыкли обозначать самые недоступные дебри, неисследованные ущелья, места, где укрываются бродяги, где волчьи норы и медвежьи берлоги. Странная пара, посетившая Янси Гори, прожила двадцать лет в самой глухой части этого безлюдного края, в одинокой хижине, высоко на склоне Черного Джека. У них не было ни детей, ни собак, которые нарушали бы тяжелое молчание гор. Пайка Гарви мало знали в поселках, но все, кто хоть когда-либо имел с ним дело, единогласно заявляли, что он «спятил».

Его единственной официальной деятельностью была охота на белок, но ему случалось, для разнообразия, заниматься и контрабандой. Однажды сборщики налогов вытащили его из его норы; он сопротивлялся молча и яростно, как терьер, и угодил на два года в тюрьму. Когда его выпустили, он снова забился в свою нору, как рассерженный хорек.

Капризная фортуна, обойдя многих трепетных искателей, вспорхнула на вершину Черного Джека, чтобы наградить своей улыбкой Пайка и его верную подругу.

Однажды компания совершенно нелепых изыскателей в коротких брюках и очках вторглась в горы по соседству с хижинкой Гарви. Пайк снял с крюка свое охотничье ружье и выстрелил издали в пришельцев — ведь они могли оказаться сборщиками налогов. К счастью, он промахнулся, и агенты фортуны приблизились и обнаружили свою полную непричастность к закону и правосудию. Впоследствии они предложили чете Гарви целую кучу зеленых хрустящих наличных долларов за его клочок расчищенной земли в тридцать акров и в оправдание такого сумасбродства привели какую-то невероятную ерунду относительно того, что под этим участком находится пласт слюды.

Когда Гарви с женой стали обладателями такого количества долларов, что они сбивались, пересчитывая их, все неудобства существования на Черном Джеке стали для них очевидны. Пайк начал поговаривать о новых башмаках, о ящике табаку, который хорошо бы поставить в угол, о новом курке для своего ружья; он повел Мартеллу в одно место на склоне горы и объяснил ей, как здесь можно было бы установить небольшую пушку, — она несомненно, оказалась бы им по средствам, — чтобы простреливать и защищать единственную тропинку к хижине и раз навсегда отвадить сборщиков налогов и назойливых незнакомцев.

Но Адам упустил из виду свою Еву. Для него табак, пушка и новый курок были достаточно полным воплощением богатства, но в его темной хижине дремало честолюбие, парившее много выше его примитивных потребностей. В груди миссис Гарви все еще жила крупница вечно женственного, не убитая двадцатилетним пребыванием на Черном Джеке. Она так привыкла слышать днем лишь шуршанье коры, падающей с больных деревьев, а ночью завывание волков, что это как будто вытравило из нее все тщеславие. Она стала толстой, грустной, желтой и скучной. Но когда появились средства, в ней снова вспыхнуло желание воспользоваться привилегиями своего пола: сидеть за чайным столом, покупать ненужные вещи, припудрить уродливую правду жизни условностями и церемониями. Поэтому она холодно отвергла систему укреплений, предложенную Пайком, и заявила, что они теперь спустятся в мир и будут возвращаться в обществе.

На этом в конце концов они порешили, и план был приведен в исполнение. Деревушка Лорел явилась компромиссом между предпочтением, которое миссис Гарви оказывала большим городам, и тягой Пайка к первобытным пустыням. Лорел сулила кое-какой выбор светских развлечений, соответствующих честолюбивым стремлениям миссис Гарви, и не была лишена некоторых удобств для Пайка, — ее близость к горам обеспечивала ему возможность быстрого отступления, в случае если он не поладит с фешенебельным обществом.

Их переезд в Лорел совпал с лихорадочным желанием Янси Гори обратить в звонкую монету свою недвижимость, и они купили старую усадьбу Гори, отсчитав в дрожащие руки мота четыре тысячи долларов наличными.

Вот как случилось, что в то время, когда недостойный отпрыск рода Гори, опустившийся, изгнанный и отвергнутый обобравшими его друзьями, валялся в своей непристойной конторе, чужие жили в доме его предков.

Облако пыли медленно катилось по раскаленной улице и что-то двигалось внутри него. Легкий ветерок отнес пыль в сторону, и показался новый, ярко раскрашенный шарабан, который тащила ленивая серая лошадь. Приблизившись к конторе адвоката, экипаж свернул с середины улицы и остановился у канавки, прямо против двери.

На передней скамейке восседал высокий, тощий мужчина в черном суконном костюме; его руки были втиснуты в желтые кожаные перчатки. На задней скамейке сидела женщина, торжествовавшая над июньской жарой. Ее полная фигура была закована в облегающее шелковое платье цвета «шанжан», то есть всех цветов радуги. Она видела прямо, обмахиваясь разукрашенным веером и устремив неподвижный взгляд на конец улицы. Как ни согрето было сердце Мартеллы Гарви радостями новой жизни. Черный Джек наложил, на ее внешность свою неизгладимую печать. Он придал ее чертам пустое, бессмысленное выражение, наделил ее резкостью своих утесов и замкнутостью своих молчаливых ущелий. Что бы ее ни окружало, она, казалось, всегда слышала шуршанье коры, падающей с больных деревьев. Она всегда слышала страшное молчание Черного Джека, звенящее среди самой беззвучной ночи.

Гори апатично наблюдал; как пышный экипаж подъехал и остановился у его двери; но когда сухопарый возница замотал вожжи вокруг кнута, неуклюже слез и вошел в контору, он поднялся, шатаясь, ему навстречу: он узнал Пайка Гарви, нового, преображенного, только что причастившегося цивилизации.

Горец сел на стул, предложенный ему адвокатом. Те, кто подвергал сомнению здравый ум и твердую память Гарви, могли привести в доказательство его внешность. Лицо у него было слишком длинное, тускло-шафранного цвета и неподвижное, как у статуи. Бледно-голубые, немигающие круглые глаза без ресниц еще подчеркивали странность этого жуткого лица. Гори тщетно пытался найти объяснение его визиту.

— Все в порядке в Лореле, мистер Гарви? — спросил он.

— Все в порядке, сэр, и мы с миссис Гарви чрезвычайно довольны именем. Миссис Гарви нравится ваша усадьба, и соседи ей нравятся. Она говорила, что нуждается в обществе, а здесь его достаточно. Роджерсы, Хэпгуды, Прэтты и Тройсы — все сделали визиты миссис Гарви, и она почти у всех у них обедала. Ее в лучшие дома приглашают. Не могу сказать, мистер Гори, чтобы такие вещи были мне по душе... мне подавайте вот это, — огромная рука Пайка Гарви в желтой перчатке указала по направлению к горам. — Мое место там, среди диких пчел и медведей. Но я не для того приехал, чтоб болтать об этом. Мы с миссис Гарви хотим купить у вас одну вещь.

— Купить? — повторил Гори. — У меня? — Он горько засмеялся. — Полагаю, что это ошибка. Да, конечно, ошибка. Я продал вам, как вы сами выразились, все до последнего гвоздя. Шляпки от гвоздя и той не найдется для продажи.

— У вас есть что продать, и нам это нужно. «Возьми деньги, — так сказала миссис Гарви, — и купи, честно и благородно».

Гори покачал головой.

— Ничего у меня нет, — сказал он.

— Вы не думайте, у нас куча денег, — продолжал горец, не уклоняясь от своей темы, — целая куча. Были мы бедны, как крысы, верно, а теперь могли бы приглашать каждый день гостей к обеду. Нас признало лучшее общество — это миссис Гарви так говорит. Но нам нужна еще одна вещь. Миссис Гарви говорит, что это следовало бы включить в купчую крепость, когда мы покупали у вас имение. Но там этого нет. «Ну так возьми деньги, говорит, и купи, честно и благородно».

— Валяйте скорей, — сказал Гори; его расшатанные нервы не выдерживали ожидания.

Гарви бросил на стол свою широкополую шляпу и наклонился вперед, глядя в глаза Гори немигающими глазами.

— Есть старая распря, — сказал он отчетливо и медленно, — между вами и Колтренами.

Гори угрожающе нахмурился: говорить о вендетте с заинтересованным лицом считается серьезным нарушением этикета родовой мести. Человек «оттуда» знал это так же хорошо, как и адвокат.

— Не в обиду вам будь сказано... — продолжал он, — я с деловой точки зрения. Миссис Гарви изучила все про эти самые распри. Почти у всех родовитых людей в горах есть кровники. Сеттли и Гофорты, Рэнкинсы и Бойды, Сайлеры и Гэллоуэи поддерживали родовую месть от двадцати до ста лет. Последний раз угробили человека, когда ваш дядя, судья Пэйсли Гори, объявил, что заседание суда откладывается, и застрелил Лена Колтрена с судейского кресла. Мы с миссис Гарви вышли из низов. Никто не затеет с нами распри, все равно как с древесными лягушками. Миссис Гарви говорит, что у всех родовитых людей есть распри. Мы-то не родовитые, но деньги есть, вот и обзаводимся чем можем. «Так возьми деньги, — сказала миссис Гарви, — и купи распрю мистера Гори, честно и благородно».

Охотник на белок вытянул одну ногу почти до середины комнаты, вытащил из кармана пачку банкнот и бросил ее на стол.

— Здесь двести долларов, мистер Гори. Согласитесь, что за такую запущенную распрю цена хорошая. С вашей стороны только вы и остались, а убивать вы, наверно, не мастер. Вот вы и развяжетесь с этим делом, а мы с миссис Гарви войдем в родовитое общество. Берите деньги.

Свернутые бумажки медленно развернулись, корчась и подпрыгивая на столе. В молчании, наступившем за последними словами Гарви, ясно слышался стук игральные фишек в здании суда. Гори знал, что шериф только что выиграл хороший куш, — через двор на волнах знойного воздуха донеслось сдержанное гиканье, которым он всегда приветствовал победу. Капли пота выступили у Гори на лбу. Он нагнулся, вытащил из-под стола полуштоф в плетенке и наполнил из него стаканчик.

— Выпейте, мистер Гарви! Вы, конечно, изволили пошутить... по поводу того, что сейчас сказали? Вводится новый вид торговых операций. Вендетты первого сорта — от двухсот пятидесяти до трехсот долларов. Вендетты, слегка подпорченные, — двести... кажется, вы сказали двести, мистер Гарви?

Гори деланно рассмеялся. Горец взял предложенный стакан и осушил его, не моргнув неподвижными глазами. Адвокат оценил этот подвиг завистливым и восхищенным взглядом, он налил и себе и начал пить, как истый пьяница, медленными глотками, вздрагивая от запаха и вкуса водки.

— Двести, — повторил Гарви, — вот деньги. Внезапная ярость вспыхнула у Гори в мозгу. Он стукнул по столу кулаком. Одна из кредиток подскочила и коснулась его руки. Он вздрогнул, как будто что-то ужалило его.

— Вы серьезно пришли ко мне, — закричал он, — с таким нелепым, оскорбительным, сумасбродным предложением?

— Я хотел честно и благородно, — сказал охотник на белок; он протянул руку, словно для того, чтобы взять деньги обратно, и тогда Гори понял, что его вспышка гнева объяснялась не гордостью и обидой, но раздражением против самого себя, так как он чувствовал себя способным опуститься еще ниже, в яму, которая перед ним открылась. В мгновение он превратился из оскорбленного джентльмена в торгаша, расхваливающего свой товар.

— Не торопитесь, Гарви, — сказал Гори; он побагровел, и язык у него заплетался. — Я принимаю ваше пре... пре... предложение, хотя двести долларов — безобразно низкая цена. С... сделка есть сделка, если продавец и покупатель оба удо... удовлетворены... Завернуть вам покупку, мистер Гарви?

Гарви встал и отряхнулся.

— Миссис Гарви будет довольна. Вы вышли из этого дела, и теперь оно будет считаться Колтрэн против Гарви. Пожалуйста расписочку, мистер Гори, недаром вы адвокат, — чтобы закрепить сделку.

Гори схватил лист бумаги и перо. Деньги он крепко зажал во влажной руке. Все остальное вдруг стало пустячным и легким.

— Запродажную запись. Непременно. «Право на владение и проценты...» Только придется пропустить «защищаемое законами штата», — сказал Гори с громким смехом. — Вам придется самому защищать это право.

Горец взял необычайную расписку, сложил ее с величайшими предосторожностями и аккуратно спрятал в карман.

Гори стоял у окна.

— Подойдите сюда, — сказал он, поднимая палец. — Я покажу вам вашего только что купленного кровного врага. Вон он идет, по той стороне улицы.

Горец согнул свою длинную фигуру, чтобы посмотреть в окно туда, куда указывал адвокат. Полковник Эбнер Колтрен, прямой, осанистый джентльмен лет пятидесяти, в цилиндре и неизбежном двубортном сюртуке члена южного законодательного собрания, проходил по противоположному тротуару. Пока Гарви смотрел, Гори взглянул ему в лицо. Если существуют на свете желтые волки, то здесь находился один из них. Гарви зарычал, следя нечеловечьими глазами за проходящей фигурой, и оскалил длинные, янтарного цвета клыки.

— Это он... Да ведь это — человек, который упрятал меня когда-то в тюрьму.

— Он был прокурором, — сказал небрежно Гори, — и, между прочим, он первоклассный стрелок.

— Я могу прострелить белке глаз на расстоянии ста ярдов, — сказал Гарви. — Так это Колтрен? Я сделал лучшую покупку, чем ожидал. Я позабочусь об этой распре получше вашего, мистер Гори.

Он направился к дверям, но остановился на пороге в легком замешательстве.

— Еще что-нибудь угодно? — спросил Гори с сарказмом безнадежности. — Семейные традиции? Духи предков? Позорные тайны? Пожалуйста! Цены самые доступные.

— Есть еще одна вещь, — невозмутимо протянул охотник на белок, — миссис Гарви тоже говорила. Это не совсем по моей части, но она особенно хотела, чтобы я спросил вас и, если вы согласны, купил бы, честно и благородно. Есть там ваше семейное кладбище, как вам известно, мистер Гори, за вашей старой усадьбой, под кедрами. Там похоронены ваши предки, те, что убиты Колтренами. На памятниках их имена. Миссис Гарви говорит, что у всех родовитых людей есть семейные кладбища. Она говорит, что, если мы купим распрю, к ней надо добавить и кладбище. На памятниках везде «Гори», но это можно вытравить и заменить нашей...

— Вон! вон! — закричал Гори вспыхнув. Он протянул к горцу обе руки со скрюченными, дрожащими пальцами. — Убирайтесь, негодяй. Даже ки... китаец защищает мо... могилы своих предков. Вон!

Охотник на белок побрел к своему шарабану. Пока он влезал в него, Гори с лихорадочной быстротой подбирал деньги, выпавшие у него из рук. Не успел экипаж завернуть за угол, как овца, вновь обросшая шерстью, понеслась с неприличной поспешностью по тропинке к зданию суда.

В три часа ночи судейские приволокли его обратно в контору, остриженного и в бессознательном состоянии. Шериф, разбитной помощник шерифа, секретарь и веселый прокурор несли его, а бледнолицый субъект «из долины» замыкал шествие.

— На стол, — сказал один из них, и они положили его на стол среди груды его бесполезных книг и бумаг.

— У Янси прямо пристрастие к двойкам, когда он наклюкается, — задумчиво вздохнул шериф.

— Это уж чересчур, — сказал веселый прокурор. — Человеку, который напивается, нечего играть в покер. Интересно, сколько он просадил сегодня.

— Около двухсот. Удивляюсь, где он их взял. У него уже больше месяца не было ни цента.

— Может быть, клиента подцепил. Ну, ладно, пойдемте по домам, пока не рассвело. Он отойдет, когда проспится, только в голове будет гудеть, как в улье.

«Шайка» растаяла в утренних сумерках. Следующим глазом, посмотревшим на несчастного Гори, было око утра. Оно заглянуло в незавешенное окно и сначала залило спящего потоком бледного золота, а потом окатило его горящее лицо обжигающим белым летним зноем. Гори, не просыпаясь, зашевелился среди хлама на столе и отвернулся от окна.

При этом он задел тяжелый Свод законов, и книга с грохотом упала на пол. Гори открыл глаза и увидел, что над ним склонился человек в длинном черном сюртуке. Слегка закинув голову, он обнаружил старый цилиндр, а под ним доброе, гладко выбритое лицо полковника Эбнера Колтрена.

Не уверенный в радушном приеме, полковник ждал, когда Гори его узнает. Вот уже двадцать лет, как представители мужской части этих двух семейств не встречались в мирной обстановке. Веки у Гори дрогнули, и он, напрягая помутившееся зрение, взглянул на гостя и безмятежно улыбнулся.

— А вы привели Стеллу и Люси поиграть со мной? — спросил он спокойно.

— Вы узнаете меня, Янси? — спросил Колтрен.

— Конечно. Вы подарили мне кнутик со свистком. Так оно и было, — двадцать четыре года тому назад, когда отец Янси был его лучшим другом.

Глаза Гори забежали по комнате. Полковник понял.

— Лежите спокойно, я вам сейчас принесу, — сказал он.

Во дворе был колодец, и Гори, закрыв глаза, с восторгом прислушивался к звяканью его рычага и плеску воды. Колтрен принес кувшин холодной воды и подал его Гори. Гори вскочил — вид у него был жалкий, летний полотняный костюм запахался и смялся, взлохмаченная голова тряслась. Он попытался помахать рукой полковнику.

— Извините... все это, пожалуйста, — сказал он. — Я, должно быть, вчера вечером выпил слишком много виски и улегся спать на столе.

Его брови сдвинулись в недоумении.

— Покутили с приятелями? — добродушно спросил полковник.

— Нет, я нигде не был. У меня уже два месяца как нет ни доллара. Просто выпил лишнего, как всегда.

Полковник Колтрен дотронулся до его плеча.

— Несколько минут назад, Янси, — начал он, — вы спросили меня, привел ли я к вам поиграть Люси и Стеллу. Вы тогда еще не совсем проснулись, и вам, верно, снилось, что вы опять маленький мальчик. Теперь вы проснулись, и я прошу вас выслушать меня. Я пришел от Стеллы и Люси к их старому товарищу и к сыну моего старого друга. Они знают, что я хочу привезти вас с собой, и они будут так же рады вам, как в старые времена. Я хочу, чтобы вы пожили у нас, пока не придете в себя — и еще дольше... сколько захотите. Мы слышали, что вам в жизни не повезло, что вы окружены соблазнами, и мы все решили опять пригласить вас к нам поиграть. Поедете, мой мальчик? Хотите забыть все семейные ссоры и, поехать со мной?

— Ссоры? — сказал Гори, широко раскрыв глаза. — Между нами не было никаких ссор, насколько я знаю. Мы всегда были лучшими друзьями. Но, боже мой, полковник, как я могу явиться к вам в дом таким, каким я стал? Жалкий пьяница, несчастный, опозоренный, мот, игрок...

Он слез со стола, забрался в кресло и заплакал пьяными слезами, мешая их с искренними каплями раскаяния и стыда. Колтрен говорил с ним настойчиво и серьезно: он напомнил простые удовольствия жизни в горах, которые Гори когда-то так любил, и подчеркивал искренность своего приглашения.

В конце концов он убедил Гори, сказав ему, что рассчитывает на его помощь для руководства переброской поваленного леса с высокого склона горы к сплаву. Он помнил, что Гори когда-то изобрел для этой цели особую систему скатов и желобов и по праву гордился ею. В одну минуту бедняга, в восторге от мысли, что он может быть кому-нибудь полезен, развернул на столе лист бумаги и стал набрасывать на нем быстрые, но безнадежно кривые линии чертежа.

Блудному сыну сразу опротивела жизнь среди свиней; сердце его снова обратилось к горам. Голова его еще плохо работала, мысли и воспоминания возвращались в мозг одно за другим, как почтовые голуби над бурным морем. Но Колтрен был доволен достигнутым успехом.

Бэтел в этот день был поражен как никогда — весь город видел, как по улицам дружелюбно проехали рядом Колтрен и Гори. Они ехали верхом: пыльные улицы и глазающие горожане остались позади; всадники спустились к мосту через ручей и стали подниматься в

горы. Блудный сын почистился, умылся и причесался; вид у него стал более приличный, но он еще не твердо держался в седле и, казалось, был занят решением какой-то путаной задачи. Колтрэн не трогал его, надеясь, что душевное равновесие восстановится у него само собой от перемены обстановки.

Один раз Гори стал трести озноб, и он чуть не лишился сознания. Ему пришлось спешиться и отдохнуть на краю дороги. Полковник, предугадав такую возможность, запасся на дорогу небольшой фляжкой виски, но, когда он предложил ее Гори, тот отказался чуть ли не грубо и заявил, что никогда больше не прикоснется к спиртному. Мало-помалу он оправился и спокойно проехал одну-две мили. Затем внезапно остановил свою лошадь и сказал:

— Я проиграл вчера вечером двести долларов в покер. Где же я взял эти деньги?

— Не беспокойтесь об этом, Янси. На горном воздухе все забудется. Прежде всего мы отправимся удить рыбу к Пинакл-Фоллс. Форели там прыгают, как лягушки. Мы возьмем с собой Стеллу и Люси и устроим пикник на Орлиной скале. Вы помните, Янси, какими вкусными кажутся голодному рыболову сэндвичи с ветчиной у костра?

Очевидно, полковник не поверил этой истории о пропавших деньгах, и Гори снова впал в сосредоточенное молчание.

К концу дня они проехали десять миль из двенадцати, отделявших Бэтел от Лорели. Не доезжая полмили до Лорели находилась старая усадьба Гори; в двух милях за деревней жил Колтрэн. Дорога была теперь крутая и тяжелая, но зато многое вознаграждало путников. Заросшие лесом склоны изобиловали птицами и цветами. Живительный воздух бодрил лучше всяких лекарств. Просеки хмурились мшистой тенью, мерцали робкими ручейками, бегущими среди папоротника и лавров. По левую руку, в рамке придорожных деревьев, то и дело открывались просветы — восхитительные виды далекой равнины, утопавшей в опаловой дымке.

Колтрэн радовался, видя, что его спутник поддается очарованию гор и лесов. Теперь им оставалось объехать вокруг основания Скалы Художников, пересечь Элдербранч и подняться на холм, и Гори увидит ушедшее из его рук наследство предков. Каждый утес, мимо которого он проезжал, каждое дерево, каждый кусочек дороги были ему знакомы. Хотя он и забыл о лесах, они волновали его теперь, как мелодия старой колыбельной песни.

Они объехали скалу, спустились к Элдербранчу и остановились там, чтобы напоить лошадей и выкупать их в быстрой воде. Направо была железная ограда, которая образовала здесь угол и тянулась потом вдоль реки и дороги. Она окружала старый фруктовый сал усадьбы Гори; дом был еще закрыт гребнем крутого холма. За оградой высоко и густо росли бузина, сумах и лавровые деревья. Услышав шорох в ветвях, Гори и Колтрэн подняли глаза и увидели длинное, желтое волчье лицо, смотревшее на них поверх решетки светлыми, неподвижными глазами. Голова быстро исчезла; ветки кустов закачались, и неуклюжая фигура побежала, виляя между деревьями, через сад вверх, к дому.

— Это Гарви, — сказал Колтрэн, — человек, которому вы продали усадьбу. Он, несомненно, помешанный. Я несколько лет назад засадил его за незаконную торговлю спиртным, хотя и считал его невменяемым... Что с вами, Янси?

Гори вытирал себе лоб, и лицо его помертвело.

— Я тоже вам кажусь странным? — спросил он, пытаюсь улыбнуться! — Я, только что припомнил еще кое-что. — Алкоголь почти испарился у него из головы. — Теперь я вспомнил, где достал эти двести долларов.

— Бросьте думать об этом, — весело сказал полковник. — Мы потом вместе подсчитаем ваши капиталы.

Они отъехали от ручья, но когда добрались до подножия холма, Гори снова остановился.

— Вы когда-нибудь подозревали, полковник, что я в сущности очень тщеславный человек? — спросил он. — До глупости тщеславный во всем, что относится к моей внешности.

Полковник нарочно отвел глаза от грязного обвисшего полотняного костюма и потертой шляпы Гори.

— Мне кажется, — ответил он, недоумевая, но стараясь говорить ему в тон, — что я действительно помню одного молодого человека, лет двадцати, в самом модном костюме, с самыми приглаженными волосами и на самой шикарной верховой лошади в округе.

— Совершенно верно, — подхватил Гори, — и это сохранилось у меня до сих пор, хотя оно и незаметно. О, я тщеславен, как индюк, и горд, как Люцифер Я хочу попросить вас снизойти к этой моей слабости... не отказать мне в одном пустяке.

— Говорите без стеснения, Янси. Если хотите, мы объявим вас герцогом Лорели и бароном Синего хребта; и мы вырвем перо из хвоста у павлина Стеллы, чтобы украсить вашу шляпу.

— Я говорю серьезно. Через несколько минут мы проедем мимо дома на холме, где я родился и где мои предки жили почти сто лет. Теперь в нем живут чужие и посмотрите на меня Я должен показаться им в лохмотьях, удрученный бедностью, бродяга, нищий. Полковник Колтрен, я стыжусь этого. Прошу вас, позвольте мне надеть ваш сюртук и шляпу и ехать в них, пока мы не минуем усадьбы. Я знаю, вы считаете это глупым тщеславием, но я хочу выглядеть прилично, когда буду проезжать мимо родового гнезда.

«Что бы это могло значить?» — сказал себе Колтрен, сопоставляя нормальный вид и спокойное поведение своего спутника с этой странной просьбой. Но он уже расстегивал сюртук, не желая показать, что видит во всем этом что-либо необычное.

Сюртук и шляпа пришлись Гори впору. Он застегнулся с довольным и гордым видом. Он был почти одного роста с Колтреном, высокий, статный, и держался прямо. Двадцать пять лет разницы было между ними, но до виду их можно было принять за братьев. Гори выглядел старше своих лет; на его отеком лице видны были ранние морщины; у полковника лицо было гладкое, свежее — признак умеренной жизни. Он надел непристойный полотняный пиджак Гори и его потертую широкополую шляпу.

— Ну вот, — сказал Гори и взялся за поводья. — Теперь все в порядке. Я попрошу вас, полковник, держаться шагов на десять позади меня, когда мы будем проезжать мимо дома, чтобы они могли хорошенько рассмотреть меня. Пусть видят, что я еще не вышел в тираж, далеко нет Я уверен, что на этот раз я во всяком случае покажу им себя с хорошей стороны. Ну, едем.

Он стал подниматься в гору быстрой рысью; полковник, потакая его просьбе, ехал сзади.

Гори сидел в седле выпрямившись, с высоко поднятой головой, но глаза его смотрели вправо, внимательно исследуя каждый куст и потаенный уголок на дворе старой усадьбы; он даже раз пробормотал про себя:

«Неужели этот сумасшедший болван попытается... Или мне все это наполовину приснилось?»

Только поровнявшись с маленьким семейным кладбищем, он увидел, что искал: струйку белого дыма, вылетевшую из густой кедровой чащи в углу сада. Он так медленно повалился налево, что Колтрен успел подъехать и подхватить его одной рукой.

Охотник на белок не зря назвал себя метким стрелком. Он, как и предвидел Гори, всадил пулю туда, куда хотел, — в грудь длинного черного сюртука полковника Эбнера Колтрена. Гори навалился всей своей тяжестью на полковника, но не упал. Лошади шли в ногу, рядом, и рука полковника крепко поддерживала Гори. Белые домики Лорели светились сквозь деревья на расстоянии полумили. Гори с трудом протянул руку и шарил ею по воздуху, пока она не остановилась на пальцах Колтрена, державших поводья его лошади.

— Добрый друг, — сказал он, и это было все.

Так Янси Гори, проезжая мимо своего старого дома, показал себя с самой лучшей стороны, насколько это было в его силах при данных обстоятельствах.

Громила и Томми[18]

Перевод под ред. М. Лорие

В десять часов вечера горничная Фелисия ушла с черного хода вместе с полисменом покупать малиновое мороженое на углу. Она терпеть не могла полисмена и очень возражала против такого плана. Она говорила, и не без основания, что лучше бы ей позволили уснуть над романом Сент-Джорджа Ратбона в комнате третьего этажа, но с ней не согласились. Для чего-нибудь существует на свете малина и полицейские.

Громила попал в дом без особого труда: в рассказе на две тысячи слов требуется побольше действия и поменьше описаний. В столовой он приподнял щиток потайного фонаря и, достав коловорот и перку, начал сверлить замок шкафа, где лежало серебро.

Вдруг послышалось щелканье. Комнату залило электрическим светом. Темные бархатные портьеры раздвинулись, и в комнату вошел белокурый мальчик лет восьми в розовой пижаме, держа в руке бутылку с прованским маслом.

— Вы громила? — спросил он тоненьким детским голоском.

— Послушайте-ка его! — хрипло воскликнул гость. — Громила я или нет? А для чего же, по-твоему, я три дня отращивал щетину на подбородке, для чего надел кепку с наушниками? Давай живей масло, я смажу сверло, чтоб не разбудить твою мамашу, у которой заболела голова и она легла, оставив тебя на попечение Фелисии, не оправдавшей такого доверия.

— Ах ты, боже мой, — со вздохом сказал Томми. — Не думал я, что вы так отстали от времени. Это масло пойдет для салата, когда я принесу вам поесть из кладовой. А мама с папой уехали в оперу слушать де Решке. Я тут ни при чем. Это только доказывает, сколько времени рассказ провалялся в редакции. Будь автор поумней, он бы в гранках исправил фамилию на Карузо.

— Замолчи, — прошипел громила. — Попробуй только поднять тревогу, и я сверну тебе шею, как кролику.

— Как цыпленку, — поправил Томми. — Это вы ошиблись. Кроликам шею не свертывают.

— Неужели ты меня не боишься? — спросил громила.

— Сами знаете, что не боюсь, — ответил Томми. — Неужели вы думаете, что я не отличу правду от вымысла? Если б это было не в рассказе, я бы завопил, как дикий индеец, а вы скатились бы по лестнице и на тротуаре вас бы зацапала полиция.

— Вижу, ты свое дело знаешь, — сказал громила. — Валяй дальше.

Томми уселся в кресло и поджал под себя ноги.

— Почему вы грабите чужих людей, господин громила? Разве у вас нет знакомых?

— Вижу, к чему ты клонишь, — злобно нахмурившись, сказал громила. — Стара штука. Твоя младенческая невинность и беззаботность должны вернуть меня к честной жизни. Каждый раз, как залезешь в дом, где имеется младенец, получается одна и та же история.

— Может быть, вы посмотрите жадными глазами на тарелку с холодной говядиной, которую буфетчик забыл на столе? — сказал Томми. — А то времени у нас мало.

Громила согласился.

— Бедненький, — сказал Томми — Вы, должно быть, проголодались. Пойдите, пожалуйста, в нерешительной позе, а я вам принесу чего-нибудь поесть.

Мальчик принес из кладовой жареную курицу, банку с вареньем и бутылку вина. Громила недовольно взялся за нож с вилкой.

— И часу не прошло, как я ел омаров и пил пиво на Бродвее, — проворчал он. — Хоть бы эти писаки позволили человеку принять таблетку пепсина перед едой.

— Мой папа тоже пишет книжки, — заметил Томми.

Громила поспешно вскочил с места.

— А ты говорил, будто он уехал в оперу, — прошипел он хриплым голосом, подозрительно глядя на мальчика.

— Я забыл сказать, — объяснил Томми. — Билеты он получил бесплатно.

Громила снова уселся на место и стал обгладывать куриную косточку.

— Зачем вы грабите квартиры? — задумчиво спросил мальчик.

— Затем, — ответил громила, вдруг залившись слезами. — Помилуй господи моего темноволосого мальчика Бесси, который остался дома.

— Ах нет, — сказал Томми, сморщив нос. — Это вы не так говорите. Прежде чем пустить слезу, вы должны рассказать, отчего вам не повезло.

— Да, да, я и забыл, — сказал громила. — Ну вот, раньше я жил в Мильвоки...

— Берите серебро, — сказал Томми, слезая с кресла.

— Погоди, — сказал громила. — Но я уехал оттуда. Другой работы я найти не мог. Некоторое время я поддерживал жену и ребенка, сбывая ассигнации Южного правительства, но увы! пришлось бросить и это, потому что они не имели хождения. Я махнул на все рукой и с горя сделался громилой.

— А вы когда-нибудь попадались в руки полиции? — спросил Томми.

— Я сказал «громилой», а не нищим, — ответил грабитель.

— Как же мы кончим рассказ, когда вы доедите курицу и у вас, как полагается, начнется приступ раскаяния?

— Предположим, — задумчиво начал громила, — что Тани Пастор кончит сегодня раньше обыкновенного и твой отец придет с «Парсифаля» в половине одиннадцатого. Я окончательно раскаялся, потому что ты напомнил мне моего сыночка Бесси...

— Послушайте, — сказал Томми, — а вы не ошиблись?

— Нет, клянусь пастелями Б. Кори Килверта, — сказал громила. — Всегда у меня дома остается Бесси и бесхитростно болтает с бледнолицей женой громилы. Так вот я и говорю, твой отец откроет парадную дверь как раз в ту минуту, когда я буду уходить, нагруженный увещаниями и бутербродами, которые ты завернул для меня в бумажку. Узнав во мне старого товарища по Гарвардскому университету, он отшатывается...

— Не в изумлении, надеюсь? — прервал его Томми, глядя на него круглыми глазами.

— Он отшатывается назад, — продолжал громила и вдруг, поднявшись на ноги, начал выкрикивать: — Ра, ра, ра! Ура, ура, ура!

— Ну-ну, — сказал удивленно Томми. — Первый раз слышу от громилы на работе университетский клич, хотя бы и в рассказе.

— Не все тебе знать, — засмеялся громила. — Это я подпустил сценичности. Если такую штуку сыграть в театре, только этот намек на университетскую жизнь и может обеспечить ей успех.

Томми взглядом выразил свое восхищение.

— Вы в этом здорово разбираетесь, — сказал он.

— И вот еще в чем ты проврался, — заметил громила. — Тебе давно надо бы пойти и принести золотой, который мама подарила тебе в день рождения, чтобы я передал его Бесси.

— Но она не для того дарила мне золотой, чтоб вы передали его Бесси, — надувшись, отвечал Томми.

— Ну, ну! — строго сказал громила. — Нехорошо пользоваться тем, что в рассказе попала неясная по смыслу фраза. Ты понимаешь, что я хотел сказать. Что я там получу от этой литературной стряпни? Я теряю всю выручку да еще каждый раз обязан каяться; а достаются мне разные пустячки и сувениры от вас, ребят. Как же, в одном рассказе я получил в награду всего-навсего поцелуй маленькой девочки, которая застала меня врасплох, когда я вскрывал сейф. Да еще вся она была липкая от патоки. Вот возьму эту скатерть, накину тебе на голову, да и залезу в шкаф с серебром.

— Ничего подобного, — сказал Томми, обхватив колени руками. — Потому что после этого ни один журнал не примет рассказа. Вы же знаете, что вам следует соблюдать единство.

— И тебе тоже, — угрюмо возразил громила. — Вместо того чтобы сидеть здесь, болтать глупости и отнимать хлеб у бедного человека, тебе бы следовало залезть под кровать и вопить благим матом.

— Ваша правда, дружище, — согласился Томми. — Удивляюсь, к чему нас заставляют это делать. По-моему, Совет по охране детства должен был бы вмешаться. Для ребенка моих лет и неестественно и неприятно соваться под ноги взрослому громиле, когда он занят делом, и предлагать ему красные санки и коньки, лишь бы он не разбудил большую маму. А посмотрите, что они заставляют вытворять громилу! Кажется, редактор должен бы знать... э, да что толку!

Громила вытер руки о скатерть и, зевнув, поднялся с места.

— Ну, давай кончать, — сказал он. — Благослови тебя боже, мой мальчик, ты нынче не дал человеку совершить преступление. Бесси станет молиться за тебя, когда я попаду домой и распоряджусь на этот счет. Больше я не ограблю ни одной квартиры — по крайней мере до тех пор, пока не выйдут июньские журналы. Тогда придет черед твоей сестренки — она

застанет меня, когда я буду извлекать из чайника четырехпроцентные облигации С. Ш. А., и попытается подкупить меня коралловыми бусами и слюнявым поцелуем.

— Напрасно вы жалуетесь, не вам одному плохо, — вздохнул Томми, сползая с кресла. — Подумайте, ведь я никогда не высыпаюсь. Нам обоим достается, старик. Я бы хотел, чтоб вам удалось вылезти из рассказа и в самом деле ограбить кого-нибудь. Может быть, вам повезет, если мы попадем в инсценировку.

— Вряд ли, — мрачно сказал громила. — Я, должно быть, всегда буду сидеть на мели, если юные дарования вроде тебя будут пробуждать во мне стремление к добру, а журналы — платить по выходе из печати.

— Очень жаль, — сочувственно сказал Томми. — Только я тоже ничем помочь не могу. Это уж такое правило семейной беллетристики, что громиле никогда не везет. Ему мешает или младенец вроде меня, или юная героиня, или в самую последнюю минуту его сообщник, Рыжий Майк, припоминает, что служил в этом доме кучером. Во всяком рассказе вам достается самая плохая роль.

— Ну, мне, пожалуй, пора смываться, — сказал громила, подхватывая фонарь и коловорот.

— Вы должны взять с собой остаток курицы и вино для Бесси и ее мамы, — спокойно заметил Томми.

— Да провались ты, ничего им не надо! — с досадой воскликнул громилам. — У меня дома пять ящичков Шато де Бейхсвель разлива тысяча восемьсот пятьдесят третьего года. — А ваш кларет пахнет пробкой. А на курицу они и глядеть не станут, если ее не протушить в шампанском. Когда я выхожу из рассказа, мне так стесняться не приходится. Кое-что зарабатываю иной раз.

— Да, но вы все-таки возьмите, — настаивал Томми, нагружая громилу свертками.

— Спасибо, молодой хозяин, — послушно произнес громила. — Саул — гроза вторых этажей — никогда тебя не забудет. А теперь выпусти меня поживей, малец. Наши две тысячи слов подходят к концу.

Томми проводил его через холл к парадной двери. Вдруг громила остановился и тихонько окликнул мальчика:

— А это не фараон там перед домом стоит и любезничает с девушкой?

— Да, — ответил Томми, — ну и что же из этого?

— Боюсь, как бы он меня не забрал, — сказал громила. — Не забывай, что это беллетристика.

— Батюшки мои! — воскликнул Томми, поворачиваясь. — Идемте, я выпущу вас черным ходом.

Мадам Бо-Пип на ранчо

Перевод Н. Дарузес

У крошки Бо-Пип голосок охрип —

Разбежались ее овечки.

Не надо их звать: все вернутся опять,

Хвосты завернув в колечки.

«Сказка Матери-Гусыни»

— Тетя Эллен, — весело сказала Октавия, метко швырнув черными лайковыми перчатками в важного персидского кота на подоконнике. — Я — нищая.

— Ты так любишь преувеличивать, дорогая Октавия, — мягко заметила тетя Эллен, опуская газету. — Если у тебя сейчас нет мелочи на конфеты, поищи мой кошелек в ящике письменного стола.

Октавия Бопри сняла шляпу и, обняв руками колени, уселась на низенькой скамеечке рядом с креслом своей тетки. Но и в этом неудобном положении ее тонкая, гибкая фигура,

облаченная в модный траурный костюм, не потеряла своей грациозности. Октавия тщетно пыталась придать требуемую обстоятельствами серьезность своему юному, оживленному лицу и сверкающим, жизнерадостным глазам.

— Тетя, милая, дело не в конфетах. Это самая настоящая, ничем не прикрытая скучная нищета: меня ждут платья в рассрочку, чищенные бензином перчатки и, может быть, обеды в час дня. Я только что от моего поверенного, тетя, и: «Подайте, сударыня, бедной обездоленной! Цветы, мадам? Бутоньерку, сударь? Карандаши, сэр, три штуки пять центов — помогите бедной вдове!» Хорошо у меня получается, тетечка? Или я напрасно брала уроки декламации и мое ораторское искусство не поможет мне снискать хлеб насущный?

— Постарайся хоть минуту быть серьезной, дорогая, — сказала тетя Эллен, роняя газету на пол, — и объясни мне, что это значит. Состояние полковника Бопри...

— Состояние полковника Бопри, — прервала Октавия, сопровождая свои слова надлежащим драматическим жестом, — солидно, как воздушный замок. Недвижимость полковника Бопри — ветер, акции полковника Бопри — вода, прибыли полковника Бопри — выбыли. Данной речи не хватает юридических терминов, которые мне только что пришлось выслушивать в течение часа, но в переводе они означают именно это.

— Октавия! — Было заметно, что тетя Эллен обеспокоена. — Я не могу поверить. Он производил впечатление миллионера. И ведь его представили сами де Пейстеры!

Октавия рассмеялась, затем обрела надлежащую серьезность.

— De mortuis nil[19], тетя, даже и конца поговорки. Милейший полковник — какой подделкой он оказался! Свои обязательства я выполнила честно — вот я вся здесь. Статьи: глаза, пальцы, ногти, молодость, старинный род, завидные светские связи, — что и требовалось по контракту. Никаких дутых акций. — Октавия подняла с полу газету. — Но я не собираюсь «хныкать» — так, кажется, называются жалобы на судьбу, когда игра проиграна? — Она спокойно переворачивала страницы газеты. — «Курс акций» — не нужно. «Светские новости» — с этим кончено. Вот моя страница: «Спрос и предложение труда». Посмотрим «предложение». Разве Ван-Дрессеры могут «просить»? Горничные, кухарки, продавщицы, стенографистки...

— Дорогая, — голос тети Эллен дрогнул, — не говори так, прошу тебя. Даже если твои дела в столь плачевном состоянии, остаются мои три тысячи...

Октавия вскочила и запечатлела звонкий поцелуй на нежной восковой щеке чопорной старой девы.

— Тетя, душечка, ваших трех тысяч хватает только на ваш любимый китайский чай и на стерилизованные сливки для кота. Я знаю, что вы будете рады помочь мне, но я предпочту пасть с горних высот, подобно Вельзевулу, а не бродить, как Пери, у черного хода, пытаюсь услышать музыку. Я буду работать. Другого выхода нет. Я... Ах, я совсем забыла. Кое-что уцелело в катастрофе. Корраль, нет, ранчо в... ах да, в Техасе. Актив, как выразился милейший Бэннистер. Как он был доволен, что может хоть про что-то сказать «свободно от обязательств». Где-то в этих глупых бумагах, которые он заставил меня взять с собой, есть описание ранчо. Я сейчас поищу.

Октавия нашла свою сумку и извлекла из нее длинный конверт с отпечатанными на машинке документами.

— Ранчо в Техасе, — вздохнула тетя Эллен, — по-моему, больше похоже на пассив, чем на актив. Ведь там водятся сколопендры, ковбои и фанданго[20].

«Ранчо Де Лас Сомбрас, — читала Октавия ядовито-лиловые строчки, — расположено в ста десяти милях к юго-востоку от Сан-Антонио и в тридцати восьми милях от Нопалья, ближайшей железнодорожной станции. Ранчо включает семь тысяч шестьсот восемьдесят акров орошаемых земель, право собственности на которые утверждено патентом штата, и двадцать две квадратных мили, или четырнадцать тысяч восемьдесят акров, частично арендованных на условии ежегодного возобновления аренды, частично купленных на основании акта о двадцатилетней рассрочке. На ранчо восемь тысяч породистых овец-мериносов, необходимое количество лошадей, повозок и прочего оборудования; дом из кирпича, шесть комнат, удобно меблированных согласно с требованиями климата. Все обнесено крепкой изгородью из колючей проволоки.

Теперешний управляющий производит впечатление человека умелого и надежного. В его руках дело, которое сильно пострадало от небрежности и дурного управления, начинает приносить доход.

Эта собственность приобретена полковником Бопри у одного из западных оросительных синдикатов. Право на владение представляется несомненным. При правильном управлении и учитывая естественное возрастание стоимости участка, ранчо Де Лас Сомбрас может стать для своего владельца надежным источником приличного дохода».

Когда Октавия кончила, тетя Эллен издала нечто, настолько напоминавшее презрительное фырканье, насколько это допускается хорошим тоном.

— В этом описании, — заявила она с непреклонной подозрительностью столичной жительницы, — не упоминается ни о сколопендрах, ни об индейцах. И ведь ты никогда не любила баранины, Октавия. Не понимаю, какую пользу ты собираешься извлечь из этой... э... пустыни.

Но Октавия не слышала. Ее глаза смотрели в беспредельную даль, губы полураскрылись, лицо осветилось священным безумием исследователя, беспокойным стремлением искателя приключений. Вдруг она ликующе захлопала в ладоши.

— Проблема разрешается сама собой, тетечка, — вскричала она. — Я поеду на это ранчо. Я буду там жить. Я научусь любить баранину и попробую отыскать положительные стороны в характере сколопендр — на почтительном расстоянии, разумеется. Это как раз то, что мне нужно. Новая жизнь на смену старой, которая кончается сегодня. Это выход, тетя, а не тупик. Подумайте только — скачка по просторам прерий, ветер, треплющий волосы; возвращение к земле, снова сказки растущей травы и диких цветов без названия! Это будет дивно. Как, по-вашему, стать ли мне пастушкой Ватто в соломенной шляпе, с посохом, чтобы отгонять гадких волков от овец, или типичной стриженной девушкой с ранчо на Западе — помните иллюстрации в воскресных газетах? Пожалуй, я предпочту второе, и мое изображение тоже появится в газете — я верхом на лошади, а с седла свисают пумы, сраженные моей рукой. И будет подпись:

«С Пятой авеню в прерии Техаса», — а рядом напечатают фотографии старого особняка Ван-Дрессеров и церкви, где я венчалась. В редакциях нет моего портрета, но его закажут художнику. Я буду дикая, косматая и буду продавать свою шерсть.

— Октавия! — Все возражения, для которых тетя Эллен не находила слов, слились в этом возгласе.

— Ни слова, тетя. Я еду. Я увижу ночное небо, опрокинутое над землей, как крышка огромной масленки. Я опять подружусь со звездами — ведь я не болтала с ними с тех пор, как была совсем крошкой, Я хочу уехать. Мне все надоело. Я рада, что у меня нет денег. Я готова благословить полковника Бопри за это ранчо и простить все его мыльные пузыри. Пусть жизнь там будет трудной и одинокой. Я... Так мне и надо! Мое сердце было закрыто для всего, кроме жалкого тщеславия. Я... Ах, я хочу уехать отсюда и забыть — забыть!

Октавия неожиданно соскользнула на пол, спрятала разгоревшееся лицо в коленях тетки и зарыдала. Тетя Эллен склонилась над ней и погладила каштановые волосы.

— Я не знала, — сказала она мягко. — Этого я не знала. Кто это был, дорогая?

Когда миссис Октавия Бопри, урожденная Ван-Дрессер, сошла с поезда в Непале, она на мгновение утратила ту светскую уверенность, которая отличала каждое ее движение. Город возник совсем недавно и, казалось, был сооружен наспех из неотесанных бревен и хлопающего брезента. И хотя в поведении личностей, слонявшихся по станции, не было ничего вызывающего, чувствовалось, что каждый из граждан города всегда равно готов к нападению и к отпору.

Октавия стояла на платформе у входа на телеграф и пыталась угадать в этой прогуливающейся вразвалку толпе управляющего ранчо Де Лас Сомбрас, которому мистер Бэннистер поручил встретить ее на станции. Пожалуй, вот этот серьезный пожилой человек в синей фланелевой рубашке с белым галстуком. Но нет, он прошел мимо, и когда их взгляды встретились, поспешил отвести глаза, как делают южане при встрече с незнакомой дамой. Управляющий должен был бы сразу найти ее, подумала она, сердясь, что ей приходится ждать. Не так уж много в Непале молодых женщин, одетых в самые модные серые дорожные костюмы.

И вот, пока Октавия выискивала в толпе возможных управляющих, она, вздрогнув от удивления, осознала, что по платформе к поезду спешит Тэдди Уэстлейк, или по крайней мере его загорелый призрак, в шевиотовом костюме, высоких сапогах и в шляпе с кожаной лентой — Теодор Уэстлейк Младший, почти чемпион любительского поло, легкомысленный мотылек и небокоптител, но возмужавший, уверенный в себе Тэдди, более определенный и законченный, чем тот, которого она помнила со времени их последней встречи год тому назад.

Он заметил Октавию почти в тот же момент, круто повернул и с былой непосредственностью направился прямо к ней. Нечто вроде священного трепета охватило Октавию, когда она рассмотрела вблизи его странную метаморфозу. Густой красно-коричневый загар особенно подчеркивал желтые, как солома, усики и серые, как сталь, глаза. Он казался повзрослевшим и почему-то далеким. Но когда он заговорил, это был прежний мальчишка Тэдди. Они были друзьями детства.

— Тэви?! — Его недоумение отказывалось укладываться в связную речь. — Как-что-когда-откуда?

— Поездом, — ответила Октавия, — необходимость-десять минут назад-из дому. Ты испортил себе цвет лица, Тэдди. Ну: как-что-когда-откуда?

— Я работаю неподалеку, — сказал Тэдди, искоса оглядывая платформу, как человек, пытающийся соединить вежливость и долг. — Не заметила ли ты в поезде старую даму с седыми буклями и пуделем, занявшую два места своими свертками и скандалившую с проводником?

— Кажется, нет, — ответила Октавия размышляя. — А ты случайно не заметил высокого человека с седыми усами, одетого в синюю рубаху и кольца, у которого в волосах торчал клок овечьей шерсти?

— Да сколько угодно, — сказал Тэдди, подавляя симптомы безумия. — А тебе знаком подобный индивид?

— Нет, описание продиктовано воображением. А почему тебя интересует седовласая дама? Твоя знакомая?

— Никогда ее не видел. Портрет создан фантазией. Это владелица ранчо, где я зарабатываю себе на хлеб с маслом — ранчо Де Лас Сомбрас. Я приехал встретить ее по телеграмме поверенного.

Октавия прислонилась к стенке телеграфа. Возможно ли это? И неужели он не знает?

— Ты управляющий этого ранчо? — спросила она растерянно.

— Да, — гордо ответил Тэдди.

— Я миссис Бопри, — сказала Октавия тихо, — только мои волосы никак не завиваются и я была вежлива с проводником.

На мгновение Тэдди стал опять взрослым, чужим и бесконечно далеким.

— Надеюсь, вы извините меня, — сказал он неловко. — Видите ли, я год прожил в прерии. Я не слышал. Будьте добры, дайте мне ваши квитанции, и я погружу багаж в фургон. Его отвезет Хосе, а мы поедем вперед на двуколке.

Сидя рядом с Тэдди в легкой двуколке, запряженной белоснежной парой диких испанских лошадей, Октавия забыла о прошлом и будущем, замороженная настоящим. Городок остался позади, и они неслась по ровной дороге на юг. Потом дорога исчезла, двуколка помчалась по бескрайнему ковру кудрявой мескитной травы. Стука колес не было слышно. Неутомимые лошади шли ровным галопом. Ветер, напоенный ароматом тысяч акров синих и желтых степных цветов, упоительно свистел в ушах. Возникло пьянящее чувство полета и безграничной свободы. Октавия молчала, охваченная чисто физическим ощущением блаженства. Тэдди, казалось, решал какую-то проблему.

— Я буду называть вас мадама, — сообщил он результат своих размышлений. — Так вас будут называть мексиканцы — на ранчо работают почти одни мексиканцы. Мне кажется, так будет правильно.

— Прекрасно, мистер Уэстлейк, — чопорно сказала Октавия.

— Нет, послушайте, — сказал Тэдди в некотором замешательстве, — это уж слишком, вы не находите?

— Не приставайте ко мне с вашим противным этикетом. Я только-только начала жить. Не напоминайте мне ни о чем искусственном. Почему этот воздух нельзя разливать по бутылкам! Уже ради него одного стоило приехать. Ой, посмотрите, олень!

— Заяц, — сказал Тэдди, не повернув головы.

— Разрешите. Можно, я буду править? — спросила раскрасневшаяся Октавия, глядя на него умоляющими, как у ребенка, глазами.

— С одним условием. Разрешите... Можно, я буду курить?

— Когда угодно! — воскликнула Октавия, торжественно беря вожжи. — А куда мне править?

— Курс — юго-юго-восток, на всех парусах. Видите эту черную точку на горизонте, пониже тех облаков с Мексиканского залива? Это — дубовая роща и ориентир. Курс — посередине между рощей и холмиком слева. Сейчас я продекламирую вам правила управления лошадьми в прериях Техаса: не распускать вожжи и почаще ругаться.

— Я слишком счастлива, чтобы ругаться, Тэд. Зачем только люди покупают яхты и ездят в салон-вагонах, когда двуколка, пара одров и вот такое весеннее утро могут удовлетворить все земные желания?

— Я попрошу вас, — запротестовал Тэдди, тщето чиркая спичкой о крыло двуколки, — не называть одрами этих обитателей воздуха. Они способны отмахать сто миль за день.

Наконец, ему удалось прикурить сигару от огонька, спрятанного в ладонях.

— Простор! — убежденно заявила Октавия. — Вот откуда это чувство. Теперь я знаю, чего мне не хватало, — простора, пространства, места!

— Для курения, — прозаически заметил Тэдди. — Я люблю курить в двуколке. Ветер дувает и выдувает дым из легких, и экономится энергия на затяжку.

Они так естественно перешли на старый товарищеский тон, что только постепенно начинали осознавать всю странность своего нового положения.

— Мадама, — спросил удивленно Тэдди, — почему вам пришло в голову покинуть общество и явиться сюда? Или среди высших классов теперь модно проводить сезон на овечьем ранчо вместо Ньюпорта?

— Я разорилась, Тэдди, — беззаботно объяснила Октавия, интересовавшаяся в этот момент только тем, как без ущерба проскочить между грозными штыками «испанского меча» и зарослями чапарраля. — У меня, кроме этого ранчо, не осталось ничего, даже другого дома.

— Послушайте, — сказал Тэдди обеспокоенно, но недоверчиво, — вы шутите?

— Когда мой муж, — сказала Октавия, смущенно комкая последнее слово, — скончался три месяца назад, я считала, что обладаю достаточным количеством земных благ. Его поверенный вдребезги разнес эту теорию в шестидесятиминутной лекции, проиллюстрированной соответствующими документами. А вы ничего не слышали об очередной прихоти золотой молодежи Манхэттена — бросать поло и окна клубов, чтобы стать управляющими на овечьих ранчо в Техасе?

— Что касается меня, это объяснить нетрудно, — не задумываясь, ответил Тэдди. — Мне пришлось взяться за работу в Нью-Йорке для меня работы не было. Поэтому я покружился возле старика Сэндфорда — он был членом синдиката, которому принадлежало ранчо до того, как полковник Бопри его купил, — и получил тут место. Сначала я не был управляющим. Я целые дни мотался в седле, изучая дело в подробностях, пока во всем не разобрался. Я понял причины убытков и сообразил, как можно их избежать И тогда Сэндфорд вручил мне бразды правления. Я получаю сто долларов в месяц и могу сказать — не даром.

— Бедный Тэдди! — улыбнулась Октавия.

— О нет, мне нравится. Я откладываю половину моего жалования и крепюк, как втулка от бочки. Это лучше поло.

— А хватит тут на хлеб, чай и варенье другому изгою цивилизации?

— Весенняя стрижка, — сказал управляющий, — как раз покрыла прошлогодний дефицит. Прежде бессмысленные расходы и небрежность были здесь правилом. Осенняя стрижка даст небольшой положительный баланс. В следующем году будет варенье.

Когда в четыре часа дня лошади обогнули пологий холм, поросший кустарником, и обрушились двойным белоснежным вихрем на ранчо Де Лас Сомбрас. Октавия вскрикнула от восторга. Величественная дубовая роща бросала густую прохладную тень, которой ранчо было обязано своим именем Де Лас Сомбрас — ранчо Теней. Под деревьями стоял одноэтажный дом из красного кирпича. Высокий сводчатый проход, живописно украшенный цветущими кактусами и висячими терракотовыми вазами, делил его пополам. Дом окружала низкая широкая веранда, увитая зеленью, а вокруг тянулись садовый газон и живая изгородь. Позади дома поблескивал на солнце длинный узкий пруд. Дальше виднелись хижины мексиканских батраков, загоны для овец, склады шерсти, станки для стрижки. Справа простирались невысокие холмы с темными пятнами зарослей чапаррала, слева — безграничная зеленая прерия сливалась с голубыми небесами.

— Какая прелесть, Тэдди, — прошептала Октавия. — Я... Я приехала домой.

— Не так уж плохо для овечьего ранчо, — согласился Тэдди с извинительной гордостью. — Я здесь кое-что подштопал в свободное время.

Откуда-то из травы выскочил мексиканский юноша и занялся лошадьми. Хозяйка и управляющий вошли в дом.

— Это миссис Макинтайр, — сказал Тэдди, когда навстречу им на веранду вышла добродушная, аккуратная старушка. — Миссис Мак, это наша хозяйка. С дороги ей, наверное, не повредит тарелка бобов и кусок бекона.

Подобные наветы на продовольственные ресурсы ранчо вызвали у миссис Макинтайр, экономки и такой же неотъемлемой принадлежности усадьбы, как пруд или дубы, вполне понятное негодование, которое она как раз собиралась излить, когда Октавия заговорила.

— О миссис Макинтайр, не извиняйтесь за Тэдди. Да, я зову его Тэдди. Так его зовут все, кто знает, что его нельзя принимать всерьез. Мы с ним играли в бирюльки и вырезали бумажные кораблики еще в незапамятные времена. Никто не обращает внимания на его слова.

— Да, — сказал Тэдди, — никто не обращает внимания на его слова при условии, что он их больше повторять не будет.

Октавия бросила на него быстрый лукавый взгляд из-под опущенных ресниц, взгляд, который Тэдди когда-то называл ударом в челюсть. Но загорелое обветренное лицо хранило простодушное выражение, и нельзя было предположить, что Тэдди на что-то намекает. Несомненно, думала Октавия, он забыл.

— Мистер Уэстлейк любит пошутить, — заметила миссис Макинтайр, сопровождая Октавию в комнаты. — Но, — прибавила она лояльно, — здешние обитатели всегда принимают к сведению его слова, когда он говорит серьезно. Не могу представить, во что превратилось бы это место без него.

Для хозяйки ранчо были приготовлены две комнаты в восточном крыле дома. Когда она вошла, ее охватило уныние — такими пустыми и голыми они показались ей, — но она быстро сообразила, что климат здесь субтропический, и оценила продуманность мебелировки. Большие окна были распахнуты, и белые занавески бились в морском бризе, лившемся через широкие жалюзи. Прохладные циновки устлали пол, глубокие плетеные кресла манили отдохнуть, стены были оклеены веселыми светло-зелеными обоями. Целую стену гостиной закрывали книги на некрашеных сосновых полках. Октавия сразу кинулась к ним. Перед ней была хорошо подобранная библиотека. Ей бросились в глаза заголовки романов и путешествий, совсем недавно вышедших из печати.

Сообразив, что подобная роскошь как-то не вяжется с глушью, где царят баранина, сколопендры и лишения, она с интуитивной женской подозрительностью начала просматривать титульные листы книг. На каждом томе широким росчерком было написано имя Теодора Уэстлейка Младшего.

Октавия, утомленная дорогой, в этот вечер легла спать рано. Она блаженно отдыхала в белой прохладной постели, но сон долго не приходил. Она прислушивалась к незнакомым звукам, мешавшим ей своей новизной: к отрывистому тьяканию койотов, к неумолчной симфонии ветра, к далекому кваканью лягушек у пруда, к жалобе концертино в мексиканском поселке. Ее сердце теснили противоречивые чувства — благодарность и протест, успокоенность и смятение, одиночество и ощущение дружеской заботы, счастье и старая щемящая боль.

И она, как всякая другая женщина на ее месте, искала и нашла облегчение в беспричинном потоке сладких слез, а последние слова, которые она пробормотала засыпая, были: «Он забыл».

Управляющий ранчо Де Лас Сомбрас не был дилетантом. Он был «работягой». Дом еще спал, а он уже отправлялся в утренний объезд стад и лагерей. Это было, собственно говоря, обязанностью главного объездчика, старика мексиканца с внешностью и манерами владетельного князя, но Тэдди, судя по всему, предпочитал полагаться на собственные глаза. Если не было спешной работы, он обычно возвращался к восьми часам и завтракал с Октавией и миссис Макинтайр за маленьким столом, накрытым на центральной веранде. Он приносил с собой веселье, живительную свежесть и запах прерий.

Через несколько дней после приезда он заставил Октавию достать амазонку и укоротить ее, насколько это требовалось из-за колючих зарослей.

С некоторой опаской Октавия надела амазонку и кожаные гетры, также предписанные Тэдди, и на горячей лошадке отправилась с ним обозревать свои владения. Он показал ей все: стада овец и баранов, пасущихся ягнят, чаны для замачивания шерсти, станки для стрижки, отборных мериносов на особом пастбище, водоемы, приготовленные к летней засухе, — и отчитывался в своем управлении с неугасающим мальчишеским энтузиазмом.

Куда девался прежний Тэдди, которого она так хорошо знала? Эту черту мальчишества она всегда любила в нем. Но теперь, кроме этой черты, как будто ничего и не осталось. Куда исчезли его сентиментальность, его прежнее изменчивое настроение то бурной влюбленности, то изысканной рыцарской преданности, то душераздирающего отчаяния, его нелепая нежность и надменное безразличие, вечно сменявшие друг друга? Он был тонкой, почти артистической натурой. Она знала, что этому великосветскому спортсмену-щеголю свойственны более высокие стремления. Он писал стихи, он немного занимался живописью, он разбирался в искусстве, и когда-то делился с ней всеми мыслями и надеждами. Но теперь — ей пришлось это признать — Тэдди забаррикадировал от нее свой внутренний мир, и она видела только управляющего ранчо Де Лас Сомбрас и веселого товарища, который простил и забыл. Почему-то ей вспомнилось описание ранчо, составленное мистером Бэннистером: «Все обнесено крепкой изгородью из колючей проволоки».

«Тэдди тоже огорожен», — сказала себе Октавия.

Ей было нетрудно догадаться, почему он воздвиг свои укрепления. Все началось на балу у Хэммерсмитов. Незадолго до этого она решила принять полковника Бопри и его миллионы — цену совсем не высокую при ее наружности и связях в самых недоступных сферах. Тэдди сделал ей предложение со всей свойственной ему стремительностью и пылкостью, а она поглядела ему прямо в глаза и сказала неумолимо и холодно: «Прошу никогда больше не говорить мне подобной чепухи». — «Хорошо», — сказал Тэдди с новым, чужим выражением — и теперь Тэдди был обнесен крепкой изгородью из колючей проволоки.

Во время первой поездки по ранчо на Тэдди снизошло вдохновение, и он окрестил Октавию «Мадам Бо-Пип» по имени девочки из «Сказок Матери-Гусыни». Прозвище, подсказанное сходством имен и занятий, показалось ему необычайно удачным, и он называл ее так постоянно. Мексиканцы на ранчо подхватили это имя, прибавив лишний слог, так как не могли произнести конечного «п», и вполне серьезно величали Октавию «ла мадама Бо-Пиппи». Постепенно это прозвище привилось в округе, а название «ранчо Бо-Пип» употреблялось не реже, чем «ранчо Де Лас Сомбрас».

Наступил долгий период жары между маем и сентябрем, когда на ранчо работы мало. Октавия проводила дни, вкушая лотос. Книги, гамак, переписка с немногими близкими подругами, новый интерес к старой коробке акварельных красок и мольберту помогали коротать душные дневные часы. А сумерки всегда приносили радость. Лучшее всего была захватывающая скачка с Тэдди в лунном свете по овечьим ветром просторам, когда их общество составляли только парящий лунь или испуганная сова. Часто из поселка приходили мексиканцы с гитарами и пели заунывные, надрывающие душу песни. Иногда — долгая уютная болтовня на прохладной веранде, бесконечное состязание в остроумии между Тэдди и миссис Макинтайр, чье шотландское лукавство нередко одерживало верх над веселой шутливостью Тэдди.

Вечера сменяли друг друга, складываясь в недели и месяцы, — тихие, томные, ароматные вечера, которые привели бы Стрефона к Хлое[21] через любые колючие изгороди, вечера, когда, возможно, сам Амур бродил, крутя лассо, по этим зачарованным пастбищам, но ограда Тэдди оставалась крепкой.

Как-то июньским вечером мадам Бо-Пип и ее управляющий сидели на восточной веранде. Тэдди долго строил научные прогнозы относительно продажи осеннего настрига по двадцать четыре цента и, истощив все возможные предположения, окутался анестезирующим дымом гаванской сигары. Только такой непросвещенный наблюдатель, как женщина, мог столько времени не замечать, что по крайней мере треть жалования Тэдди улетучивается с дымом этих импортных регалий.

— Тэдди, — неожиданно и довольно резко сказала Октавия, — что вам дает работа на ранчо?

— Сто в месяц, — без запинки ответил Тэдди, — и полное содержание.

— Я думаю, мне следует вас уволить.

— Не выйдет, — ухмыльнулся Тэдди.

— Почему это? — запальчиво осведомилась Октавия.

— Контракт. По условиям продажи вы не имеете права, расторгать ранее заключенные контракты. Мой истекает в двенадцать часов ночи тридцать первого декабря. В ночь на первое января вы можете встать и уволить меня. А если вы попытаетесь сделать это раньше, у меня будут все законные основания для предъявления иска.

Октавия, видимо, взвешивала последствия такого шага.

— Но, — весело продолжал Тэдди, — я сам подумываю об отставке.

Качалка его собеседницы замерла. Октавия ясно почувствовала, что кругом повсюду сколопендры, и индейцы, и громадная, безжизненная, унылая пустыня. А за ними — изгородь из колючей проволоки. Кроме ван-дрессеровской гордости, существовало и ван-дрессеровское сердце. Она должна узнать, забыл он или нет.

— Конечно, Тэдди, — заметила она, разыгрывая вежливый интерес, — здесь очень одиноко и вас влечет прежняя жизнь — поло, омары, театры, балы.

— Никогда не любил балов, — добродетельно возразил Тэдди.

— Вы стареете, Тэдди. Ваша память слабеет. Никто не видел, чтобы вы пропустили хоть один бал, разве что вы танцевали в это время на другом. И вы пренебрегали правилами хорошего тона, слишком часто приглашая одну и ту же даму. Как звали эту Форбс — ту, пучеглазую? Мэйбл?

— Нет, Адель. Мэйбл — это та, у которой острые локти. И Адель совсем не пучеглазая — это ее душа рвется наружу. Мы беседовали о сонетах и Верлене. Я тогда как раз пытался пристроить желобок к Кастальскому ключу.

— Вы танцевали с ней, — упорствовала Октавия, — пять раз у Хэммерсмитов.

— Где у Хэммерсмитов? — рассеянно спросил Тэдди.

— На балу, — ядовито сказала Октавия. — О чем мы говорили?

— Насколько я помню, о глазах, — ответил Тэдди после некоторого размышления. — И о локтях.

— У этих Хэммерсмитов, — продолжала Октавия милую светскую болтовню, подавив отчаянное желание выдрать клочок выгоревших золотистых волос из головы, уютно покоившейся на спинке шезлонга, — у этих Хэммерсмитов было слишком много денег Рудники, кажется? Во всяком случае что-то, приносившее сколько-то с тонны. В их доме было невозможно получить стакан простой воды — вам непременно предлагали шампанское. На этом балу всего было сверх меры.

— Да, — сказал Тэдди.

— А сколько народу! — продолжала Октавия, сознавая, что впадает в восторженную скороговорку школьницы, описывающей свое первое появление в свете. — На балконах было жарче, чем в комнатах. Я... что-то потеряла на этом балу.

Тон последней фразы был рассчитан на то, чтобы обезвредить целые мили колючей проволоки.

— Я тоже, — признался Тэдди, понизив голос.

— Перчатку, — сказала Октавия, отступая, как только враг приблизился к ее траншеям.

— Касту, — сказал Тэдди, отводя свой авангард без малейших потерь. — Я весь вечер общался с одним из хэммерсмитовских рудокопов. Парень не вынимал рук из карманов и, как архангел, вещал о циановых заводах, штреках, горизонтах и желобах.

— Серую перчатку, почти совсем новую, — горестно вздохнула Октавия.

— Стоящий парень этот Макардл, — продолжал Тэдди одобрителем тоном. — Человек, который ненавидит анчоусы и лифты, который грызет горы, как сухарики, и строит воздушные туннели, который никогда в жизни не болтал чепухи. Вы подписали заявление о возобновлении аренды, мадама? К тридцать первому оно должно быть в земельном управлении.

Тэдди лениво повернул голову. Кресло Октавии было пусто.

Некая сколопендра, проползая путем, начертанным судьбой, разрешила ситуацию. Случилось это рано утром, когда Октавия и миссис Макинтайр подрезали жимолость на западной веранде, Тэдди, получив известие, что ночная гроза разогнала стадо овец, исчез еще до рассвета.

Сколопендра, ведомая роком, появилась на полу веранды и затем, когда визг женщин подсказал ей дальнейшие действия, со всех своих желтых ног бросилась в открытую дверь крайней комнаты-комнаты Тэдди. За нею, вооружившись домашней утварью, отобранной по принципу длины, и теряя драгоценное время в попытках занять арьергардную позицию, последовали Октавия и миссис Макинтайр, боязливо подбирая юбки.

В комнате сколопендры не было видно, и ее грядущие убийцы принялись за тщательные, хотя и осторожные поиски своей жертвы.

Но и в разгаре опасного и захватывающего приключения Октавия, очутившись в святилище Тэдди, испытывала трепетное любопытство. В этой комнате сидел он наедине со своими мыслями, которыми он теперь ни с кем не делился, и мечтами, которые он теперь никому не поверял.

Это была комната спартанца или солдата. Один угол занимала широкая брезентовая койка, другой — небольшой книжный шкаф, третий — грозная стойка с винчестерами и дробовиками. У стены стоял огромный письменный стол, заваленный корреспонденцией, справочниками и документами.

Сколопендра проявила гениальные способности, ухитрившись спрятаться в этой полупустой комнате Миссис Макинтайр тыкала ручкой метлы под книжный шкаф. Октавия подошла к постели. Тэдди второпях оставил комнату в полном беспорядке. Горничная-мексиканка не успела ее убрать. Большая подушка еще хранила отпечаток его головы. Октавию осенила мысль, что отвратительное создание могло забраться на постель и спрятаться там, чтобы укусить Тэдди, ибо сколопендры жестоко мстят управляющим, где только могут.

Октавия осторожно перевернула подушку и чуть было не позвала на помощь — там лежало что-то длинное, тонкое, темное. Но она вовремя удержалась и схватила перчатку — серую перчатку, безнадежно измятую — надо полагать, за те бесчисленные ночи, которые она пролежала под подушкой человека, забывшего бал у Хэммерсмитов. Тэдди, должно быть, так торопился утром, что на этот раз забыл скрыть ее в дневном тайнике. Даже управляющие, люди, как известно, хитрые и изворотливые, иногда попадают.

Октавия спрятала серую перчатку за корсаж утреннего летнего платья. Это была ее перчатка. Люди, которые окружают себя крепкой изгородью и помнят бал у Хэммерсмитов только по разговору с рудокопом о штреках, не имеют права владеть подобными предметами.

Но все-таки какой рай эти прерии! Как они цветут и благоухают, когда находится то, что давно считалось потерянным! Как упоителен бьющий в окна свежий утренний ветерок, напоенный дыханием желтых цветов ратамы! И разве нельзя постоять минутку с сияющими, устремленными вдаль глазами, мечтая о том, что ошибку можно исправить?

Почему миссис Макинтайр так нелепо тычет повсюду метлой?

— Нашла, — сказала миссис Макинтайр, хлопая дверью. — Вот она.

— Вы что-нибудь потеряли? — спросила Октавия с вежливым равнодушием.

— Гадина! — яростно воскликнула миссис Макинтайр. — Разве вы о ней забыли?

Вдвоем они уничтожили сколопендру. Такова была ее награда за то, что с ее помощью вновь отыскалось все потерянное на балу у Хэммермитов.

Очевидно, Тэдди не забыл о перчатке и, вернувшись на закате, предпринял тщательные, хотя и тайные поиски. Но нашел он ее только поздно вечером, на залитой лунным светом восточной веранде. Перчатка была на руке, которую он считал навеки для себя потерянной, и поэтому он решился повторить некую чепуху, повторять которую ему когда-то строго запретили. Ограда Тэдди рухнула.

На этот раз тщеславие не стояло на пути, и любовный дуэт прозвучал так естественно и успешно, как и должно быть между пылким пастухом и нежной пастушкой.

Прерии превратились в сад, ранчо Де Лас Сомбрас стало ранчо Света.

Через несколько дней Октавия получили от мистера Бэннистера ответ на письмо, в котором она просила его выяснить некоторые вопросы, связанные с ранчо. Вот часть этого письма:

«Я не совсем понял ваше упоминание об овечьем ранчо. Через два месяца после вашего отъезда было установлено, что означенное ранчо не являлось собственностью полковника Бопри, поскольку документально было доказано, что перед смертью оно было им продано. Об этом мы сообщили вашему управляющему мистеру Уэстлейку, который незамедлительно перекупил таковое. Не представляю себе, каким образом этот факт мог остаться неизвестным вам. Прошу вас незамедлительно обратиться к вышеупомянутому джентльмену, который по крайней мере подтвердит мое сообщение».

Когда Октавия разыскала Тэдди, она была настроена очень воинственно.

— Что вам дает работа на ранчо? — повторила она свой прежний вопрос.

— Сто... — начал было Тэдди, но увидел по ее лицу, что ей все известно. В ее руке было письмо мистера Бэннистера, и он понял, что игра кончена.

— Это мое ранчо, — признался он, как уличенный школьник. — Чего стоит управляющий, который со временем не вытеснит своего хозяина?

— Почему ты здесь работаешь? — упорствовала Октавия, тщетно пытаясь подобрать ключ к загадке Тэдди.

— Говоря начистоту, Тэви, — сказал Тэдди с невозмутимой откровенностью, — не ради жалованья. Его только-только хватало на табак и на крем от загара. На юг меня послали доктора. Правое легкое что-то захандрило из-за переутомления от гимнастики и поло. Мне требовался климат, озон, отдых и тому подобное.

Мгновенно Октавия очутилась в непосредственной близости от пораженного органа. Письмо мистера Бэннистера соскользнуло на пол.

— Теперь... теперь оно здорово, Тэдди?

— Как мескитный пень. Я обманул тебя в одном. Я заплатил пятьдесят тысяч за твое ранчо, как только узнал, что твое право владения не действительно. Примерно такая сумма накопилась на моем счету в банке, пока я тут пас овец, и практически ранчо досталось мне даром. Тем временем там еще выросли проценты, Тэви. Я подумываю о свадебном путешествии на яхте с белыми лентами по мачтам в Средиземное море, потом к Гебридам, а оттуда в Норвегию и до Зюдерзее.

— А я думала, — шепнула Октавия, — о свадебном галопе с моим управляющим среди овечьих стад и о свадебном завтраке с миссис Макинтайр на веранде и, может быть, с веточкой флер-д'оранжа в красной вазе над столом.

Тэдди рассмеялся и запел:

У крошки Бо-Пип голосок охрип —

Разбежались ее овечки

Не надо их звать: все вернутся опять...

Октавия притянула его к себе и что-то шепнула. Но говорила она совсем о других колечках.

Перевод И. Гуровой.

Прозвище сэра Генриха Перси, забияки и задиры, в драме Шекспира «Генрих IV».

(обратно)

2

Берег моря (испанск.)

(обратно)

3

Актер, прославился исполнением роли графа Монте-Кристо.

(обратно)

4

Очки (испанск.)

(обратно)

5

Добрый день (испанск.)

(обратно)

6

В гостиницу, номер шесть, на улице Буэнас Грациас (испанск.)

(обратно)

7

Почта (испанск.)

(обратно)

8

Добрый вечер (испанск.)

(обратно)

9

Большая дорога (испанск.)

(обратно)

10

Погонщик мулов (испанск.)

(обратно)

11

Английский отель (испанск.)

(обратно)

12

Испанская мера веса — 11,5 кг.

(обратно)

13

«Тебе, бога, хвалим» и «Помилуй нас, боже» — церковные песнопения, входящие в состав мессы (лат.)

(обратно)

14

Страна умеренного климата (испанск.)

(обратно)

15

Ребятишки (испанск.)

(обратно)

16

Горячей земли (испанск.)

(обратно)

17

«Добрый отдых» (испанск.)

(обратно)

18

Пародия на повесть Фрэнсис Бэрнет «Громила и Эдит» и другие сентиментальные повести о раскаявшихся грабителях.

(обратно)

19

«О мертвых ничего...» — начало латинской поговорки «О мертвых ничего, кроме хорошего».

(обратно)

20

Испанский танец.

(обратно)

21

Герои пастушеской поэмы Филиппа Сиднея «Аркадия».

Последний трубадур

Перевод Зин. Львовского

Сэм Голлоуэй с неумолимым видом седлал своего коня. После трехмесячного пребывания, он уезжал из ранчо Алтито. Нельзя требовать, чтобы гость дольше этого срока мог выносить сухари с желтыми пятнами, сделанные на поташе, и пшеничный кофе. Ник Наполеон, толстый негр-повар, никогда не умел печь хорошие сухари. Еще в то время, как Ник служил поваром на ранчо Виллоу, Сэм вынужден был бежать оттуда уже через шесть недель его стряпни. Лицо Сэма выражало грусть, усиленную сожалением и слегка смягченную снисходительностью великого человека, который не может быть понят.

Итак, он крепко и с неумолимым видом подтянул и застегнул свою подпругу, свернул кольцом веревку, повесил ее на луку седла, подвязал сзади свою куртку и одеяла и повесил хлыст на кисть правой руки. Весь дом Мерридю (хозяева ранчо Алтито) - мужчины, женщины, дети, а также слуги, служащие, гости, собаки и все случайные посетители дома собрались на "галерею" ранчо проводить гостя, и лица их были настроены меланхолично и печально.

Так бывало всегда. Если приезд Сэма Голлоуэя в какое-нибудь ранчо, лагерь или же хижину между реками Фрио и Браво возбуждал радость, то от'езд его неминуемо вызывал печаль и страдания. И вот, при полном молчании, которое нарушалось только собакой, усердно с помощью задней ноги ловившей блоху, Сэм нежно и заботливо привязал поперек седла, поверх своей верхней одежды, гитару. Гитара была в зеленом парусиновом мешке.

Если Вы поймете значение этого, то и поймете заодно, что представляет собой Сэм.

Сэм Голлоуэй был последним трубадуром. Вы, разумеется, слышали про трубадуров. В энциклопедии определенно указывается, что особого размаха трубадуры достигли между одиннадцатым и тринадцатым столетиями. Чем они собственно размахивали-неясно, но во всяком случае вы можете быть уверены, что не мечом! Возможно, что. смычком или вилкой с макаронами или дамским шарфом. Но так или иначе, Сэм Голлоуэй был одним из трубадуров.

Сэм с видом мученика сел на своего коня. Но выражение его лица казалось смеющимся по сравнению с выражением морды пони. Ведь всякая лошадь прекрасно знает своего господина, и весьма возможно, что кобылы на пастбище или у стойл весьма часто насмеялись над конем Сама за то, что на нем ездит какой-то гитарист, а не разудалый и задорный ковбой. Ни единый человек на свете не является героем для своей верховой лошади! Тем более трубадур! Ведь даже под'емнику универсального магазина не вменяется в вину, если он опрокинет трубадура!

О, я знаю, что я-трубадур, и вы-тоже! Ах, те сказочки, которые вы заучивали, карточные фокусы, которые вы запоминали, маленькая пьеска для рояли-как она называется? - ти-тум, ти-тум-ти-тум! - маленькие упражнения в ловкости, которые вы показывали, когда отправлялись навещать вашу богатую тетку Джэн...

Вам надо знать, что "omnes personae in tres partes divisae sunt" а именно: бароны, трубадуры и труженики. Бароны не имеют склонности читать подобные пустяки. А у тружеников нет времени читать их. Итак, я знаю, что вы должны быть трубадуром, и что вы понимаете Сэма Голлоуэя. Поем ли мы, или же играем, танцуем, пишем, читаем ли лекции, или же рисуем,-мы всегда и только трубадуры... Так пусть же каждый из нас похуже исполнит то, на что он способен.

Конь с лицом Данте Алигьери, направляемый нажимом ноги Сэма, понес этого бродячего менестреля шестнадцать миль к юго-востоку.

Природа в этот день была в самом благодушном настроении. Бесконечное количество нежных душистых цветочков наполняло ароматом тихо колеблющуюся прерию. Восточный ветерок умерял весеннюю жару. Белые, точно шерстяные облака, налетавшие с Мексиканского залива, преграждали путь прямым лучам апрельского солнца. Сэм ехал и пел песни. Он заткнул за повод несколько веточек чэпarrала для того, чтобы защитить коня от оводов. Таким образом увенчанное длиннолицее четвероногое еще более стало похоже на Данте, и, судя по его выражению лица, можно было думать, что оно мечтает о своей Беатриче.

Насколько позволяла топография местности, Сэм ехал напрямик к овечьему ранчо старика Эллисона. Как раз теперь у него явилось желание посетить овчье ранчо. В Алтито было слишком много народа, слишком много шума, споров, соперничества и беспорядка. До сих пор он еще ни разу не оказывал чести старику и не гостил у него, но он знал, что ему будут рады. Трубадуру всюду свободный вход! Труженики в замке опускают для него под'емный мост, а барон сажает его по левую руку от себя в пиршественном зале. Дамы улыбаются ему и аплодируют его песням и рассказам, в то время как труженики подносят ему кабаньи головы и кувшины с вином. И если случайно, сидя в своем кресле резного дуба, барон зевнет раза два, то ничего дурного нельзя в этом усмотреть. Старый Эллисон очень радушно встретил трубадура. Он часто слышал похвалы Сэму от владельцев других ранчо, удостоившихся его посещения, но никогда не надеялся на такую честь по отношению к своему скромному баронату. Я говорю "баронату", потому что старый Эллисон был последним бароном. Бульвер Литтон жил слишком рано, иначе он не дал бы этого титула Варвику (Литтон-известный английский писатель. Его роман "Последний барон" появился на русском языке в 1845 г. Прим. перев.) Как известно, функции барона заключаются в том, чтобы давать работу труженикам и приют и убежище трубадурам.

Эллисон был морщинистый старик с небольшой изжелта-белой бородой и лицом, изборожденным следами безвозвратно ушедших улыбок. Его ранчо представляло собой домик в две маленьких комнаты, который, словно ящик, стоял среди рощи в самой скучной части овечьей страны. Жили там: повар из индейцев племени Киова, четыре собаки, любимая овечка и полуручной койот, всегда сидевший на цепи. Эллисону принадлежали три тысячи овец, которых он пас на двух участках арендованной земли и на многих тысячах акров земли и неарендованной, и некупленной. Раз в три-четыре года к его калитке под'езжал верхом кто-либо из говорящих на его языке, и они обменивались несколькими самыми простыми и обыкновенными мыслями.

Эти дни отмечались в голове Эллисона красными буквами. Какими же пышными, рельефными, ярко раскрашенными заглавными буквами должен быть отмечен день, когда трубадур-каковой, согласно заверениям энциклопедии, должен был процветать и действовать между одиннадцатым и тринадцатым веками!-бросил повод у ворот его баронского замка!

Как только Эллисон увидел Сэма, тотчас же возвратились его улыбки и заполнили все морщины на его лице. Волоча ноги и прихрамывая, он поспешил навстречу гостю,

- Здорово, мистер Эллисон! - крикнул ему весело Сэм: - вот задумал заглянуть сюда и повидаться с вами. По дороге я заметил, что у вас прошли славные дожди. Ну, значит, будет хороший подножный корм для весенних ягнят.

- Хорошо, хорошо, хорошо! - сказал в ответ старик Эллисон. - Я страшно рад видеть вас у себя! Я никогда не думал, что вы потревожитесь для того, чтобы посетить такое старое ранчо, лежащее в стороне от большой дороги. Добро пожаловать, слезайте с коня. У меня на кухне лежит мешок свежего овса,-прикажете принести его для вашей лошадки?

- Овес для моей лошадки!-насмешливо воскликнул Сам. - Да она и на траве разжирела, как свинья. На ней слишком мало ездят для того, чтобы миндальничать с ней. Я сейчас же пушу ее на конский выпас, стреножив ее, если только вы ничего против того не имеете.

Я уверен, что никогда в промежутке между одиннадцатым и тринадцатым веками не было такого гармоничного единения между бароном, трубадуром и трудящимся, как в этот вечер на овечьем ранчо старика Эллисона! Печенье индейца было легкое и вкусное, а кофе-крепкий. Неискоренимое гостеприимство и радость сияли на обветренном лице хозяина. Трубадур же уверял самого себя, что наконец-то он попал в действительно приятные места. Прекрасно приготовленный, обильный обед, хозяин, малейшая попытка занять которого приводила его в восхищение, далеко превосходящее затраченное усилие, а также на редкость спокойная атмосфера, к которой все время стремилась чувствительная душа Сэма,-все вместе соединилось для того, чтобы дать ему полное удовлетворение и чудесное довольство, которые так редко посещали его во время об'ездов многочисленных ранчо. После восхитительного ужина Сэм развязал зеленый парусиновый футляр и вынул оттуда гитару. О,-запомните!-он сделал это вовсе не потому, что думал платить за прием.

Ни Сэм Голлоуэй, ни какой-либо другой подлинный трубадур не являются потомками покойного Томми Тьюккере. О Томми Тьюккере вы, конечно, помните по детским песенкам. Томми Тьюккере обычно пел за ужин.

Никакой настоящий трубадур этого никогда не сделает. Он поужинает, но затем, если и станет играть, так только из любви к искусству.

В репертуар Сэма Галлоуэя входило около пятидесяти веселых рассказов и от тридцати до сорока песенок. Однако он не ограничивался этим. Он мог на продолжении двадцати сигарет говорить на любую затронутую вами тему. При этом он никогда не садился, если мог лежать, и никогда не стоял, если мог сидеть. Мне очень хотелось бы еще задержаться на нем, так как я пишу портрет и стараюсь сделать его настолько хорошо, насколько позволяет мне мой тупой карандаш.

Мне хотелось бы еще, чтобы вы могли видеть его. Он был небольшого роста, крепкий и ленивый настолько, что это превосходило всякое представление. Он носил ультрамариново-синюю шерстяную рубаху, стянутую спереди светло-серым шнурком, в роде сапожного, но подлиннее, затем неразрушимые брюки из коричневой парусины, неизбежные сапоги на высоких каблуках с мексиканскими шпорами и мексиканское соломенное сомбреро.

В этот вечер Сэм и Эллисон вытащили из дома стулья и поставили их под деревьями. Они закурили сигареты, и трубадур весело тронул гитару. Среди его песен было очень много очаровательных, меланхолических и минорных канцон, которые он заимствовал у мексиканских вакеро и овечьих пастухов. Но одна из них в особенности радовала и успокаивала душу одинокого барона. То была любимая песня овечьих пастухов, начинавшаяся словами: "Huile, huile, palomita", что в переводе означает: "Лети, лети, голубок!.." В этот вечер Сэм много раз пропел ее старику Эллисону.

Трубадур остался гостить в ранчо Эллисона. Тут были мир и покой, и настоящая оценка его таланта.

Ничего подобного он не находил в лагерях и шумных стоянках королей скота. Никакая другая аудитория в мире не могла бы увенчать творчество поэта, музыканта или же актера большим поклонением и одобрением, чем старик Эллисон-труд Сэма. Посещение королем какого-либо смиренного дровосека или крестьянина не было бы встречено более лестной благодарностью и трогательной радостью.

Большую часть дня Сэм проводил в тени деревьев на прохладной, крытой парусиной койке. Тут он свертывал свои сигареты из коричневой бумаги, читал ту скучную литературу, что имелась на ранчо, и расширял свой репертуар импровизациями, которые с таким великим мастерством передавал на своей гитаре.

Точно раб, прислуживающий важному господину, индеец приносил гостю еду по его приказанию и холодную воду из красного кувшина, висевшего под навесом из прутьев.

Зефиры из прерии нежно опалили его.

Пересмешники утром и вечером пытались, но едва ли успевали сравняться с нежными мелодиями его прекрасной лиры.

Казалось, ароматная тишина обволакивала весь мир.

В то время, как старый Эллисон толкался среди своих овец на пони, делавшем милю в час, а индеец нежился на жгучем солнцепеке подле кухни, Сэм лежал на койке и думал о том, как прекрасен мир, в котором он живет, и как мир этот благожелателен к тем, чье назначение - доставлять развлечение и удовольствие.

Здесь у него были кров и пища, какие он всегда желал иметь, абсолютная свобода от всяких забот, всякого усилия или борьбы, бесконечное гостеприимство и хозяин, восторг которого при исполнении какой-нибудь песни или рассказа в шестнадцатый раз был так же велик, как если бы это было исполнено впервые. Был ли когда-нибудь в прежние времена трубадур, который в своих странствиях набрел бы на такой королевский замок? Пока он так лежал, думая о посланных ему благах, маленькие коричневые ягнята боязливо резвились во дворе, выводки перепелок с белыми узелками на спине пробегали вереницей на двадцать ярдов дальше, птица *raïsano*, охотясь за тарантулами, подпрыгивала на заборе и приветствовала его быстрыми размахами хвоста.

На лошадином пастбище в восемьдесят акров конь с лицом Данте жирел и чуть ли не стал улыбаться.

Трубадур достиг конца своих странствий.

Старик Эллисон был своим собственным экономом. Это значит, что он снабжал свои овечьи лагеря дровами, водой и харчами собственными силами, вместо того, чтоб нанимать эконома. Так часто делается на мелких ранчо.

Как-то раз, утром, он отправился в лагерь *Incarnation* Поп Фелипе де-ла-Круз и Монте Пиедрас (где было одно из его стад) с обычной недельной порцией мексиканских бобов, кофе, муки и сахара. В двух милях от тропы на старый форт Юнич он встретился лицом к лицу со страшным человеком по имени "король Джемс", ехавшим на горячей, красивой лошади кентуккской породы.

Настоящее имя короля Джемса было Джемс Кинг, но его перевернули, так как находили, что это больше к нему идет, а также потому, что это, повидимому, нравилось его величеству. Король Джемс был крупнейшим скотоводом между Аламс-плацем в Сан-Антоне и салуном Билля Хоппера в Броунсвилле. Он также был самым громогласным и вредным буяном, хвастуном и скверным человеком в юго-восточном Техасе. Он всегда исполнял то, чем похвалялся, и, чем больше он шумел, тем был опаснее. В книгах особенно опасным всегда является спокойный человек с мягкими манерами, голубыми глазами и тихим голосом, но в реальной жизни и в этой повести дело обстояло иначе. Предложите мне на выбор - напасть на громадного грубияна с громким голосом или на безобидного, голубоглазого незнакомца, мирно сидящего в углу, - и вы всегда увидите, что я направлюсь в угол. Король Джемс, как я собирался сказать ранее, был свирепым, весом в двести фунтов, загорелым, белокурым человеком, румяным, как октябрьская земляника, и с двумя горизонтальными щелками, вместо глаз, под щетинистыми рыжими бровями.

В этот день на нем была надета фланелевая рубашка каштанового цвета; иного цвета была некоторые большие части, потемневшие от пота, вызванного летним солнцем. На нем, очевидно, была и другая одежда и снаряжение, как, например, коричневые парусиновые брюки, засунутые в огромные сапоги, красные платки и револьверы, а также ружье, лежавшее поперек седла, и кожаный пояс со множеством сверкавших на нем патронов, - но ваша мысль не замечала этих подробностей; взор приковывали только две горизонтальные щелки, которые служили ему глазами. Таков был человек, которого старик Эллисон встретил на тропе, и, если вы зачтете барону, что ему было шестьдесят пять лет, что весил он девяносто восемь фунтов и слышал рассказы о короле Джеймсе, а также и то, что барон имел склонность к *vita simplex* и не взял с собой ружья, а если бы и взял, то не употребил бы его в дело, - вы не осудите его, если я скажу, что улыбки, которыми трубадур заполнил его морщины, снова все ушли, и снова показались прежние, самые обыкновенные морщины.

Однако он не был из тех баронов, что бегут от опасности. Он осадил своего "миля в час" пони (не трудное дело!) и поклонился грозному монарху. Король Джемс высказался с королевской прямоотой.

- Вы - тот старый колпак, что пасет овец в этой местности, не так ли? - спросил он. - Какое вы имеете на это право? Владаете ли вы какой-нибудь землей или же арендуете что-нибудь?

- Я арендую два участка у штата, - мягко возразил старик: Эллисон.

- Ничего вы не арендуете, - закричал король Джемс:- срок вашей аренды истек вчера. У меня был свой человек в земельном отделе, который в ту же минуту взял ее. В вашем распоряжении нет ни фута травы в Техасе. Вам, овцеводам, нужно уходить отсюда. Ваше время прошло. Эта страна - страна крупного скота, и в ней нет места таким соням. Земля, где пасутся ваши овцы, моя.

Я огорожу ее проволокой сорок на шестьдесят миль, и, когда изгородь будет готова, всякая овца, находящаяся внутри ее, будет убита.

Я даю вам неделю на то, чтобы вывести ваших овец отсюда. Если они к этому времени не уйдут, то я пошлю шесть человек с винчестерами, которые приготовят из них баранину. А если в то же время я застану здесь и вас, то вот что вы получите от меня.

Король Джемс погладил ремень, на котором висело его ружье.

Старик продолжал путь к лагерю Incarnation. Он часто вздыхал, и морщины на его лице стали глубже. Слухи о том, что старые порядки будут изменены, доходили до него и раньше. Близился конец "свободным пастбищам". Собирались над его головой и другие тучи. Стада его, вместо того, чтобы увеличиваться, уменьшались в числе. Цена на шерсть падала с каждой стрижкой. Даже Бродшоу, лавочник во Фрио-Сити, у которого он покупал припасы для ранчо, приставал к нему, требуя уплаты по счету за последние шесть месяцев, и грозил лишить его кредита. Таким образом, несчастье, внезапно обрушившееся со стороны короля Джемса, было для него последним ударом.

Когда старик на закате возвратился в свое ранчо, он застал Сэма Голлоуэй лежащим на койке и перебирающим струны на гитаре.

- Здорово, дядя Бен,-весело крикнул трубадур.- Вы сегодня рано вкатились. Я пробовал новую вариацию к испанскому фанданго. Я только что нашел ее. Вот послушайте, как она звучит!

- Хорошо, чудесно,-говорил Эллисон, сидя на кухонной ступеньке и потирая свои седые, как у скот-терьера, бакенбарды.-Я считаю, что вы побили всех музыкантов на Востоке и Западе, повсюду, Сэм, где только проложены дороги.

- Не знаю,-отвечал Сэм в раздумьи, - но я, конечно, достиг кой-чего в вариациях. Я вижу, что могу не хуже других обработать любую вещь в пяти бемолях... Но вы как будто утомлены, дядя Бен, или чувствуете ребя неважно сегодня вечером?

- Я немного устал, Сэм, больше ничего. Если вы еще можете играть, сыграйте мне мексиканскую вещь, начинающуюся словами: "Huile, huile, palomita" Мне кажется, что эта песня всегда успокаивает и подбодряет меня после далекой поездки или же когда что-нибудь меня тревожит.

- Почему же нет? Seguramente, senior! Я буду играть ее для вас, когда только вы захотите. Да, пока я не забыл, дядя Бен, вам следует выговорить Бродшоу за последние присланные нам окорока: они слишком пахнут!

Человек шестидесяти пяти лет, живущий на овечьем ранчо, тревожимый сплетением всяких несчастий, не может постоянно и успешно притворяться. Кроме того, глаза трубадура быстро видят признаки несчастья в окружающих, потому что это нарушает его собственный покой. На следующий день Сэм снова стал расспрашивать старика относительно его грустного вида и рассеянности.

Тогда Эллисон рассказал ему об угрозах и приказаниях короля Джемса и о том, что бледная меланхолия и красное разорение наметили, повидимому, его своей жертвой. Трубадур внимательно выслушал эту новость. Он уже много до того слышал о короле Джемсе.

На третий из семи льготных дней, предоставленных ему самодержцем этой местности, старик Эллисон ехал на телеге во Фрио-Сити для закупки необходимых припасов для ранчо. Бродшоу был тверд, но не неумолим. Он разделил счет Эллисона на две части и предоставил ему больший срок для уплаты. Среди купленных предметов был свежий прекрасный окорок, взятый для того, чтобы доставить удовольствие трубадуру.

В пяти милях от Фрио-Сити, по дороге домой, старик встретил короля Джемса, ехавшего в город. У его величества всегда был свирепый и угрюмый вид, но сегодня щелки его глаз казались открытыми шире обыкновенного.

- Добрый день,- сказал угрюмо король Джемс.- Мне нужно было видеть вас. Вчера я слышал, как ковбой из Сэнди говорил, что вы происхождением из графства Джэксон, Миссисипи. Мне нужно знать, правильно ли это.

- Я там родился и воспитывался до двадцати одного года, - ответил старик Эллисон.

- Этот человек говорил еще, что вы как будто в родстве с Ривсами из графства Джэксон. Правду он говорил?

- Тетка Каролина Ривс была моей сводной сестрой.

- Это была моя тетка, - сказал король Джемс: - я убежал из дому, когда мне было шестнадцать лет.

Теперь потолкуем снова о некоторых вещах, про которые мы рассуждали несколько дней тому назад.

Меня называют дурным человеком, и в этом люди только на половину правы.

На моем пастбище достаточно места для вашей горсточки овец и их приплода на долгое время.

Тетка Каролина вырезывала из сладкого теста овечек и пекла их для меня.

Оставьте своих овец на месте и пользуйтесь пастбищем, сколько вам надо. Как ваши финансы?

Старик с достоинством, сдержанно, но откровенно рассказал о своих несчастьях.

- Она тайком клала лишний кусок в мою школьную корзинку, - я говорю о тетке Каролине, - сказал король Джемс. - Я еду сегодня во Фрио-Сити и буду завтра возвращаться мимо вашего ранчо. Я выну из банка 2.000 долларов и привезу вам, а Бродшоу я скажу, чтобы он отпускал вам в кредит все, что вам нужно. Вы, наверно, слышали дома поговорку, что Кинги и Ривсы жмутся друг к другу теснее, чем каштаны к своей оболочке. Я все еще Кинг, когда встречаюсь с Ривсом. Итак, ожидайте меня около заката и не беспокойтесь ни о чем.

Я не удивлюсь, если сухая погода погубит молодую траву.

Старик Эллисон радостно поехал в свое ранчо. Еще раз улыбки заполнили все его морщины. Совершенно неожиданно, волшебным действием родства и того добра, которое кроется где-то во всех сердцах, с него были сняты все заботы. Вернувшись в ранчо, он узнал, что Сэма нет дома. Его гитара висела на лосином ремне на ветви дикой вишни и стонала, когда ветерок с залива пробегал по ее бесхозным струнам.

Индеец пытался объяснить:

- Сэм поймал коня, - говорил он, - и сказал, что поедет во Фрио-Сити. Зачем, никто не знает. Сказал, что вернется сегодня вечером. Может-быть, и так. Это все!

Как только выпали первые звезды, трубадур вернулся в свою гавань. Он отвел коня на пастбище и вошел в дом; шпоры его воинственно гремели.

Старик Эллисон сидел у кухонного очага, перед ним стояла кружка с кофе. Вид у него был довольный и радостный.

- Здорово, Сэм,-сказал он,- я страшно рад, что вы вернулись. Я не знаю, как я мог жить в этом ранчо, пока вы не приехали и не развеселили меня. Я готов побиться об заклад, что вы болтались с какой-нибудь девицей из Фрио-Сити, а потому задержались так поздно. Тут старик Эллисон снова бросил взгляд на Сэма и увидел, что менестрель превратился в человека действия.

И пока Сэм вынимает из-за пояса шестиствольный револьвер, который Эллисон оставил дома, уезжая в город, мы можем сделать остановку и заметить, что когда трубадур где бы и когда бы то ни было откладывает в сторону свою гитару и берет меч, то всегда и непременно случается несчастье. Приходится бояться не удара специалиста, как Атос, не холодного умения Арамиса и не железных мышц Портоса, но гасконской ярости, дикой и не академической атаки трубадура- шпаги д'Артаньяна.

- Я сделал это,- сказал Сэм. - Я поехал во Фрио-Сити, чтобы это сделать. Я не мог позволить, чтобы он надел на вас ярмо, дядя Бен. Я встретил его в салуне Семмерса. Я знал, что мне делать. Я сказал ему несколько слов, которых никто другой не слышал. Он, первый, схватился за револьвер-с полдюжины молодцов видели это-но я успел скорее прицелиться. Я

всыпал ему три дозы прямо в грудь, блюдечко могло бы покрыть их. Он больше не будет надоедать вам.

- Это вы... о короле Джемсе говорите? - спросил старик Эллисон, прихлебывая кофе.

- Конечно, о нем. Меня повели к судье, но тут были все свидетели того, что он первый схватился за оружие. Разумеется, с меня потребовали залог в 300 долларов в том, что я явлюсь в суд, но тут же нашлись четверо или пятеро человек, готовые поручиться за меня. Он больше не будет надоедать вам, дядя Бен! Вы бы посмотрели, как близко один от другого были следы пуль. Мне кажется, что игра на гитаре (так много, как я играю) должна развивать палец, нажимающий на курок. Как вы думаете, дядя Бен?

Затем в замке наступило недолгое молчание, прерываемое только шипением дичи, которую жарил индеец.

- Сэм,-сказал старик, дрожащей рукой поглаживая бакенбарды: - вам не трудно взять гитару и сыграть мне "Huile, huile, palomita", раз или два. Это всегда как-то успокаивает меня, когда я устал, или когда мне не по себе.

...Больше сказать нечего, кроме, разве, того, что заглавие рассказа неверно. Его бы следовало назвать: "Последний барон". Трубадуры никогда не переведутся, и иногда кажется, что в звоне их гитар потонут звуки заглушенных ударов заступов и молотов всех тружеников на свете.

Налет на поезд

Примечание. *Рассказ этот я услышал от человека, за которым несколько лет кряду охотилась полиция Юго-Запада и который сам занимался деятельностью, столь чистосердечно им описываемой. Его описание modus operandi[1] представляется мне заслуживающим внимания, а советы могут оказаться полезными для пассажира, которому случится стать жертвой железнодорожного налета. В то же время его рассказ о тех радостях, которые сулит грабительское дело, вряд ли кого соблазнит овладеть этой профессией. Привожу его рассказ почти дословно.*

О. Г.

Если вы спросите, трудно ли ограбить поезд, большинство опрошенных ответит – да. Неправда, нет ничего проще. Я доставил немало беспокойств железным дорогам и бессонных ночей пульмановской компании, мне же моя профессия налетчика никаких неприятностей не приносила, если не считать того, что бессовестные людишки, когда я спускал награбленное, обдирали меня как липку. Риск в нашем деле невелик, ну а неприятности нас не останавливали.

Известен случай, когда поезд чуть не ограбили в одиночку, раз-другой поезда грабили на пару, расторопным ребятам удавалось справиться втроем, но вернее всего грабить поезд впятером. Выбор места и времени для налета зависит от разных обстоятельств.

Самый первый раз я участвовал в ограблении в 1890 году. Если рассказать вам, как я дошел до жизни такой, вы, может быть, поймете, что толкает большинство грабителей на этот путь. Из шести правонарушителей на Западе пять – ковбои, потерявшие работу и сбившиеся с панталыку. Шестой – хулиган с Востока, который рядится бандитом и откалывает такие гнусные номера, что марает имя всех остальных. В судьбе первых пятерых виноваты колонисты и провололочные изгороди, в судьбе шестого – дурное сердце.

Мы с Джимом работали на 101 ранчо в Колорадо. Колонисты там утесняли ковбоев по-всякому. Забрали себе землю и поставили полицейских, на которых не угодишь. Раз мы с Джимом завернули по дороге в Ла-Хунту, поработали на загоне скота и возвращались на юг. Ну, позабавились малость, но чинно-благородно, никого не трогали, и вдруг – нате вам – фермерская администрация хочет нас замести. Джим пристрелил помощника шерифа, а я вроде как встал на его сторону в споре. Поскакали по их главной улице взад-вперед, постреляли, но остались целы-невредимы. А потом рванули на наше ранчо. Летать наши лошади не могли, но в скорости не уступали птицам.

А так примерно через недельку заявляется туда шайка этих ла-хунтовских рвачей, требует, чтобы мы с ними ехали назад. Мы, ясное дело, ни в какую. Нам что – мы ведь в доме укрылись, только не успели мы им свой отказ изложить до конца, как они наш саманный

домишко весь изрешетили пулями. А чуть стемнело, мы их обстреляли и дернули задами в горы. Они тоже в долгу не остались, популяли нам вдогонку. Нам с Джимом пришлось разъехаться – ничего тут не поделаешь, встретиться мы уговорились в Оклахоме.

В Оклахоме мы никуда не пристроились и, как край подошел, решили проверить это дело с железными дорогами. Мы с Джимом вошли в компанию с Томом и Айком Мурами – двумя братьями, у которых было столько пороха, что им прямо-таки не терпелось переплавить его в звонкую монету. Я смело называю их имена, потому что оба они уже на том свете. Тома застрелили, когда он грабил банк в Арканзасе, Аик подорвался на более опасном дельце: его убили на танцульке в Крик-Нейшн.

Мы выбрали одно местечко на линии Санта-Фе, там через глубокое ущелье идет мост, а кругом густой лес. Все пассажирские поезда брали воду из цистерны неподалеку от моста. Место самое что ни на есть глухое, ближе чем за пять миль домов нет. Накануне мы дали роздых лошадям и обговорили, как лучше обстрипать налет. Планы у нас были нехитрые, ведь никто из нас грабежами раньше не занимался.

По расписанию экспресс подходил к цистерне в 11.15 вечера. Ровно в одиннадцать мы с Томом залегли по одну сторону полотна, Джим с Айком по другую. Когда поезд стал приближаться и я увидел, как свет головного прожектора разрезает тьму, услышал, как паровоз со свистом выпускает пар, у меня затряслись поджилки. Я готов был год отработать на ранчо бесплатно, лишь бы выйти сейчас из игры. Самые рискованные ребята потом говорили, что им тоже было не по себе, когда они в первый раз шли на дело.

Едва поезд замедлил ход, я вскочил на одну подножку, Джим на другую. Стоило машинисту и кочегару увидеть наши пушки, как они, не ожидая приказаний, подняли руки вверх и попросили не стрелять, обещая слушаться нас во всем.

– Прыгай! – приказал я, и они попрыгали на землю. Мы погнали их вдоль состава. Пока мы занимались обслугой, Том и Аик – каждый со своей стороны – открыли пальбу, пальбу они сопровождали диким гиканьем на манер апачей, чтобы отбить у пассажиров охоту высовываться. Один олух выставил в окно свою игрушку двадцать второго калибра и пульнул в белый свет. Я звезданул по стеклу прямо над его головой. После этого у пассажиров начисто пропало желание сопротивляться. К этому времени я перестал бояться. И если и волновался, то не без приятности, вроде как бывает на танцах или, скажем, на вечеринке. Света в вагонах видно не было, и, едва Том с Айком перестали бесноваться, стало тихо, как на кладбище. Помнится, я слышал, как в кустах у дороги чирикала птичка, будто плакалась, что ей не дают спать.

Я велел кочегару достать фонарь, пошел к почтовому вагону и крикнул почтальону, чтоб он открыл двери, не то я его продырявлю. Он встал на пороге, руки поднял вверх. «Прыгай за борт, братец», – сказал я, и он плюхнулся в грязь, как шматок свинца. В вагоне стояли два сейфа – один побольше, другой поменьше. Между прочим, первым делом я вытащил почтальонский арсенал – двуствольный дробовик, заряженный картечью, и пистолет тридцать восьмого калибра. Вынул из дробовика патроны, пистолет сунул в карман и крикнул почтальону, чтоб шел в вагон. Ткнул пушку ему в нос, и он заработал как миленький. С большим сейфом он не справился, но маленький одолел. Там оказалось всего-навсего девятьсот долларов. Убогая пожива после всех наших трудов, и мы решили прочесать пассажиров. Обслугу завели в курительный вагон, машиниста отправили зажечь свет в вагонах. В дверях каждого вагона, начиная с первого, поставили по человеку, а пассажирам велели поднять руки вверх и выйти в проход.

Если хотите знать, какие трусы составляют большинство человечества, ограбьте пассажирский поезд. Я так говорю не потому, что пассажиры не сопротивляются (я вам потом объясню, почему они не могут сопротивляться), просто жалко смотреть, как они пугаются. И здоровяки-коммивояжеры, и фермеры, и отставные вояки, и франты в воротничках до ушей, и иголки, от чьей похвальбы только что дрожали стекла в вагоне, – все они празднуют труса.

По позднему времени большинство пассажиров ехало спальным, потому в остальных вагонах нам не удалось пожить. Проводник пульмановского вагона загородил собой проход, но Джим в это время уже подходил к другой двери. Проводник любезно сообщил, что никак не может пропустить меня в вагон, ибо спальня вагон не принадлежит железной дороге, не говоря о том, что пассажиров и так уже потревожили крики и стрельба. В жизни не встречал человека, который бы с большим достоинством нес свои служебные обязанности и

так верил бы в чудодейственную силу имени великого Пульмана. Я ткнул мистера Проводника в живот моим шестизарядным, да так, что пуговица с его жилета намертво закупорила дуло, только выстрелом мне удалось от нее избавиться. Проводник мигом заткнулся и кубарем скатился по ступенькам.

Я распахнул дверь и вошел в вагон. Ко мне, пыхтя и отдуваясь, подковылял толстый старик. Одну руку он успел продеть в рукав пиджака и теперь пытался натянуть жилет поверх него. Понятия не имею, за кого он принял меня.

– Молодой человек, – сказал он. – Не теряйте головы, сохраняйте хладнокровие.

– Не могу, – сказал я. – Я весь дрожу.

Тут я заверещал и разрядил свой кольт в потолочный фонарь.

Старик хотел юркнуть на нижнюю полку, но не тут-то было: оттуда вылетел визг, и чья-то голая нога так врезала старику в живот, что он шмякнулся на пол. К этому времени Джим уже вскочил в вагон с другой стороны, так что я велел пассажирам вытряхиваться с полок и строиться в проходе. Пассажиры полезли вниз, зрелище было, я вам доложу, ну чисто цирк о трех аренах. Они дрожали, как кролики в сугробе. В среднем на каждого приходилось по четверти костюма и ботинку. Один тип сидел на полу в проходе, судя по его лицу, можно было подумать, что он трудится над головоломной задачей. Он озабоченно натягивал дамский ботинок второго номера на свою ножищу девятого.

Дамы одеваться не стали. Им, голубушкам, так не терпелось посмотреть на взаправдашнего, живого железнодорожного бандита, что они, не тратя времени попусту, обмотались простынями и одеялами и, пища и трепыхаясь, поспрыгивали с полок. Слабый пол, он всегда любопытнее и храбрее.

Когда мы наконец построили пассажиров в ряд и угомонили, я обыскал их одного за другим. Ничего путного, точнее сказать, ценного, у них не нашлось. Но на одного типа просто стоило посмотреть. Это был спесивый разъевшийся лодырь из тех, что торчат с умным видом в президиуме. Прежде чем выйти на люди, он успел нацепить сюртук и цилиндр. Ниже его прикрывали только пижамные штаны и мозоли. Я рассчитывал изъять у этого принца Альберта не меньше пачки акций золотых приисков и охапки государственных облигаций, а нашел всего-навсего детскую губную гармошку. Не возьму в толк, для какой надобности он ее возил. Меня даже злость разобрала, так я обмишурился. Я смазал его гармошкой по губам.

– Не можешь платить – играй, – говорю.

– И играть не могу, – говорит он.

– Тогда учись по-быстрому, – сказал я и дал ему нюхнуть мою пушку.

Он схватил гармошку, стал багровый, как свекла, и давай дуть. Наигрывал он премиленький мотивчик, помню, я его еще мальчонкой слышал:

Что за девчоночка я была,

Мама красоткой меня звала...

И так он играл без передыху до самого нашего ухода. Когда ему не хватало воздуха или он сбивался – а это случалось частенько, – я наставлял на него пушку и спрашивал, что же такое стряслось с этой девчоночкой, уж не вздумал ли он ее покинуть, и он мигом начинал наяривать с новой силой.

Смешнее этого типа, наяривающего – босиком и в цилиндре – на губной гармошке, в жизни я ничего не видал. Одна рыжая красотка, глядя на него, чуть не надорвала живот со смеху. Ее, наверное, было слышно в соседнем вагоне.

Потом Джим держал пассажиров на мушке, а я обшаривал полки. Я рылся в постелях и бросал в наволочку все, что попадалось под руку, – чего только там не было! То и дело я наткался на пугачи, которыми впору только зубы plombировать, и кидал их в окно. Покончив с обыском, я вытряхнул наволочку посреди прохода. Оказалось, что я набрал порядком часов, браслетов, колец и сумочек вперемешку с челюстями, фляжками, пудреницами, шоколадными конфетами и шиньонами всевозможной длины и расцветки. Нашлось там и с десяток дамских чулок, которые я выудил из-под матрасов, они были туго набиты дамскими украшениями,

часами и пачками банкнот. Я вызвался вернуть «скальпы», как я их называл, сказал, что мы не индейцы, но все дамочки изобразили удивление: мол, они в первый раз такое видят. Одна из пассажирок – и очень недурная собой, – замотанная в полосатое одеяло, увидев, как я поднял с полу увесистый чулок, закричала:

– Это мой чулок, сэр. Скажите, ведь не в ваших привычках грабить женщин?

Так как это был наш первый налет, мы не успели подработать моральный кодекс, и я растерялся. Но, как бы там ни было, я ответил: «Во всяком случае, эта привычка еще не сделалась второй натурой. Если тут ваши личные вещи, я вам их верну».

– Именно что личные, – пылко заверила дамочка и потянулась за чулком.

– Прошу прощения, но я все-таки хочу поглядеть, что там такое, – сказал я и взялся за носок. На пол полетели золотые мужские часы не меньше двухсот долларов ценой, мужской бумажник, потом мы в нем нашли шестьсот долларов и револьвер тридцать второго калибра, из дамских вещей там был только серебряный браслет центов за пятьдесят.

Я сказал:

– Вот эта вещичка и впрямь ваша, – и протянул ей браслет. – А теперь, – продолжал я, – как вы можете ждать, чтобы мы с вами поступали по-хорошему, когда вы нас так обманываете? Я вам просто удивляюсь.

Красотка покраснела так, будто ее и впрямь поймали с поличным. Другая пассажирка крикнула: «Какая низость!» До сих пор не знаю, к кому она адресовалась, к той дамочке или ко мне.

Управившись с делами, мы наказали пассажирам ложиться спать, с порога вежливо пожелали им спокойной ночи и смылись. На рассвете – за сорок миль от моста – мы поделили добычу. Каждому досталось 1 752 доллара 85 центов чистоганом. Побрякушки мы делили на глазок. И разъехались кто куда, каждый сам себе хозяин.

Так прошел мой первый налет, и дался он мне труднее остальных. Правда, потом я твердо держался почтового вагона, пассажиров я больше никогда не касался. На мой вкус, нет ничего неприятнее в нашем деле.

За восемь лет через мои руки прошло немало денег. Самая крупная пожива мне досталась ровно через семь лет после первого налета. Мы разнюхали, каким поездом повезут жалованье солдатам в один из гарнизонов. И налетели на поезд прямо среди бела дня. Наша пятерка залегла в песчаных холмах неподалеку от полустанка. Для охраны на поезде ехало десять солдат, но с таким же успехом их могли распустить по домам. Мы не дали им даже высунуться из вагона, полюбоваться нашей работой. Так что деньги нам достались шутя, и все, заметьте, золотом. Шуму в ту пору ограбление наделало большого. Деньги были казенные, так что правительство взъелось и ну задавать ехидные вопросы: для какой, мол, надобности поезд сопровождал конвой. Военные говорили: никто, мол, не ожидал, что грабители налетят на поезд днем, среди голых песчаных холмов, – больше они в свое оправдание ничего не могли сказать. Не знаю, как приняло их оправдания правительство, но я-то знаю, что они говорили дело. Потому что главное в налете – внезапность. Газеты печатали всякие небылицы о размерах понесенного казной ущерба и в конце концов сошлись на том, что ущерб составлял 9—10 тысяч. Правительство помалкивало. Но вам я назову верную цифру, она еще ни разу в печати не появлялась, – мы тогда хапнули 48 тысяч. Если вам не лень, покопайтесь, выясните, как дядя Сэм провел этот небольшой дебет-кредит через свой личный бюджет, и вы убедитесь, что сумма мной названа верная, до одного цента.

К тому времени мы уже успели поднакопить опыт и знали, что к чему. Мы отмахали миль двадцать на запад, оставляя за собой такой след, что и бродвейскому полисмену бросился бы в глаза, и вернулись тем же путем назад, только на этот раз уже заметая следы. А через день, когда отряды доброхотов прочесывали местность во всех направлениях, мы с Джимом ужинали на втором этаже у одного нашего друга в том самом городе, откуда за нами выслали погоню. Наш друг показал нам, как в доме через дорогу печатная машина тискает объявления, в которых обещается вознаграждение за нашу поимку.

Меня спрашивали, что мы делаем с награбленными деньгами. Так вот, как спустишь деньги, никогда не помнишь, куда они ушли. Деньги плывут между пальцами, как песок. Человеку, который объявлен вне закона, нужно много друзей. Почтенный гражданин может обойтись и частенько обходится, двумя-тремя приятелями, но человеку, за которым охотится

полиция, без дружков нельзя. Когда отряды разъяренных доброхотов и нацелившиеся на вознаграждение полицейские гонятся за ним по пятам, ему не выжить, если он не подготовит себе заранее несколько домов, где можно передохнуть, поесть, покормить коня и поспать несколько часов кряду спокойно. Вот почему, ограбив поезд, бандит обязательно одаряет своих друзей, и одаряет, не скупясь. Бывало, смываясь после недолгого отдыха в одной из этих мирных обителей, я кидал горсть золота и банкнот игравшим на полу ребятам, не зная даже, сколько там было – сто долларов или тысяча.

Когда бывалому грабителю случается крупно поживиться, он чаще всего отправляется спускать деньги в большие города. Новички же, как бы успешно они ни провели налет, попадают на том, что швыряют деньги неподалеку от тех мест, где они их хапнули.

В 94-м году мне довелось участвовать в одной работенке, на которой мы огребли 20 000 долларов. От погони мы ушли нашим испытанным манером – сдвоили след и на время затаились неподалеку от тех мест, где поезд нарвался на нас. И вот как-то утром читаю я в газете статейку под большой шапкой. В статейке пишут, что шериф с восемью помощниками, а также тридцать вооруженных доброхотов окружили грабителей в мескитовых зарослях на берегу реки Симаррон и через час-другой станет ясно, будут они захвачены живыми или мертвыми. Я читал эту статейку за завтраком в одном из самых роскошных особняков в Вашингтоне, и прислуживал мне холуй в штанах до колен. Напротив меня сидел Джим, он беседовал со своим единоутробным дядей, моряком в отставке, чье имя то и дело встречается на страницах великосветской хроники. После налета мы махнули в столицу, закупили себе всяких шикарных одежек и отдохали от трудов несправедных среди воротил и тузов. Видно, мы погибли в тех мескитовых зарослях, потому что мы не сдались, – в этом я готов присягнуть.

А теперь я хочу вам сначала объяснить, почему так легко ограбить поезд, а потом – почему я никому не посоветую этим заниматься.

Во-первых, все преимущества на стороне бандитов. Ясное дело, если они не новички, а парни бывалые и рискованные. Бандиты нападают ночью, исподтишка, а противник их весь на виду, ему некуда укрыться в тесном вагоне. Если же какой-нибудь смельчак и решится высунуть голову в окно или в дверь, он становится мишенью для бандита, у которого рука не дрогнет убить человека.

Но больше всего налет, по-моему, облегчает внезапность нападения, помноженная на воображение пассажиров. Если вам доводилось видеть коня, который наелся дурману, вы поймете, о чем я веду речь. У такого коня прямо-таки немислимое воображение. Его никак не уломаешь перейти ручеек шириной в два фута. Ему чудится, что этот ручеек чуть не шире Миссисипи. Так же обстоит дело и с пассажиром. Ему мерещится, что за окнами беснуется добрая сотня бандитов, а на самом деле их там всего двое-трое. Дуло кольца 45-го калибра кажется ему не меньше жерла туннеля. Обычно с пассажиром особых хлопот не бывает, хотя он и способен на мелкие подлости: засунет, к примеру, пачку денег в башмак и забывает ее выложить, пока не пощекочешь ему ребра стволом шестизарядного; но вообще-то пассажир – тварь безвредная.

Что же касается поездной бригады, то и стадо овец могло бы доставить больше неприятностей. И не потому, что они такие уж трусы, просто они люди здоровые. Они знают, что бандиты шутить не любят. То же можно сказать и о полицейских. Мне доводилось видеть, как тайные агенты, шерифы и железнодорожные сыщики расставались со своими капиталами кротче кроткого. Я видел, как один из самых храбрых шерифов, которых мне случалось встречать, когда я стал собирать с пассажиров дань, заткнул свою пушку под сиденье и выложил денежки не хуже остальных. И не потому что он испугался, просто он понимал, что сила на нашей стороне. Кроме того, большинство полицейских люди семейные и не хотят рисковать жизнью; человек же, который пошел на грабеж, смерти не боится. Он знает, что рано или поздно его пристрелят, и так оно чаще всего и случается. И вот вам мой совет: если на ваш поезд нападут, празднуйте труса вместе с остальными, а храбрость свою приберегите для более подходящих случаев. Во-вторых, полицейские не торопятся помериться силами с бандитами, потому что им это невыгодно. Каждый раз, когда полицейские прихлопнут в перестрелке кого-нибудь из бандитов, они терпят прямой убыток. Если же бандит удерет, они получают ордер на арест, отмахивают в погоне за беглецами не одну сотню миль, расшвыривают тысячные суммы, выдают расписки направо и налево, а правительство раскошеляется. Так что они гонятся не столько за бандитами, сколько за выгодой.

Перво-наперво в нашем деле надо захватить противника врасплох, лучше этого пока еще ничего не придумано, мысль свою я подкреплю всего одним примером.

Весь 92-й год дэлтонская шайка не давала житья полицейским в районе Чероки-Нейшн. Везло им невероятно, и они стали до того отчаянные и бесшабашные, что завели моду объявлять заранее о своих планах. Один раз они распустили слух, что в ночь на такое-то число они ограбят экспресс компании «Миссисипи – Канзас – Техас» на станции Прайор-Крик.

В ту ночь железная дорога собрала в Маскоги пятнадцать помощников шерифа и посадила на поезд. Мало того, на вокзале в Прайор-Крик в засаде сидело еще пятьдесят вооруженных молодцов.

Однако, когда экспресс прибыл в Прайор-Крик, ни один из дэлтонцев и носу не показал. Эдер, следующая по ходу поезда станция, была от Прайор-Крик за шесть миль. Вдруг на стоянке в Эдере, когда полицейские коротали время, живописуя, как бы они расчихвостили дэлтонцев, попадись те им в руки, они услышали такую пальбу, будто целая армия пошла в наступление. В вагон с криком: «Грабители!» – влетели проводник и тормозной кондуктор.

Одни смельчаки повыскакивали из поезда и пустились наутек. Другие попрятали винчестеры под сиденья. Двое завязали перестрелку и были убиты.

Дэлтонцы за десять минут наголову разбили конвой и захватили поезд. А еще за двадцать минут обчистили почтовый вагон, хапнули двадцать семь тысяч долларов и дали деру.

Я так думаю, что в Прайор-Крик, где полицейские ждали налета, они задали бы жару дэлтонцам, но в Эдере они были захвачены врасплох и одурманены, как и рассчитывали дэлтонцы, а те свое дело знали.

Сдается мне, что в заключение стоит подвести итоги моего восьмилетнего бандитского опыта. Грабить поезда нет расчета. Оставляя в стороне вопросы права и морали – не мне о них судить, – я должен сказать, что жизни бандита не позавидуешь. Деньги вскоре теряют для него цену. Он начинает смотреть на железные дороги как на своих банкиров, а на шестизарядный кольт как на открытый счет. Он швыряется деньгами направо и налево. Чуть не вся его жизнь проходит в бегах, он днем и ночью в седле, когда же ему наконец удастся дорваться до сладкой жизни, у него нет сил ею наслаждаться, так тяжело ему достается в перерывах. Он знает, что рано или поздно он потеряет жизнь или свободу и что отсрочить этот час могут только меткость его стрельбы, быстроногость его коня и преданность его дружка.

И все же нельзя сказать, что бандит живет в страхе перед полицейскими. Полицейские нападают на бандитов, только если тех втрое меньше, исключений из этого правила я не знаю.

Но бандита вечно точит одна мысль – и она ожесточает его пуще всего, – мысль о том, из кого шерифы вербуют себе помощников. Он знает, что в большинстве своем эти стражи закона были в прошлом такими же бандитами, конокрадами, угонщиками скота, разбойниками с большой дороги и налетчиками, как он сам, и что и свою должность, и неприкосновенность они купили ценой выдачи своих сообщников, ценой предательства, купили тем, что обрекли своих товарищей на каторгу и смерть. И он знает, что однажды – если только его не убьют раньше – эти иуды возьмутся за дело, заманят его в ловушку, и он, который так лихо умел застичь противника врасплох, опростоволосится и сам будет застигнут врасплох.

Вот почему бандит выбирает себе сообщников куда разборчивее, чем осмотрительная девушка жениха. Вот почему по ночам он приподнимается и прислушивается к далекому цокоту копыт. Вот почему ему долго не дают покоя случайная шутка, непривычный жест испытанного товарища или невнятное бормотанье ближайшего друга, спящего бок о бок с ним.

И вот почему специальность налетчика куда менее заманчива, чем смежные с ней профессии, – политика или биржевые спекуляции.

Примечания

1

Образа действий (лат.).

Чемпион погоды

Перевод Зин. Львовского

Если бы заговорить о Киова Резервейшен (земля, отведенная для индейцев в С.Ш.А. - прим. пер.) со средним нью-йоркским жителем, он, вероятно, не знал бы: имеете ли вы в виду новую политическую плутню в Альбани, или же лейт - мотив из "Парсиваля"? Но там, в Киова Резервейшен, имеются сведения о существовании Нью-Йорка.

Наша компания выехала на охоту в Резервейшен.

Бед Кингзбюри, наш проводник, философ и друг, как-то ночью, в лагере, жарил на рашпере кусок мяса антилопы. Один из нас, молодой человек с рыжеватыми волосами, в безукоризненном охотничьем костюме, подошел к огню, чтобы закурить папиросу, и небрежно бросил Беду:

- Хорошая ночь!

- Да, - сказал Бед,- хорошая, насколько может быть хорошей всякая ночь, не имеющая рекомендательного штемпеля Бродуэя.

Молодой человек, действительно, был из Нью-Йорка, но всех нас удивило, как Бед это угадал. Поэтому, когда мясо было готово, мы попросили его открыть нам свою систему рассуждений. А так как Бед был нечто в роде территориальной говорильной машины, то он произнес следующую речь:

- Как я узнал, что он из Нью-Йорка? Ну, я сейчас же понял это, как только он бросил мне те два слова.

Я сам был в Нью-Йорке несколько лет назад и отметил некоторые знаки на ушах и следы копыт в ранчо Мангаттан. (М а н г а т т а н - главная часть Нью-Йорка. прим. пер.)

- Нашли Нью-Йорк несколько отличным от Панхендля, не так ли, Бед? спросил один из охотников.

- Не могу сказать,- ответил Бед,- во всяком случае, он поразил меня не более чего-либо другого. На главной тропе в этом городе, называемой Бродуэй, много путников, но почти все они из того же сорта двуногих, какие бродят вокруг Чейенна и Амарильо. Сперва меня как бы ошарашила толпа, но вскоре я сказал сам себе: "Слушай, Бед, они такие же обыкновенные люди, как ты, и Джеронимо, и Гравер Кливлэнд, и ватсоновские парни, так что нечего тебе волноваться и смущаться под твоей попоной". Ко мне вернулись мир и спокойствие, как будто я снова был на земле племени Киева, на пляске призраков или на празднике жатвы.

Я целый год копил деньги, чтобы закрутиться в Нью-Йорке. Я знал человека, по имени Семмерс, который живет там, но не мог найти его, так что мне пришлось в одиночестве вкушать опьяняющие развлечения разжиревшей метрополии.

Некоторое время я был так захвачен суетой и так возбужден электрическим светом и шумом фонографов и воздушных железных дорог, что забыл об одной из насущных нужд моей западной системы природных потребностей. Я никогда не отказывал себе в удовольствии вокального общения с друзьями и чужими. Когда за границами территорий для индейцев я встречаю человека, которого никогда раньше не видел, то уже через девять минут я знаю его доход, его религию, размер воротничка и характер жены, а также сколько он платит за одежду, за пищу и за жевательный табак. У меня дар - не быть скупым на разговоры.

Но этот Нью-Йорк создан на идее воздержания от речи. К концу трех недель никто не сказал мне ни единого слова, за исключением лакея в с'естном учреждении, где я питался. А так как его синтаксические выпаливания были не чем иным, как плагиаризмом карты кушаний, то он никак не мог удовлетворить мои желания, заключавшиеся в том, чтоб кого-нибудь зацепить. Если я стоял рядом с кем-нибудь у бара, он отворачивался и кидал на меня взгляд Бальдвин-Циглера, точно подозревая, что я спрятал в себе северный полюс. Я начал жалеть, что не поехал на каникулы в Абилен или Вако, потому что там, в этих городах, мэр с удовольствием выпьет вместе с вами, а первый встречный скажет вам свое среднее имя и попросит участвовать в лотерее на музыкальный ящик. Однажды, когда я особенно жаждал общения с чем-нибудь более разговорчивым, чем фонарный столб, какой-то человек в кафе говорит мне:

- Прекрасный день!

Он был чем-то в роде распорядителя в этом кафе и, как я полагаю, видел меня там много раз. Лицо у него было рыбье и глаза, как у Иуды, но я встал и обнял его одной рукой.

- Простите,- говорю я,- разумеется, сегодня прекрасный день! Вы-первый джентльмэн в Нью-Йорке, понявший, что сложные формы речи, обращенной к Виллиаму Кингзбюри, не потрачены даром. Но не находите ли вы,-продолжаю я,- что утром было немного свежо, и не чувствуете ли вы, что сегодня будет дождь? Но около полудня была, действительно, восхитительная погода. Все ли благополучно у вас дома? Хорошо ли идут дела в кафе?

Так вот, представьте себе, сэр, что этот тип отворачивается от меня и уходит, не сказав ни слова!

И это после всех моих усилий быть приятным! Я не знал, как и чем это объяснить. В тот же вечер я получил записку от Семмерса, заезжавшего из города; в этой записке он сообщил мне адрес своей стоянки. Я отправляюсь к нему и веду хороший, старого времени, разговор с его домашними. Я рассказываю Семмерсу про поступок этого койота в кафе и прошу его разъяснить мне, что это значит.

- О! - ответил Семмерс,- он вовсе не намеревался начать с вами разговор. Это нью-йоркская манера. Он видел, что вы были частым посетителем его кафе, и сказал вам два-три слова, чтобы показать, что он дорожит вашими посещениями. Вам не следовало продолжать. Дальше этого мы не идем с незнакомыми людьми. Можно, конечно, рискнуть бросить слово или два о погоде, но мы не делаем из этого базиса для дальнейшего разговора и знакомства.

- Билли,- говорю я,- погода и ее разветвления для меня серьезный сюжет! Метеорология - одно из моих слабых мест. Ни один человек не может затронуть при мне вопрос о температуре, или о влажности, или о веселом солнечном сиянии-и вдруг вильнуть хвостом и не довести разговора до конца, т.-е. до падения барометра. Я снова пойду к этому человеку и дам ему урок искусства непрерывного разговора... Вы говорите, что нью-йоркский этикет разрешает ему два слова и не разрешает ответа? Ну, так он превратится у меня в бюро погоды и докончит то, что он начал со мной, попутно делая родственные замечания и о других предметах.

Семмерс отговаривал меня, но я рассердился и поехал по уличной железной дороге обратно в кафе.

Тот молодец еще был там и расхаживал по комнате в роде заднего корралля, где стояли столы и стулья. Несколько человек сидели вокруг стола, пили и насмехались друг над другом.

Я позвал этого человека в сторону, загнал его в угол и расстегнулся достаточно для того, чтобы ему был виден мой тридцативосьмилинейный револьвер, который я носил заткнутым под жилет.

- Извините,- сказал я,- Не так давно я был здесь, и вы воспользовались случаем сказать мне, что сегодня хорошая погода. Когда я попытался подтвердить ваше заявление, вы повернулись ко мне спиной и ушли. А теперь,-говорю я,- продолжайте свою дискуссию о погоде. Слышите вы, помесь шпицбергенской морской кукушки с устрицей в наморднике? Вы, лягушечье сердце, страшась слов.

Молодец смотрит на меня и старается улыбнуться, но, видя, что я не смеюсь, становится серьезным.

- Что ж,- говорит он, не спуская взора с рукоятки моего револьвера:день был почти прекрасный, хотя слишком теплый...

- Дайте подробности, вы, соня с мукой во рту! - говорю я: - дайте мне спецификацию, ярче обведите контуры! Если вы начнете говорить со мной отрывисто, то сами дадите сигнал к буре.

- Вчера было похоже на дождь, но сегодня утром погода разыгралась. Я слышал, что фермерам в северной части штата очень нужен дождь.

- Вот это верный тон! - сказал я. - Страхните с своих копыт нью-йоркскую пыль и станьте настоящим приятным кентавром. Вы сломали лед, и мы с каждой минутой все ближе знакомимся. Мне кажется, я спрашивал вас о вашей семье?

- Все здоровы, благодарю вас,-сказал он.- У нас... у нас новый рояль.

- Вы входите в роль,-говорю я,- ваша холодная замкнутость наконец проходит. Последнее замечание о рояле делает нас почти братьями. Как зовут вашего младшего?-спрашиваю я.

- Томас,- отвечает он.- Он сейчас только поправляется после кори.

- Мне кажется, что я всегда знал вас, - говорю я.- Но еще один вопрос: хорошо ли идут дела в кафе?

- Порядочно, - говорит он. - Я немного откладываю.

- Очень рад, - говорю я. - Теперь возвращайтесь к своему делу и цивилизуйтесь. Оставьте погоду в покое, если не хотите говорить о ней по каким-то личным причинам. Это - сюжет, естественно относящийся к общественности и к заключению новых знакомств... И я не потерплю, чтобы его подносили мелкими дозами в таком городе, как этот.

На следующий день я свернул свои одеяла и пустился в обратный путь из Нью-Йорка. Некоторое время после окончания рассказа Беда мы еще оставались у огня, затем все стали устраиваться на ночь.

Разворачивая свое одеяло, я услышал, как молодой человек с рыжеватыми волосами сказал что-то Беду, и в его голосе звучал страх:

- Как я уже говорил, м-р Кингзбюри, в этой ночи есть что-то, действительно восхитительное. Приятный ветерок, яркие звезды и прозрачный воздух соединились, чтобы сделать ночь удивительно привлекательной.

- Да,- подтвердил Бед: - это прекрасная ночь!

В борьбе с морфием

Перевод Зин. Львовского

Я никогда не мог хорошенько понять, как Том Хопкинс допустил такую ошибку. Он целый семестр, прежде чем наследовал состояние своей тетки, работал в медицинской школе и считался сильным в терапии. Мы в тот вечер вместе были в гостях, а затем Том зашел ко мне, чтобы выкурить трубку и поболтать, прежде чем вернуться в собственную роскошную квартиру. Я на минуту вышел в другую комнату и вдруг услышал, что Том кричит мне;

- Билли, я приму четыре грана хинина, если ты ничего не имеешь против. Я совсем посинел и весь дрожу. Думаю, что простудился.

- Хорошо, - крикнул я в ответ: - банка на второй полке; прими в ложке эвкалиптового эликсира. Он снимает горечь.

Когда я возвратился, мы сели у огня и продолжали разговор. Приблизительно через восемь минут Том откинулся на спинку в легком обмороке. Я сейчас же подошел к шкафу с лекарствами и заглянул в него.

- Ах, ты разиня, разиня - проворчал я. - Вот как действуют деньги на мозг человека! В шкафу стояла банка с морфием в том же положении, в каком Том оставил ее. Я вытащил молодого доктора, жившего этажом выше, и послал его за старым доктором Гельсом, жившим на расстоянии двух кварталов. У Тома Хопксина было слишком много денег для того, чтобы его лечили молодые начинающие врачи.

Когда пришел Гельс, мы проделали над Томом самый дорогой курс лечения, какой только позволяют ресурсы медицинской профессии. После сильно действующих средств мы дали ему цитрат кофеина в частых приемах и крепкий кофе, а также водили его взад и вперед по комнате, между двумя из нас. Старый Гельс щипал его, хлопал по лицу и усиленно старался заработать крупный чек, который уже видел в отдалении.

Молодой доктор с верхнего этажа дал Тому самый сердечный, пробуждающий пинок, а затем извинился предо мной.

- Не мог удержаться, - сказал он. - Никогда в жизни мне не приходилось давать пинок миллионеру и, может быть, никогда больше не придется.

- Теперь, - сказал доктор Гельс через несколько часов: - он поправится. Но не давайте ему засыпать еще час. Вам придется разговаривать с ним и встряхивать время от времени. Когда пульс и дыхание будут нормальны, дайте ему поспать. Я оставляю его на ваши попечения.

Я остался один с Томом, которого мы положили предварительно на кушетку. Он лежал совсем тихо, и глаза его были на половину закрыты. Я начал свое дело, которое заключалось в том, чтобы его в состоянии бодрствования.

- Ну, старина,- сказал я: - ты чуть на тот свет не с'ездил, но мы тебя вызволили. Когда ты слушал лекции, Том, не говорил ли случайно кто-либо из профессоров, что "m-o-r-p-h-i-a" никогда не пишется "quinina", особенно в четырехгранных дозах? Но я не буду громоздить на тебя обвинений, пока ты не станешь на ноги... Тебе следовало бы быть дрогистом, Том: у тебя замечательные способности к распознаванию рецептов. Том взглянул на меня со слабой и глупой улыбкой.

- Билли, - пробормотал он: - я чувствую себя совсем, точно колибри, летающая вокруг кучи самых дорогих роз. Не приставай ко мне. Буду теперь спать.

Через две секунды он уснул. Я потряс его за плечо.

- Ну, Том, - строго сказал я: - так нельзя. Великий доктор сказал, что ты не должен спать еще по крайней мере час. Открой глаза! Ты еще не совсем вне опасности. Проснись!

Том Хопкинс весит сто девяносто восемь фунтов. Он бросил на меня еще одну сонную усмешку и погрузился в еще более глубокий сон. Мне хотелось бы заставить его двигаться, но с таким же успехом я мог бы заставить вальсировать со мной по комнате обелиск.

Дыхание Тома перешло в храп, а это, в связи с отравлением морфием, грозит опасностью. Я стал соображать. Не в силах поднять его тело, я должен постараться возбудить его мозг. "Рассерди его!" - вот мысль, пришедшая мне в голову. "Хорошо, - подумал я, - но как?" Не было ни одной прорехи в кольчуге Тома. Славный малый! Он был само добродушие. Притом благородный, джентльмэн, изящный, верный и чистый, как солнечный свет. Он приехал откуда-то с Юга, где у людей еще имеются идеалы и кодекс нравственности. Нью-Йорк очаровал его, но не испортил. У него сохранилось старомодное рыцарское почитание женщины, которое...

"Еврика!-вот идея!" В минуту или же две я обработал все в своем мозгу. Я мысленно смеялся при мысли, что устрою такую штуку Тому Хопкинсу. Затем я схватил его за плечо и тряс до тех пор, пока он не захлопал ушами. Я принял гневный и презрительный вид и остановил палец на расстоянии двух дюймов от его носа.

- Слушай меня, Хопкинс, - сказал я резко и отчетливо:- мы были с тобою добрыми друзьями, но объявляю тебе, что в будущем моя дверь закрыта для человека, который поступил так подло, как ты... Том как-будто едва-едва заинтересовался.

- В чем дело, Билли? - спокойно спросил он. - Ты не в своей тарелке?

- Был бы, если бы я был на твоём месте,-продолжал я. - Но, слава богу, я не ты; на твоём месте я, кажется, боялся бы закрыть на минуту глаза. Что ты скажешь о девушке, которая ждет тебя там, среди одиноких южных сосен? о девушке, которую ты забыл с тех пор, как получил наследство? О, я знаю, о чем говорю. Пока ты был бедным медицинским студентом, она была достаточно хороша для тебя. Но теперь, когда ты-миллионер, дело другое! Хотел бы я знать, что она думает о поведении того особого класса людей, который ее научили почитать? Что она думает о поведении южного джентльмэна? Мне жаль, Хопкинс, что я принужден говорить об этом, но ты хорошо скрывал это и так прекрасно сыграл свою роль, что я считал тебя выше подобных уловок, недостойных мужчины!

Бедный Том! Я едва мог удержаться от смеха, глядя, как он борется с действием наркоза. Видно было, что он сердит, и я не осуждал его за это. У Тома был южный темперамент. Его глаза были открыты, и в них промелькнули один-два проблеска огня. Но снадобье все еще заволакивало его мозг и связывало язык.

- Пр-провались ты, - заикаясь, произнес он: - я тебя поколочу.

Он пытался подняться с дивана. Несмотря на объём, он был теперь очень слаб. Я уложил его обратно одной рукой. Он лежал, сверкая глазами, точно лев в западне.

- Это удержит тебя некоторое время, старый негодяй, - сказал я самому себе. Я встал и разжег трубку, так как хотел покурить, а после того заходил взад и вперед по комнате, поздравляя себя с блестящей идеей.

Вдруг послышался храп. Я оглянулся. Том снова уснул. Я подошел и толкнул его под челюсть. Он посмотрел на меня с довольным и доброжелательным видом идиота. Я пожевал трубку и снова резко заговорил:

- Я требую, чтобы ты поднялся и убрался от меня, как можно скорее,-сказал я оскорбительным тоном.- Я уже сказал, что думаю о тебе. Если у тебя осталась какая-либо честь

или честность, ты дважды подумаешь, прежде чем явиться в общество джентльменов. Она - бедная девушка, не так ли? - с насмешкой сказал я: - слишком простая и неподходящая для нас с тех пор, как мы разбогатели? Стыдно было бы гулять с ней по Пятой авеню, не правда ли? Хопкинс, ты в сорок семь раз хуже всякого хама. Кому нужны твои деньги? Не мне! Готов поручиться, что и той девушке они тоже не нужны. Может быть, ты был бы больше мужчиной, если бы не имел их. Теперь ты сделался подлецом и... - я подумал, что это очень драматично: - может быть, разбил преданное сердце. (Том Хопкинс, разбивающий верное сердце!) Дай мне освободиться от тебя возможно скорее!

Я повернулся спиной к Тому и подмигнул самому себе в зеркало. Услышав, что он шевелится, я быстро обернулся: я не хотел, чтобы сто девяносто восемь фунтов упали на меня с тыла. Но Том только немного повернулся и закрыл лицо рукой. Он произнес несколько слов немного яснее, чем прежде.

- Я бы не говорил таким образом с тобой, Билли, если бы даже слышал, что люди лгут о тебе. Но как только я смогу встать, я сломаю тебе шею. Не забудь этого.

Мне стало немного стыдно. Но ведь я хотел спасти Тома! Утром, когда я все раз'ясню ему, мы вместе посмеемся над этим.

Минут через двадцать Том уснул здоровым, спокойным сном. Я пощупал пульс, прислушался к дыханию и разрешил ему спать. Все было нормально, и Том был спасен. Я ушел в другую комнату и упал в постель.

Когда я проснулся на следующее утро, Том уже встал и оделся. Он был совсем здоров, если не считать расстроенных нервов и языка, похожего на щепку белого дуба.

- Каким я был идиотом! - сказал он в раздумьи. - Я помню, что, когда я брал лекарство, то думал, как странно выглядит банка с хинином. Очень много было хлопот, чтобы спасти меня?

Я ответил отрицательно. Его память, по-видимому, была плоха по отношению ко всему происшедшему. Я заключил, что он не помнит о моих усилиях не давать ему спать, и решил ничего пока не говорить ему. "Когда-нибудь позже, - думал я, - когда ему будет лучше, мы вместе посмеемся над этим".

Собравшись уходить, Том остановился в открытой двери и пожал мне руку.

- Благодарю, старина, - сказал он: - за твои хлопоты обо мне и за то, что ты сказал. Я иду сейчас телеграфировать той бедной девушке.

Призрак возможности

Перевод Зин. Львовского

- Подумайте, рогулька! - патетически воскликнула миссис Кинсольвинг.

Миссис Беллами Бэлмор приподняла брови в знак симпатии. Этим она выражала соболезнование и большую дозу явного удивления.

- Вообразите: она везде рассказывает, - повторяла миссис Кинсольвинг: - что видела приведение в той комнате, которую занимала здесь, - в нашей лучшей комнате для гостей! Она будто бы видела привидение, несшее на плечах рогульку с киопичами, призрак старика в блузе, курящего трубку и носящего кирпичи! Бессмыслица всего этого указывает на злой умысел. Никогда не существовало Кинсольвинга, носящего рогульку с кирпичами. Все знают, что отец мистера Кинсольвинга нажил состояние крупными строительными подрядами, но он ни одного дня не работал собственными руками.

Этот дом он построил по им лично разработанному плану.

Но рогулька! Зачем ей понадобилось быть такой жестокой и недоброжелательной?

- Это действительно ужасно - прошептала миссис Бэлмор, бросая одобрителный взгляд красивых глаз на обширную комнату, отделанную лиловым с темным золотом.

- И она видела его в этой комнате? О, нет, я не боюсь привидений! Не бойтесь и вы за меня! Я рада, что вы поместили меня здесь. Семейные привидения кажутся мне чрезвычайно интересными. Но, право же, история эта несколько непоследовательна. Я ожидала чего -нибудь получше от миссис Фишер - Сьюмпкинс. Ведь в рогулке носят кирпичи, не правда ли?

Зачем же носить кирпичи в виллу, построенную из мрамора и камня? Мне очень жаль, но приходится думать, что годы отзываются на м-с Фишер-Сюймпкинс.

- Этот дом, - продолжала миссис Кинсольвинг, - построен на месте старого, в котором семья мужа жила во время революции. Нет ничего удивительного, если бы в нем и было привидение. Существовал капитан Кинсольвинг, сражавшийся в армии генерала Грина, но мы никогда не могли раздобыть документы, подтверждающие это. Если уж должно быть фамильное привидение, то почему не капитана, а какого-то каменщика?

- Призрак предка - революционера, это недурная идея, - согласилась мс Бэлмор; - но вы знаете, как капризны и неосмотрительны бывают привидения! Может быть, они, как любовь, "зарождаются во взгляде". У видевших привидение одно преимущество - их рассказ не может быть опровергнут. Недоброжелательному взгляду ранец революционера легко мог показаться рогулькой. Не думайте больше об этом, дорогая миссис Кинсольвинг. Я уверена, что это был ранец.

- Но она всем рассказала, - горевала миссис Кинсольвинг. - Она настаивала на подробностях. Во-первых - трубка. А как вы вылезете из блузы?

- Да я и влезать не буду в нее! - сказала м-с Бэлмор, с мило заглушенным зевком: - уж слишком она жестка и морщит! Это вы, Феллис. Пожалуйста, приготовьте мне ванну. Вы в Клиффтоне обедаете в семь часов, м-с Кинсольвинг? Так мило, что вы зашли поболтать перед обедом. Мне нравятся эти маленькие нарушения формальностей с гостями. Они придают посещению такой домашний характер. Очень жаль, но мне нужно одеваться. Я так ленива, что всегда откладываю это до самой последней минуты.

М-с Фишер была первой крупной сливой, которую Кинсольвинги вытащили из общественного пирога. Долгое время сам пирог, находясь на верхней полке, был недосыгаем. Но кошелек и настойчивость постепенно опустили его. Мс Фишер-Сюймпкинс была гелиографом парадирующих групп высшего общества. Блеск ее остроумия и действий проходил по всей линии, передавая в раек все самое последнее и самое смелое. Первоначально ее слава и авторитет были достаточно прочны, чтобы не нуждаться в поддержке таких фокусов, как раздача живых лягушек в котильоне. Но теперь подобные штуки были необходимы для прочности ее трона. Наступил средний возраст, не соответствовавший ее чудачествам. Сенсационные газеты урезали место, занимаемое ею, с целой страницы до двух столбцов. Ум ее стал язвительным, манеры - грубыми и бесцеремонными. Она, как - будто, чувствовала настоятельную необходимость установить свою автократию, бросая вызов условиям, связывавшим менее могущественных властителей.

Благодаря давлению, которое могли оказывать Кинсольвинги, она согласилась снизить до того, что удостоила их дом своим присутствием на один вечер и ночь. Она отомстила хозяйке дома тем, что со свирепым удовольствием и саркастической иронией рассказывала историю о привидении с рогулькой на спине. Для миссис Кинсольвинг, бывшей в восторге от того, что она проникла так далеко в доселе недосыгаемый круг, этот результат явился страшным разочарованием. Все выражали соболезнование или смеялись, и не было выбора между этими двумя способами реагирования.

Надежды м-с Кинсольвинг ожили, когда ей удалось получить второй и более куупный козырь.

Миссис Беллами Бэлмор приняла приглашение посетить Клиффорд и остаться там три дня. М-с Бэлмор принадлежала к более молодым дамам. Ее красота, происхождение и богатство обеспечивали ей особое место в святой-святых общества, и она могла удержать это место без особых усилий. Она была так великодушна, что пожертвовала м-с Кинсольвинг поцелуй, чего та так страстно желала. В то же время она думала: как это понравится Тиренсу? Может быть, это заставит его решиться.

Тиренс был сын мс Кинсольвинг - двадцати девяти лет, достаточно красивый и обладавший двумя или тремя загадочными и вместе привлекательными чертами. Во-первых, он очень любил свою мать, и это было достаточно странно для того, чтобы обратить на себя внимание. Затем он говорил так мало, что это не могло не раздражать, и казался или очень робким, или очень глубоким. М-с Бэлмор не могла решить, что вернее. Вот почему Тиренс интересовал ее. Она намеревалась изучать его более продолжительное время, если только не забудет об этом.

Если он робок, она бросит его, так как робость скучна. Если же он глубок, она бросит его, потому что глубина не надежна.

Как-то днем, на третий день пребывания мс Бэлмор, Тиренс искал ее и нашел в уголке, где она рассматривала альбом.

- Так мило с вашей стороны,- сказал он,- что вы приехали сюда и вернули нам солнечный свет. Я думаю, что вы слышали, как м-с Фишер продырявила судно прежде, чем высадиться. Она рогулькой выбила целую доску из днища. Моя мать больна с горя. Не можете ли вы, мс Бэлмор, постараться увидеть привидение, пока вы здесь? Шикарное, пышно одетое привидение, с коронкой на голове и чековой книжкой под мышкой.

- Какая скверная старуха, Тиренс, рассказывает такие истории! сказала мс Бэлмор. - Может быть, вы слишком хорошо накормили ее ужином? Неужели ваша мать серьезно огорчилась этим?

- Кажется, да, - ответил Тиренс. - Можно подумать, что все кирпичи из рогульки упали на нее. Мамочка моя - славная, и мне тяжело видеть, что она огорчена. Надо надеяться, что дух принадлежит к союзу каменщиков и устроит забастовку. Если этого не случится, то в нашей семье не будет покоя.

- Я ночую в комнате привидения,- задумчиво сказала м-с Бэлмор,- она такая хорошенькая, что я не хотела менять ее, даже если бы боялась духа, чего на самом деле нет. Пожалуй, не хорошо будет рассказывать подобную историю, хотя бы и с более аристократическим оттенком, не правда ли? Я бы с удовольствием сделала это, но боюсь, что это найдут слишком очевидным противоядием к... первоначальному рассказу и не поверят.

- Правда,- сказал Тиренс, запуская в задумчивости два пальца в свои курчавые темные волосы,- из этого ничего не выйдет.- Что, если бы увидеть снова того же деда, минус блуза и с золотыми кирпичами в рогулке? Это вознесло бы призрак из области унижительного труда в финансовые сферы. Как вы думаете: это будет достаточно респектабельно?

- У вас был предок, сражавшийся против англичан, не так ли? Ваша мать говорила что-то в этом роде.

- Кажется, что был. Один из этих стариков в камзоле юбкой и панталонах для гольфа. Для меня все это великолепие само по себе не имеет значения. Но мать моя очень любит помпу и родословные, и пиротехнику, а я желаю видеть ее счастливой.

- Вы хороший сын, Тиренс,- сказала м-с Бэлмор, подбирая свое шелковое платье к одной стороне.- Это хорошо, что вы не допускаете вашу мать до волнений. Садитесь рядом со мной и давайте вместе осматривать альбом, как это делали двадцать лет назад. Рассказывайте мне о каждом из них. Кто этот высокий, важный джентльмэн, прислонившийся к задней стене и держащий руки на коринфской колонне?

- Старик с длинными ногами? - спросил Тиренс,, нагибаясь:- это двоюродный дед, О'Бренниган. Он содержал пивную на Бауэри-Стрит.

- Я просила вас сесть, Тиренс. Если вы не будете занимать меня и слушаться, то я утром заявлю, что видела привидение в фартуке, несущее две кружки пива.

Ну вот, так лучше. В ваши годы, Тиренс, стыдно быть таким робким.

За завтраком, в последний день пребывания, м-с Бэлмор поразила и заинтересовала всех присутствующих категорическим заявлением, что видела духа.

- Была у него..? - в ожидании и волнении м-с Кинсольвинг не могла выговорить слова.

- Нет, напротив.

Остальные присутствующие за столом хором забросали ее вопросами:

-И вы не испугались? - Как оно выглядело? - Как оно было одето? Сказало оно что-нибудь?

- Вы не закричали?

- Постараюсь ответить на все сразу,- сказала мс Бэлмор с героическим видом.- Хотя я ужасно голодна! Что-то разбудило меня; не знаю, был ли то шум, или прикосновение,- и призрак стоял около меня.

- У меня никогда не горит свет ночью, так что комната была совершенно темной, но я ясно видела его. Это не был сон. Предо мной стоял высокий человек, окутанный белым туманом от головы до ног. На нем был полный костюм старого колониального времени: напудренные волосы, широкополый камзол, кружевные манжеты и шпага. Он казался неосязаемым,

светился во мраке и совершенно беззвучно двигался. Да, сперва я была немного испугана, вернее, поражена. Это - первое привидение, какое мне случилось когда-либо видеть. Нет, я ничего не сказала ему. Я не кричала. Я поднялась на локте, а оно безмолвно проскользнуло мимо меня и исчезло в дверях.

М-с Кинсольвинг была на седьмом небе.

- Это - портрет капитана Кинсольвинга из армии генерала Грина, одного из наших предков! - сказала она, и голос ее дрожал от волнения и гордости. - Мне приходится извиниться за нашего призрачного родственника, м-с Бэлмор; боюсь, что он сильно нарушил ваш покой.

Тиренс послал своей матери улыбку поздравления и довольствия. Наконец мс Кинсольвинг достигла цели, ему было приятно видеть ее счастливой.

- Мне, вероятно, следовало бы стыдиться сознания,- Сказала миссис Бэлмор, с удовольствием кушавшая свой завтрак,- что я не была особенно смущена. Мне, кажется, нужно было кричать или упасть в обморок, чтобы все вы забегали вокруг меня в живописных костюмах.

Но, когда прошло первое удивление, я, право, не могла довести себя до паники. Призрак удалился со сцены мирно и спокойно, завершив свой небольшой обход, и после того я снова заснула. Почти все слушали, вежливо принимая рассказ мс Бэлмор за выдумку, великодушно преподнесенную в противовес злостному видению мс Фишер-Сюймпкинс. Но один или двое из присутствующих заметили, что утверждения ее носили искренний характер. Правда и чистосердечие сквозили в каждом ее слове. Даже насмехающийся над привидением - если бы он был очень наблюдателен - должен был бы допустить, что она, действительно, видела волшебного посетителя, хотя бы во сне. Вскоре горничная м-с Бэлмор начала укладывать ее вещи. Через два часа должен был прибыть автомобиль, чтобы отвезти гостью на станцию.

Когда Тиренс прогуливался по западной террасе, м-с Бэлмор подошла к нему с конфиденциальным блеском в глазах.

- Я не хотела рассказывать всем остальным,- сказала она,- но вам я скажу. Мне кажется, вы некоторым образом за это ответственны. Вы знаете, каким образом призрак разбудил меня вчера ночью?

- Он гремел цепями? - спросил Тиренс, - или стонал? Они обыкновенно делают то или другое.

- Не знаете ли вы,- продолжала м-с Бэлмор с внезапной непоследовательностью, - не похожа ли я на какую-нибудь родственницу вашего беспокойного предка, капитана Кинсольвинга?

- Не думаю, - ответил Тиренс с чрезвычайно удивленным видом. Никогда не слышал, чтобы которая-нибудь из них была известной красавицей.

- Тогда почему же это привидение поцеловало меня в чем я совершенно уверена? - спросила мс Бэлмор, глядя серьезно в глаза молодого человека.

- Боже мой! - воскликнул Тиренс, широко раскрыв глаза от удивления. Не может быть, м-с Бэлмор! Неужели он, действительно, поцеловал вас?

- Я сказала "оно",- поправила мс Бэлмор.- Надеюсь, что безличное местоимение употреблено правильно.

- Но почему вы сказали, что я ответствен?

- Потому что вы - единственный живой мужской потомок духа.

- Понимаю! До третьего и четвертого колена! Но серьезно! Правда, вы думаете, что он или оно-как вы..?

- Думаю, как всякий думает. Я спала и это разбудило меня: я в этом почти уверена.

- Почти?

- Да, я проснулась как раз тогда. Неужели вы не понимаете, что я хочу сказать? Когда что-нибудь внезапно разбудит вас, вы не совсем уверены: видите ли это вы во сне, или на-яву, и все-таки вы знаете, что... боже мой, Тиренс, неужели мне нужно анализировать самые элементарные ощущения, чтобы удовлетворить ваш невероятно практический ум?

- Относительно поцелуев привидений,- сказал смиренно Тиренс,- Я нуждаюсь в самом элементарном обучении. Я никогда не целовал духа. Какое это..?

- Ощущение?- сказала м-с Бэлмор, с предумышленным, слегка насмешливым ударением.- Если вы ищете знаний, то могу вам сказать, что это - смесь материального с духовным.

- Должно быть,- сказал Тиренс, внезапно став серьезным,-это был сон и нечто вроде галлюцинации. Никто в наше время не верит в духов. Если вы рассказали эту историю по доброте сердечной, м-с Бэлмор, то не могу выразить, как я признателен. Это совсем осчастливило мою мать. Ваш революционный предок - изумительная идея.

М-с Бэлмор вздохнула.

- Моя участь общая со всеми духовидцами,- покорно сказала она.- Моя изумительная встреча с духом приписывается салату из омаров или обману. У меня по крайней мере осталось от видения одно воспоминание- поцелуй из невидимого мира. Вы не знаете, Тиренс, был ли капитан Кинсольвинг очень смелым?

- Он, кажется, был убит при Иорктоуне, - сказал Тиренс, припоминая. - Говорят, что он удрал со своей ротой после первого сражения.

- Мне кажется, он был робок,- рассеянно произнесла мс Бэлмор:- он мог бы выдержать второй.

- Второй бой?-тупо спросил Тиренс.

- О чем же другом я могла бы говорить? Теперь мне пора собираться, автомобиль будет здесь через час.

Какое прекрасное утро,- не правда ли, Тиренс?

По дороге на станцию мс Бэлмор вынула из саквояжа шелковый носовой платок и загадочно взглянула на него. Затем завязала на нем несколько крепких узелков и бросила его, в подходящую минуту, через скалу, вдоль которой вилась дорога.

Тиренс, в своей комнате, отдавал приказания лакею Бруксу:

- Заверните весь этот хлам в пакет и отправьте по адресу, указанному на этой карточке.

Это была карточка нью-йоркского костюмера. "Хлам" состоял из мужского костюма XVIII века, белого атласа с серебряными пряжками, из белых шелковых чулок и белых же лайковых туфель. Пудренный парик и шпага дополняли костюм.

- Поищите, Брукс, - немного тревожно прибавил Тиренс, - не найдете ли вы шелковый платок с моей меткой в углу? Я, должно быть, обронил его где-нибудь.

Месяц спустя м-с Бэлмор с одной или двумя дамами из эlegantного общества составляла список приглашенных на поездку в экипажах через Котскайль. Она просматривала список для окончательной цензуры. В нем стояло имя Тиренса Кинсольвинга. М-с Бэлмор слегка провела по имени своим цензорским карандашом.

- Слишком робок, - мило прошептала она в виде об'яснения.

Дверь, не знающая покоя

Перевод Зин. Львовского

Я сидел час, по солнцу, в кабинете редактора "Еженедельной Трубы" в Монтополисе.

Редактором был я.

Шафранные лучи убывающего солнечного света пробивались сквозь хлебные скирды на садовом участке Микаджа-Виддеп и бросали янтарное сияние на мой горшочек с клейстером.

Я сидел перед конторкой на невращающемся винтовом стуле и писал передовицу против олигархии. Комната с единственным окном уже делалась добычей сумерек. Моими острыми фразами я срезал, одну за другой, головы политической гидры и в то же время, полный благожелательного мира, прислушивался к колокольчикам бредущих домой коров и старался угадать, что м-с Фланаган готовит на ужин.

И вдруг из сумеречной тихой улицы появился и склонился над углом моей конторки младший брат старика Времени. Его безбородое лицо было сучковато, как английский орешник. Я никогда не видел одежды, подобной той, что была на нем. Рядом с ним одежда Иосифа показалась бы одноцветной. Но не красильщик создал эти цвета. Пятна, заплаты, действие солнца и ржавчины были причиной их разнообразия. На его грубых сапогах ясно

лежала пыль от тысячи пройденных лиг. (лига - три мили. Прим, перев.) Я не могу дольше описывать его, но скажу еще, что он был небольшого роста, хил и стар, - так стар, что я стал считать его годы столетиями. Да, я помню еще, что чувствовался запах, едва ощутимый запах, похожий на алоэ или мирру или, возможно, на кожу, - и я подумал о музеях.

Я схватил бювар и карандаш, потому что дело не ждет, а посещения древних обитателей, - посещения почетные и священные, - должны быть занесены в хронику.

- Рад видеть вас, сэр, - сказал я. - Я хотел бы предложить вам стул, но, видите ли, продолжал я: - я прожил в Монтополисе всего три недели и знаком с немногими из здешних граждан. - Я кинул неуверенный взгляд на его покрытые пылью сапоги и заключил газетной фразой:

- Предполагаю, что вы живете в нашей среде. Мой посетитель пошарил в своей одежде, вытащил

засаленную карточку и неуверенно вручил ее мне. На ней простым, но нечетким почерком было написано имя "Майкоб Адер".

- Я рад, что вы зашли, м-р Адер, - сказал я. - В качестве одного из наших старейших горожан, вы с гордостью должны смотреть на рост Монтополиса за последнее время. Среди других улучшений я, кажется, могу обещать, что город будет снабжен живой, интересной газетой.

- Знакомо вам это имя на карточке? - спросил посетитель, прервав меня.

- Нет, мне не приходилось его слышать.

Снова он поискал в своей древней одежде. На этот раз он вытащил вырванный из какой-то книги листок, потемневший и тонкий от времени. На верху страницы стояло название "Турецкий Шпион", старомодным шрифтом. Напечатано было следующее:

"В 1643 году в Париж является человек, который утверждает, что жил все эти шестнадцать веков. Он рассказывает про себя, что был сапожником в Иерусалиме во время распятия. Что имя его Майкоб Адер и что, когда Иисус, мессия христиан, был осужден Понтием Пилатом, римским наместником, он, неся крест к месту распятия, остановился отдохнуть у дверей дома Майкоба Адера. Сапожник ударил Иисуса кулаком, сказав: "Иди, чего ты мешкаешь?" На что мессия ответил ему: "Я ухожу, но ты будешь ждать, пока я не приду".

Этим он обрек его жить до судного дня. Он живет вечно, но в конце каждого столетия с ним случается припадок или транс, после чего к нему возвращается возраст, в каком он был во время страданий Христа, а было ему тогда около тридцати лет. Такова история Майкоба Адера - Вечного Жида, который говорит..."

Здесь рукопись обрывалась.

Я, должно-быть, что-нибудь громко произнес насчет Вечного Жида, потому что старик заговорил громко и с горечью.

- Это ложь, - сказал он, - как девять десятых того, что называется историей. Я - язычник, а не еврей. Я пришел пешком из Иерусалима, сын мой. Но если это делает меня евреем, тогда все, что выливается из бутылки, - детское молоко. Мое имя - на карточке, которая у вас в руках. Вы прочли также кусок газеты, называемой "Дурацкий Шпион", которая напечатала это известие, когда я вошел в ее редакцию в 19-й день июня в 1643 году. Это произошло почти так же, как я посетил вас сегодня.

Я положил карандаш и бювар. Ясно, что из этого ничего не выйдет. Могло бы выйти кое-что для столбца местных известий в "Трубе". Но такой материал не подойдет. Однако отрывки мыслей, касающихся этой невероятной "личности", стали пробегать по моему специфическому мозгу. "У дяди Майкоба такие же проворные ноги, как у юноши тысячи лет или около того"... "Наш великий посетитель рассказывает, что Георг Вашинг... нет, Птоломей Великий качал его на коленях в доме его отца". "Дядя Майкоб говорит, что наша сырая весна ничто в сравнении с сыростью, которая погубила урожай вокруг горы Арарат, когда он был мальчиком". Но нет, нет, из этого ничего не выйдет.

Я старался найти тему разговора, которая могла бы заинтересовать моего посетителя, и колебался между состязанием в ходьбе и плиоценовым периодом, как вдруг старик начал горько и мучительно плакать.

- Ободритесь, м-р Адер,-сказал я, несколько смущенный. - Все это может выясниться через несколько сот лет. Уже наступила явная реакция в пользу Иуды Искарриота, полковника Берра и известного скрипача Нерона. Наше время - время обеления. Вам не следует падать духом...

Сам того не сознавая, я затронул в нем слабую струну. Старик воинственно сверкнул глазами сквозь старческие слезы.

- Пора,-сказал он,-чтобы лжецы кой-кому воздали должное. Ваши историки-то же самое, что кучка старух, болтающих на паперти храмов. Из людей, носивших сандалиии, не было человека лучше императора Нерона. Я был при пожаре Рима. Я хорошо знал императора, так как в те времена был известным лицом. Тогда почитали человека, который живет вечно. Но я хотел рассказать вам об императоре Нероне. Я вошел в Рим по Аппиевой дороге ночью июля 16 года 64. Я только что прибыл в Италию через Сибирь и Афганистан; одна нога у меня была отморозена, а на другой был пузырь от ожога песками пустыни. Я чувствовал себя довольно скверно, неся обязанности патруля от Северного полюса до крайней точки Патагонии, и в придачу неправильно считаясь евреем. Так вот, я проходил мимо цирка. Дорога была темная, как деготь. Вдруг слышу, кто-то кричит: "Это ты, Майкоб?"

Прислонившись к стене, спрятанный между старых ящиков из-под мануфактуры, стоял император Нерон в тоге, обернутой вокруг ног, и курил длинную черную сигару.

"-Хочешь сигару, Майкоб?*" сказал он.

"-Это зелье не для меня,-говорю я.-Ни трубка, ни сигара! Какая польза от курения, если нет и тени возможности убить себя этим?"

"- Правильно, Майкоб Адер, мой постоянный жид,- сказал император,-ты всегда путешествуешь. Верно, что опасность, а также и запрещение придают вкус нашим удовольствиям". "- Почему же,-говорю я,-вы курите ночью в темных местах, и вас не сопровождает хотя бы центурион в гражданском платье?"

"- Слышал ты когда-нибудь, Майкоб,- говорит император,- о предопределении?"

"- Я больше знаю о нашем хождении,- ответил я,- это вам хорошо известно". - Это говорит мой друг Нерон,- учение новой секты людей, которых зовут христиане; они ответственны за то, что я курю по ночам в потемках в разных дырах и углах". "Тогда я сажусь, снимаю пару сапог и тру отморозенную ногу, а император рассказывает мне. Повидимому, с тех пор, как я раньше проходил по этой дороге, император потребовал развода у императрицы, а миссис Поппея, знаменитая лэди, была приглашена, без рекомендаций, во дворец.

В один день,- говорит император,- она вешает чистые занавесы во дворце и записывается в противотабачный кружок. И когда я чувствую потребность покурить, я должен прокрадываться в потемках к кучам этого хлама".

"И так мы продолжали сидеть, император и я, и я рассказывал ему о моих странствиях. И когда утверждают, что император был поджигателем, то лгут. В эту ночь начался пожар, который уничтожил Рим. По моему мнению, он начался от окурка сигары, который император бросил между ящиками. Ложь также и то, что он в это время играл на скрипке. Он шесть дней делал все возможное для того, чтобы остановить пожар, сэр".

Теперь я обнаружил новый запах у мистера Майкоба Адера. Я обонял не мирру, не бальзам или иссоп. Нет,- эманация была запахом скверного виски и - что было еще хуже! - душком комедии того сорта, какую мелкие юмористы публикуют, одевая серьезную и почтенную сущность легенды и истории в вульгарную мещанскую ветошь, сходящую за некоторый род остроумия.

Я мог переносить Майкоба Адера, как самозванца, выдающего себя за тысячадевятисотлетнего старика и играющего свою роль с приличием respectableного умопомешательства. Но в роли шутника, понижающего ценность своей замечательной истории легкомыслием водевилиста, его значение уменьшалось.

Вдруг, как бы угадав мои мысли, он переменял тон.

- Простите, меня, сэр,-захныкал он:- у меня иногда путается в голове; я очень стар и не могу все запомнить...

Я понимал, что он прав, и что мне не следует пытаться примирить его с римской историей; поэтому я начал спрашивать его о других древних личностях, с которыми он был близок в своих странствованиях.

Над моей конторкой висела гравюра, изображавшая рафаэлевских херувимов. Еще можно было различить их формы, хотя пыль причудливыми пятнами изменяла их контуры.

- Вы называете их херувимами,- прокудахтал старик,- вы представляете их себе с крыльями, в виде детей. А есть еще другой херувимчик, на ногах, с луком и стрелами, которого вы зовете "Купидон". Я знаю, где их нашли. Их пра-пра-прадед был козел. Как редактор, сэр, вы, вероятно, знаете, где стоял Соломонов храм.

Мне казалось, что в... в Персии. Впрочем, я не знал наверно.

- Ни в истории, ни в библии не сказано, где он стоял. Первые изображения херувимов и купидонов были высечены на его стенах и колоннах. Два самых больших, сэр, находились в самой священной части храма, поддерживая балдахин над ковчегом, Но вместо крыльев, у них были рога, а лица были козлиные. Внутри и вокруг храма насчитывалось десять тысяч козлов. Ваши херувимы были козлами во времена Соломона, но живописцы ошибочно переделывали рога в крылья. "Я также очень хорошо знал Тамерлана, хромого Тимура. Это был небольшой человечек, не крупнее вас, с волосами цвета янтарного чубука у трубки. Он похоронен в Самарканде. Я был на похоронах, сэр. О, в гробу это был прекрасно сложенный человек, длиною в шесть футов, с черными баками. "Я помню также, как в Африке бросали репами в императора Веспасиана.

Я исходил весь свет, сэр, без малейшего намека на отдых. Так мне было приказано! Я видел разрушение Иерусалима и гибель Помпеи при извержении. Я был на коронации Карла Великого и на линчевании Жанны д'Арк... И куда бы я ни пошел, везде начинались бури и революции, эпидемии и пожары. Так было приказано. Вы слышали о Вечном Жиде? Все верно, за исключением того, что я еврей. Но история лжет, как я уже говорил вам. Уверены ли вы, сэр, что у вас нет капельки виски? Вы хорошо знаете, что мне предстоит еще много миль дороги".

- У меня нет никакого виски,- сказал я,- и, извините, я собираюсь ужинать. Этот древний бездельник становился сущим наказанием. Он вытряхнул затхлые испарения из своей древней одежды, опрокинул чернильницу и продолжал нести свою нестерпимую околесицу.

- Я не обращал бы на это внимания,- жаловался он,- если бы не работа, которую я должен исполнять в страстную пятницу. Вы, сэр, конечно, знаете, про Понтия Пилата. Когда он покончил с собой, тело его было выброшено в озеро на Альпийских горах. Теперь послушайте, какую работу я должен исполнять каждую страстную пятницу. Старый дьявол спускается в озеро и вытаскивает Пилата, а вода кипит и брызжет, как в кипятельном котле. Старый дьявол сажает тело на трон на скалах, и тут-то начинается мое дело.

О, сэр, вы пожалели бы меня! Помолились бы за Вечного Жида, который никогда не был жидом, если бы видали весь ужас того, что я должен делать. Я должен принести чашу с водой и стоять перед ним на коленях, пока он моет руки. Заявляю вам, что Понтий Пилат - человек, умерший двести лет назад, вытасченный вместе с покрывающей его тиной, без глаз и с рыбами, вьющимися внутри его, и с разлагающимся телом, сидит на троне, сэр, и моет руки в чаше, которую я держу пред ним каждую страстную пятницу. Так было приказано!

Ясно, что сюжет далеко вышел из рамок столбца местных происшествий в "Трубе". Может быть, здесь бы нашел работу врач по душевным болезням или же человек, который вербует членов в общество трезвости, но с меня было достаточно: я встал и повторил, что должен уйти.

При этих словах он схватил меня за скюртук, заползал по конторке и снова разразился безутешными рыданиями. "В чем бы ни заключалось его горе, подумал я,- оно должно быть искренним".

- Ну, м-р Адер,-сказал я успокаивающим тоном:- в чем же дело?

Он ответил прерывающимся голосом, сквозь мучительные рыдания:

- Потому только, что я не хотел дать бедному Христу отдохнуть на ступенях.

На его галлюцинацию, повидимому, не могло быть разумного ответа, однако действие ее на него вряд ли заслуживало презрения. Но, не зная ничего, что могло бы облегчить страдания старца, я снова сказал, что обоим нам надо уходить из конторы.

Послушавшись, он поднялся наконец с моей конторки и позволил мне, полуприподняв, поставить его на пол. Исступление горя лишило его языка; свежесть слез отмочила кору горя.

Память умерла в нем, по крайней мере, ее связная часть. - Я сделал это, - бормотал он, когда я вел его к двери, - я - сапожник из Иерусалима. Я вывел его на тротуар и при более сильном свете увидел, что лицо его иссушено, морщинисто и искажено печалью, которая не могла быть результатом одной лишь жизни. И вдруг в темном небе мы услышали резкий крик каких-то больших пролетающих птиц. Мой Вечный Жид поднял руку, наклонив при этом голову в сторону.

- Семь Свистунов,-сказал он, как бы представляя давнишних друзей.

- Дикае гуси,-ответил я, но признаюсь, что определить их число было выше моих сил.

- Они всюду следуют за мной,-сказал он.-Так было приказано! То, что вы слышите,-души семи евреев, помогавших при распятии. Иногда они бывают куликами, иногда гусями, но вы всегда увидите их летящими туда, куда я иду.

Я стоял, не зная, как распрощаться. Я посмотрел вниз по улице, переступил с ноги на ногу, снова оглянулся и почувствовал, что волосы мои становятся дыбом. Старик пропал. Вскоре волосы мои опустились,-я смутно видел, как он удалялся з потемках. Но шел он так быстро и беззвучно, походкой настолько не соответствующей его возрасту, что спокойствие мое было не совсем восстановлено, хотя я и не знал, почему. В тот вечер я был так безрассуден, что снял со своих скромных полок несколько покрытых пылью книг. Я тщетно искал "Hermippus Redivvus", и "Salathiel", и "Pepis Collection". А затем в книге, озаглавленной "Гражданин Мира", и в другой, вышедшей двести лет назад, я напал на то, что искал.

Майкоб Адер, действительно, посетил Париж в 1643 году и рассказал "Турецкому Шпиону" необыкновенную историю. Он претендовал на то, что он Вечный Жид, и что...

Тут я заснул, так как мои редакторские обязанности в этот день были не легки.

Судья Хувер был кандидатом "Трубы" в члены конгресса. Имея надобность переговорить с ним, я зашел к нему рано на следующий день. Мы пошли вместе в город по маленькой улочке, которой я не знал.

- Слыхали вы когда-нибудь о Майкобе Адере?- спросил я его, улыбаясь.

- Да, конечно,- ответил судья:- кстати, это напомнило мне о башмаках, находящихся у него в починке. Вот его лавчонка!

Судья Хувер зашел в грязную маленькую лавчонку. Я посмотрел на вывеску и увидел на ней надпись: "Майк О'Бадер, сапожный и башмачный мастер". Несколько диких гусей с резким криком пролетело в вышине. Я почесал за ухом и нахмурился, а затем вошел в лавку.

Мой Вечный Жид сидел на табурете и тачал подметки. Он был вымочен росой, запачкан травой, нечесан и жалок, и на лице его все еще виднелась необъяснимая горечь, проблематичная печаль и эзотерическая скорбь, которая, казалось, могла быть написана только пером веков.

Судья Хувер вежливо спросил о своих ботинках. Старый сапожник поднял глаза и отвечал довольно здраво. Он несколько дней был болен, сказал он. Завтра ботинки будут готовы. Он посмотрел на меня, и я заметил, что не оставил следа в его памяти. Мы вышли и направились своей дорогой.

- У старого Майка,-сказал кандидат,- опять был припадок запоя. Он регулярно каждый месяц напивается до бесчувствия, но он хороший сапожник.

- его история?-спросил я.

- Виски,-коротко ответил судья Хувер. - Это объясняет все.

Я смолчал, но не удовольствовался этим объяснением. Когда представился случай, я спросил о нем старика Селлерса, который жил у меня на хлебах.

- Майк О'Бадер уже шил башмаки в Монтополисе, когда я приехал сюда пятнадцать лет назад. Я догадываюсь, что горе его от виски. Раз в месяц он сбивается с пути и остается в таком виде неделю. Он воображает, что был еврейским разносчиком и всем об этом рассказывает. Никто не хочет его больше слушать. Когда же трезв - он не дурак. У него много книг в комнатке за лавкой, и он читает их. Я думаю, что все его горе в виски. Но я не был удовлетворен. Мой Вечный Жид все еще не был верно сконструирован для меня. Я нахожу, что женщинам не следует выдавать монополию на все любопытство в мире. И когда самый старый обитатель Монтополиса (на девяносто двадцаток лет моложе Майкоба Адера) зашел ко мне по газетному делу, я направил его непрерывную струю воспоминаний в сторону неразгаданного

башмачника. Дядя Эбнер был всеобщей историей Монтополиса, переплетенной в коленкор. О'Бадер,-задрезал он,-явился сюда в 69 году. Он был первым здешним сапожником. Его теперь считают временно помешанным. Но он никому не вредит. Я думаю, что пьянство повлияло на его мозг. Скверная штука - пьянство. Я очень старый человек, сэр, и никогда не видел добра от пьянства.

- Не было ли у Майка О'Бадера какой-нибудь горестной потери или несчастья? - спросил я.

- Подождите. Тридцать лет назад было что-то в этом роде. Монтополис, сэр, в то время был очень строгим городом. У Майка О'Бадера тогда была дочь, очень красивая девушка. Она была слишком веселого нрава для Монтополиса, поэтому в один прекрасный день она ушла в другой город, вернее, сбежала с цирком. Через два года она вернулась навестить Майка, разодетая, в кольцах и драгоценностях. Он не хотел ее знать, и она временно поселилась где-то в городе. Думаю, что мужчины ничего бы на это не возразили, но женщины взялись за то, чтобы мужчины выселили девушку.

И вот однажды ночью решили выгнать ее. Толпа мужчин и женщин выставила ее из дома и погналась за ней с палками и камнями. Она побежала к дому своего отца и умоляла о помощи. Майк отворил, но когда увидел, кто это, то ударом кулака бросил ее на землю захлопнул дверь.

Толпа продолжала травить ее, пока она не выбежала совсем за город. А на следующий день ее нашли утопившейся в пруду у Хенторовской мельницы.

Я откинулся на спинку моего невертящегося винтового стула и, точно мандарин, ласково кивнул головой моему горшочку с клейстером.

- Когда у Майка запой,- продолжал дядя Эбнер, разболтавшись,- он воображает себя Вечным Жидом.

- Он и есть Вечный Жид,- сказал я, продолжая кивать головой.

Коварство Харгрэвса

Перевод Зин. Львовского

Когда майор Пендельтон Тальбот и его дочь, мисс Лидия Тальбот, переселились на жительство в Вашингтон, то избрали своим местопребыванием меблированный дом, удаленный на пятьдесят ярдов от одной из самых тихих авеню. Это было старомодное кирпичное здание с портиком, поддерживаемым высокими белыми колоннами. Двор был затенен стройными акациями и вязами, а катальпа во время цветения засыпала траву дождем розово-белых цветов. Ряды высоких буксовых кустов окаймляли решетку и дорожки. Тальботам нравился этот южный стиль дома и вид местности. В этом приятном частном меблированном доме они наняли комнаты, в число которых входил кабинет майора Тальбота, заканчивавшего последние главы своей книги "Анекдоты и воспоминания об Алабамской армии, суде и адвокатуре".

Майор Тальбот был представителем старого-старого Юга. Настоящее время имело мало интереса или достоинств в его глазах. Мысли его жили в том периоде до гражданской войны, когда Тальботы владели тысячами акров прекрасной земли для хлопка и рабами для возделывания ее; тогда их фамильный дом с королевским гостеприимством открывал свои двери гостям и аристократии Юга. Из этого периода он сохранил всю свою гордость и строгость в вопросах чести, старинную и церемонную вежливость и - подумайте! - гардероб. За последние пятьдесят лет, наверное, нельзя было сшить такую одежду. Майор был высокого роста, но, когда он делал то удивительное архаическое коленопреклонение, которое называл поклоном, фалды его сюртука подметали пол. Это одеяние поразило даже Вашингтон, который давно уже перестал смущаться камзолами и широкополыми шляпами членов конгресса с Юга. Один из жильцов дома назвал его сюртук Father Hubbard, и, действительно, был с короткой талией и широк в подоле.

Но, несмотря на странную одежду, на громадную площадь груди его гофрированной рубашки, на узкий черный галстук ленточкой с вечно съезжающим на бок бантом, - в избранном меблированном доме м-с Вердеман майора любили, хоть и посмеивались над ним немного. Молодые департаментские клерки часто "заводили" его, как они говорили, т.-е. наводили на тему, наиболее дорогую ему: история и традиции его любимого южного края.

В течение разговора он часто приводил цитаты из "Анекдотов и воспоминаний". Но клерки очень осторожно скрывали свои побуждения, так как, несмотря на свои шестьдесятвосемь лет, майор мог привести в замешательство самого смелого из них упорным взглядом своих пронизательных серых глаз.

Мисс Лидия была толстенькая старая дева 35 лет, с гладко причесанными, крепко закрученными волосами, которые ее старили.

Она тоже была старомодной, но довоенная слава не излучалась от нее так, как от майора. Она отличалась бережливостью и здравым смыслом, распорядилась финансами семьи и встречала всех приходящих со счетами, Майор смотрел на счета за стол и стирку, как на презренные жизненные неудобства. Они продолжали поступать так часто и так упорно! Майору хотелось знать: почему их нельзя собрать воедино и заплатить сразу в подходящее время,-- например, когда "Анекдоты и воспоминания" будут напечатаны, и деньги за них получены? Мисс Лидия в таких случаях спокойно продолжала шить и говорила: "Мы будем платить попрежнему, пока хватит денег, а затем, может быть, им и придется ждать уплаты сразу".

Большинство столовников м-с Вердемэн отсутствовали в течение дня, потому что все они были или департаментские клерки, или деловые люди, но один из них бывал дома очень много - с утра до вечера. Это был молодой человек, по имени Генри Хопкинс Харгрэвс, - все в доме называли его полным именем, - служивший в одном из популярных водевильных театров. Водевиль за несколько лет поднялся до почтенного уровня, а м-р Харгрэвс был таким скромным и воспитанным человеком, что мс Вердемэн не находила возражений против внесения его в список своих пансионеров.

В театре Харгрэвс был известен, как имитатор разных диалектов, с большим репертуаром немецких, ирландских, шведских и негритянских рассказов. Но м-р Харгрэвс был честолюбив и часто говорил о своем страстном желании выступить в настоящей комедии.

Молодой человек, повидимому, очень любил майора Тальбота. Когда бы этот джентльмен ни начинал делиться своими воспоминаниями об Юге или повторять некоторые характерные анекдоты, Харгрэвс всегда был тут и внимательно все слушал.

Некоторое время майор намеревался отклонить авансы "актеришки", как он конфиденциально называл его, но приятные манеры молодого человека и его ярко выраженное внимание к рассказам майора вскоре совсем покорили сердце старика. Прошло немного времени, и они уже казались старыми товарищами. Днем майор неизменно садился читать ему отрывки из своей книги. При чтении анекдотов Харгрэвс никогда не забывал смеяться там, где нужно было. Майор считал нужным заявить мисс Лидии, что у молодого человека удивительное понимание и приятное почтение к старому режиму. И когда начинались разговоры об этих старых временах, то майор Тальбот любил говорить, а м-р Харгрэвс слушать. Как большинство стариков, любящих говорить о прошлом, майор охотно задерживался на деталях. Описывая великолепное, почти царское житье прежних плантаторов, он часто останавливался, чтобы вспомнить имя негра, державшего его лошадь, или точную дату некоторых мелких происшествий, или же количество тюков хлопка, собранных в таком-то году. Но Харгрэвс никогда не обнаруживал при этом признаков нетерпения и не утрачивал интереса. Напротив, он задавал вопросы на разнообразные темы, связанные с жизнью того времени, и никогда не оставался без готового ответа.

Охоты на лисиц, ужины и кутежи в негритянском квартале, банкеты в зале плантаторского дома, когда приглашения рассылались на пятнадцать миль вокруг, случайные междоусобия с окрестным дворянством, дуэль майора с Рэсбон Кульбертсоном из-за Китти Чамерс, которая впоследствии вышла замуж за Суйета из Южной Каролины, частные гонки яхт на сказочные суммы в бухте Мобиле, странные верования, характерные привычки, верность и честность прежних рабов, - вот темы, которыми майор и Харгрэвс увлекались целыми часами.

Иногда поздно ночью, когда молодой человек поднимался в свою комнату по возвращении из театра, майор появлялся в дверях своего кабинета и кивал ему с лукавым видом. Войдя, Харгрэвс находил на небольшом столике графинчик, сахарницу, фрукты и большой пучок свежей зеленой мяты.

- Мне пришло в голову,- начинал майор (всегда очень церемонно),- что вы нашли, может быть, свои обязанности в... на месте ваших занятий достаточно трудными, и поэтому мне

захотелось дать вам возможность оценить то, о чем, вероятно, думал поэт, когда писал "Сладкий восстановитель усталой природы",- один из наших южных напитков.

Для Харгрэвса было наслаждением смотреть, как майор приготавливал этот напиток. Принимаясь за дело,

старик равнялся с артистами, при чем никогда не изменял приемов. Как осторожно он растирал мяту! С каким утонченным изяществом отмерял составные части! С какой нежной заботливостью дополнял смесь багровым плодом, пылающим на зеленой бахrome! С каким гостеприимством и грацией он затем предлагал питье, когда выбранные им соломинки уже были погружены в звенящую глубину! Месяца через четыре их пребывания в Вашингтоне, как-то утром, мисс Лидия сделала открытие, что у них почти нет денег.

"Анекдоты и воспоминания" были закончены, но издатели не набросились на это собрание образцов алабамского ума и остроумия. Арендная плата за небольшой дом, которым они еще владели в Мобиле, два месяца не поступала. Через три дня надо было платить за стол. Мисс Лидия позвала отца на консультацию.

- Нет денег?-сказал он с удивленным видом.- Ужасно надоедливы эти частые разговоры о таких пустяках. В самом деле, я... Майор обыскал свои карманы. Он нашел только бумажку в два доллара, которую положил обратно в жилетный карман.

- Мне нужно заняться этим немедленно, Лидия,- сказал он.-Дай мне, пожалуйста, зонтик, я сейчас же пойду в город. Член конгресса от нашего округа, генерал Фельгум, несколько дней тому назад обещал мне употребить все свое влияние на то, чтобы моя книга была напечатана в скором времени. Я сейчас же пойду в его гостиницу и узнаю, какие меры были приняты. Мисс Лидия с грустной улыбкой наблюдала, как он застегнул свой Father Hubbard и ушел, остановившись предварительно в дверях, чтобы, как всегда, отвесить глубокий поклон.

Он вернулся в сумерках. Оказалось, что член конгресса Фельгум видел издателя, у которого находилась рукопись майора. Издатель заявил, что если "Анекдоты и пр." тщательно сократить, почти на половину исключить партийные и классовые предрассудки, которыми окрашена книга от начала до конца, то он согласился бы издать ее.

Майор был в бешенстве, но овладел собой, согласно своему кодексу поведения, как только оказался в присутствии мисс Лидии.

- Нам необходимы деньги,- сказала мисс Лидия, с легкой морщинкой над носом: - дайте мне те два доллара, я пошлю сейчас же телеграмму дяде Ральфу.

Майор вынул из верхнего жилетного кармана маленький конвертик и бросил его на стол.

- Может-быть, это неблагоразумно,-кротко сказал он,- но сумма эта была так мала, что я купил билеты в театр на сегодня. Идет новая военная драма, Лидия. Я подумал, что тебе доставит удовольствие быть на первом ее представлении в Вашингтоне. Мне говорили, что Юг очень симпатично представлен в этой драме. Сознаюсь, что я сам охотно посмотрю это представление.

Мисс Лидия в безмолвном отчаянии всплеснула руками...

Однако, раз билеты были куплены, надо было ими воспользоваться. И в этот вечер, когда они сидели в театре и слушали полную огня увертюру, даже у мисс Лидии заботы временно отодвинулись на второй план. Майор, в безукоризненном белье, в своем необычайном камзоле, видном только там, где он был плотно застегнут, с белыми гладко зачесанными волосами, имел, право, чрезвычайно изящный и аристократический вид... Открывая типичную картину южных плантаций, взвился занавес для первого акта "Цветка Магнолии".

- Смотрите,- воскликнула мисс Лидия, подталкивая отца локтем и указывая на программу.

Майор надел очки и прочел в списке действующих лиц строку, на которую указывала его дочь.

... Полковник Уебстер Кальхун... Г. Хопкинс-Харгрэвс,

- Это наш м-р Харгрэвс! - сказала мисс Лидия:- это, вероятно, его первое выступление в... как он называет ее... комедии. Я так рада за него. Только во втором акте появился на сцене полковник Уебстер Кальхун. При его выходе майор Тальбот громко фыркнул, уставился на него глазами и оледенел. Мисс Лидия издала легкий двусмысленный писк и смяла в руках программу. Полковник Кальхун был изображен настолько похожим на майора Тальбота, как одна горошинка похожа на другую. Длинные, редкие волосы, завивающиеся на концах,

аристократический нос в виде клюва, широкая, мягкая грудь рубашки, галстук лентой с бантом почти у уха, - все было скопировано самым детальным образом. И, наконец, в довершение всего, на нем был двойник майорского камзола, который предполагался единственным. С высоким воротником, мешковатый, с узкой талией, с широкими полами, на фут длиннее спереди, чем сзади, это одеяние не могло быть снято с другого образца. Начиная с этого момента, майор и мисс Лидия сидели, как околдованные, и смотрели на имитацию гордого Тальбота, протаскленного через возмутительную грязь "развратной сцены", как выражался впоследствии майор.

М-р Харгрэвс хорошо воспользовался благоприятным для него случаем. Он уловил в совершенстве мелкие особенности речи, акцент и интонации майора, а также и его напыщенную вежливость, - преувеличивая все для нужд сцены. Когда он исполнил удивительный поклон, который, как наивно воображал майор, был верхом всех приветствий, публика внезапно разразилась громкими аплодисментами. Мисс Лидия сидела неподвижно, не смея взглянуть на отца. Иногда ближайшей к нему рукой она закрывала щеку, как бы пряча улыбку, которую не могла вполне подавить, несмотря на возмущение. Кульминационного пункта имитация Харгрэвса достигла в третьем акте. Это была сцена, где полковник Кальхун принимает нескольких соседей в своей "берлоге".

Стоя у стола, посреди сцены, окруженный друзьями, он говорит тот неподражаемый, характерный, бессвязный монолог, который так известен по "Цветку Магнолии"; в то же время он ловко приготовляет мятный напиток для гостей.

Майор Тальбот, сидя спокойно, но бледный от негодования, слышал, как передавались его лучшие рассказы, как излагались его любимые теории и темы, и как заменены, преувеличены и искажены основы его "Анекдотов и воспоминаний".

Его любимый рассказ о дуэли с Рэбон Кульбертсоном также не был пропущен и передан с большим огнем и увлечением, чем это делал сам майор.

Монолог кончался изысканной, очаровательной, маленькой лекцией об искусстве делать мятный напиток, иллюстрируемой действием. Тут тонкое, но яркое искусство Тальбота было воспроизведено до мельчайших подробностей, начиная с его изящного обращения с душистой травой ("на одну тысячную часть больше давления, джентльмены, и вы вытянете горечь вместо аромата из этого дарованного небом растения") до заботливого выбора соломинок.

По окончании этой сцены в публике поднялся неистовый гул одобрения. Изображение типа было настолько точно, верно и полно, что главные персонажи в пьесе были забыты. После повторных вызовов Харгрэвс появился пред занавесом и раскланялся, при чем его еще мальчишеское лицо радостно горело от сознания успеха.

Мисс Лидия, наконец, повернулась и взглянула на майора. Его тонкие ноздри двигались, как жабры у рыбы. Он оперся обеими дрожащими руками на подлокотники кресла, собираясь встать.

- Пойдем, Лидия, - сказал он негодуя: - это ужасное кощунство!

Прежде, чем он успел встать, она толкнула его обратно на место.

- Мы останемся до конца, - заявила она. - Неужели же вы хотите сделать рекламу копии, показав оригинал камзола? Таким образом, они остались до конца. Успех Харгрэвса заставил, очевидно, его поздно лечь, так как на следующий день он не появился ни к завтраку, ни к обеду. Около трех часов дня он постучал в дверь майора Тальбота. Майор открыл ее, и Харгрэвс вошел с полными руками утренних газет, - слишком поглощенный своим успехом, чтобы заметить что-нибудь необычное в поведении майора.

- Я их всех вчера ночью захватил, майор, - начал он, ликуя. - Я пожал обильную жатву и еще увеличу ее, так как я надеюсь... Вот что напечатано в "Почте": "Концепция и изображение южного полковника прежнего времени, с его бессмысленным велеречием, эксцентричным нарядом, причудливыми выражениями и фразами, съеденной молью фамильной гордостью и, в действительности, человека с добрым сердцем, строгим чувством чести и милой простотой - является лучшим воспроизведением характерной роли на современной сцене. Сюртук полковника Калхуна сам по себе - гениальное произведение. М-р Харгрэвс захватил публику".

- Как вам это нравится, майор? Недурно для дебютанта?

- Я имел честь, - голос майора звучал зловеще холодно, - видеть ваше замечательное исполнение сэра, вчера вечером.

Харгрэвс смутился.

- Вы были там? Я не знал, что вы... я не знал, что вы любите театр. Послушайте, майор Тальбот, не обижайтесь. Я сознаюсь, что получил от вас много ценных сведений для этой роли. Но ведь это тип, а не личность. Доказательство тому - впечатление, произведенное на публику. Ведь половина театра - южане; они узнали знакомый тип.

- М-р Харгрэвс,- сказал майор, продолжая стоять.- Вы нанесли мне несмываемое оскорбление, выставив меня в смешном виде. Вы возмутительно злоупотребили моим доверием и гостеприимством и отплатили злом за добро. Если бы я был уверен в том, что вы обладаете хоть малейшим понятием о том, что такое поведение дворянина, и имели бы на то право, я бы вызвал вас на дуэль, несмотря на мою старость. Прошу вас оставить комнату, сэр.

Актер казался немного растерянным и, как будто, не мог понять полное значение слов майора.

- Мне, право, жаль, что вы обиделись,- сказал он с сожалением.-Мы здесь, на севере, смотрим на вещи иначе, чем вы, южане. Я знаю людей, которые откупили бы полтеатра, только бы их личность была выведена на сцене, и публика могла бы узнать их.

- Они не из Алабамы, сэр, - надменно произнес майор.

- Может быть, и нет. У меня очень хорошая память, майор. Позвольте мне привести несколько строк из вашей же книги. В ответ на тост, произнесенный на банкете в Милледжевиле, кажется вы сказали и намерены были напечатать следующие слова:

"У северянина совсем нет чувства или пыла, за исключением случаев, когда чувства могут быть использованы для его коммерческих выгод. Он перенесет без злобы всякое покушение на честь, как его собственную, так и дорогих ему людей, если это покушение не имеет следствием крупную денежную потерю.

Когда он благотворительствует, то дает щедрой рукой, но об этом надо кричать повсюду и записать на меди..."

- Как вы думаете, это изображение лучше, чем изображение полковника Кальхуна, которого вы видели вчера?

- Это описание.- ответил майор, нахмурившись,- имеет свои основания. Некоторое преу... ширина должна быть допущена в публичных речах.

- И в публичной игре! - возразил Харгрэвс.

- Это совсем не то,- настаивал неумолимо майор:- это была личная карикатура. Я безусловно отказываюсь пренебречь этим, сэр.

- Майор Тальбот,-сказал Харгрэвс с пленительной улыбкой, - мне хотелось бы, чтобы вы поняли меня. Мне хотелось бы, чтобы вы знали, что у меня и в мыслях не было оскорбить вас. В моей профессии мне принадлежит весь мир. Я беру, что хочу и что могу, и возвращаю все это со сцены. Теперь, если хотите, оставимте это дело. Я пришел к вам по другому делу. Мы несколько месяцев были хорошими друзьями, и я хочу рискнуть еще раз оскорбить вас. Я знаю, что у вас денежные затруднения. Безразлично, как я это знаю. В меблированном доме трудно сохранить это в тайне. Мне хотелось бы помочь вам выйти из беды. Сам я тоже часто бывал в таком положении. Я получал хорошее жалованье весь сезон и скопил немного денег. Я охотно предоставляю вам две сотни или даже больше, пока вы получите...

- Довольно,- скомандовал майор, протянув руку:- повидимому, моя книга не лгала. Вы думаете, что ваш денежный пластырь затянет все раны, нанесенные моей чести. Я ни в коем случае не взял бы денег от случайного знакомого. Что же касается вас, сэр, то я скорее умер бы с голоду, чем согласился бы на ваше оскорбительное предложение финансовой ликвидации обстоятельств, о которых мы говорили. Повторяю мою просьбу, касающуюся вашего ухода из комнаты.

Харгрэвс удалился, не сказав больше ни слова. Он в тот же день покинул и меблированный дом, переехав, как объяснила миссис Вердемэн за ужином, ближе к театру, в нижнюю часть города, где "Цветок Магнолии" должен был итти целую неделю. Положение майора Тальбота и мисс Лидии было критическое. В Вашингтоне не было никого, к кому совестливость майора позволила бы ему обратиться за займом. Мисс Лидия написала письмо дяде Ральфу, но было под сомнением: позволят ли стесненные обстоятельства родственника

оказать им помощь? Майор был принужден весьма сконфуженно извиниться пред м-с Вердемэн в задержке платежа за стол, ссылаясь на неаккуратное поступление "арендной платы".

Помощь пришла из совершенно неожиданного источника.

В конце дня привратница поднялась вверх и сообщила, что майора Тальбота желает видеть старик-чернокожий. Майор попросил прислать его в кабинет. Вскоре в дверях, кланяясь и шаркая неуклюжей ногой, появился старый негр со шляпой в руках. Он был очень прилично одет в мешковатый черный костюм. Его большие, грубые башмаки сияли металлическим блеском, напоминающим блеск печи. Густая шерсть над его головой была седой - почти белой. Трудно определить годы негра, перевалившего за средний возраст. Этот негр мог быть тех же лет, что и майор Тальбот.

- Поручусь, что вы не узнаете меня, масса Пендльтон,- были его первые слова.

При этой старой манере обращения, майор встал и пошел к нему навстречу. Без сомнения, то был один из чернокожих с плантации, но все они были так далеко рассеяны, что он теперь не мог припомнить лицо и голос...

- Боюсь, что, действительно, так, если вы только не поможете мне вспомнить,- ласково сказал он.

- Помните вы Синди'ного Мозе, масса Пендльтон, что мигрировал сразу после войны?

- Подождите,- сказал майор, потирая лоб кончиками пальцев. Он любил вспоминать все, связанное с этим дорогим для него временем. - Синди! Мозе? - соображал он. - Вы служили при лошадях, выезжали жеребчиков? Да, теперь припоминаю. После сдачи вы приняли имя - не торопите меня - Митчель, и отправились на Запад в Небраску?

- Да, да, сэр! - лицо старика расплылось в восторженную улыбку. Это так! Это я Ньюбраска. Это я Мозе Митчель. Старый дядя Мозе Митчель, как меня сейчас зовут. Старый барин, ваш отец дал мне пару молодых мулов, когда я уезжал... Помните тех жеребят, масса Пендльтон?

- Я что-то не припоминаю жеребят, - сказал майор:- вы знаете, что я женился в первый год войны и жил в поместье Фоллинсби? Но садитесь же, дядя Мозе. Рад видеть вас. Надеюсь, что дела ваши хорошо идут?

Дядя Мозе сел на стул, положив шляпу осторожно на пол.

- Да, сэр, за последнее время дела идут прекрасно. Когда я в первый раз приехал в Ньюбраску, весь народ сбежался смотреть тех мулов. Таких мулов не видывала Ньюбраска. Я продал их за триста долларов... Да, сэр, за триста. На них я открыл кузницу и заработал деньги и купил себе землю. Я с моей старухой воспитали семь ребят, и все они здоровы, за исключением двоих, которые умерли. Четыре года назад проложили железную дорогу и выстроили город совсем рядом с моей землей. Теперь, масса Пендльтон, дядя Мозе ценится в одиннадцать тысяч долларов деньгами, имуществом и землей.

- Рад слышать об этом, - сердечно сказал майор.- Очень рад слышать это.

- А ваш ребеночек, масса Пендльтон, что вы звали мисс Лидди? Поручусь, что эта крошка так выросла, что ее и узнать нельзя.

Майор подошел к двери и позвал:

- Лидия, дорогая, не зайдешь ли ты сюда? Мисс Лидия, действительно выросшая и немного утомленная, явилась из своей комнаты.

- Боже мой! Что я говорил! Я знал, что этот ребенок должен был здорово вырасти. Вы помните дядю Мозе, детка?

- Это-Мозе тетки Синди,- объяснил майор.- Он уехал из Сеннимид на Запад, когда тебе было два года.

- Ну,-сказала мисс Лидия,- трудно ожидать, чтобы я запомнила вас, дядя Мозе. И, как вы говорите, я "здорово выросла", и уже давно... Но я рада видеть вас, хотя и не могу вспомнить.

И, действительно, она была рада так же, как и майор. Что-то живое и осязаемое пришло и соединило их со счастливым прошлым. Они сидели втроем и говорили о старых временах, при чем майор и дядя Мозе поправляли и поощряли друг друга в воспоминаниях о плантациях, старых временах и картинах былого.

Майор осведомился, что старик делает так далеко от дома.

- Дядя Мозе-д е л и к а т,- объяснил он,- д е л и к а т на большой баптистской конвенции в этом городе. Я никогда не проповедывал, но так как я один из старшин церкви и могу оплатить свои издержки, то меня и послали...

- А как же вы узнали, что мы в Вашингтоне?- спросила мисс Лидия.

- Есть такой человек, который служит в отеле, где я остановился; он приехал из Мобилия. Он сказал мне, что видел, как масса Пендльтон выходил из этого дома как-то утром.

- Я пришел затем,-продолжал дядя Мозе, залезая в карман,-чтобы повидать моих соотечественников... и чтобы заплатить еще массе Пендльтону мой долг.

- Мне долг?-удивленно сказал майор.

- Да, триста долларов! - Он вручил майору пачку бумажек.- Когда я уезжал, старый масса сказал: "Бери этих мулов, Мозе, и, когда будешь в состоянии, заплати за них". Да, это были его слова. Война разорила и старого массу. Так как он давно умер, то долг переходит к массе Пендльтону. Триста долларов! Дядя Мозе теперь может заплатить. Когда железная дорога купила мою землю, я решил заплатить за мулов. Считайте деньги, масса Пендльтон. За столько я продал мулов! Да!

В глазах майора Тальбота стояли слезы. Одной рукой он мял руку дяди Мозе. а другую положил ему на плечо,

- Дорогой, верный слуга, - сказал он нетвердым голосом: - я не стыжусь сказать тебе, что масса Пендльтон истратил свой последний доллар неделю назад. Мы примем эти деньги, дядя Мозе, примем деньги, которые являются некоторым образом платой, а также знаком верности и преданности слуг старого режима. Лидия, дорогая моя, возьми деньги. Ты лучше меня сумеешь истратить их.

- Возьмите их, милочка,- сказал дядя Мозе:-это вам принадлежит, это тальботовские деньги. После ухода дяди Мозе, мисс Лидия заплакала от радости, а майор повернулся лицом в угол и, как вулкан, стал курить свою глиняную трубку. В последующие дни Тальботы вновь обрели мир и довольство. Лицо мисс Лидии утратило свой усталый вид. Майор появился в новом сюртуке, в котором был похож на восковую фигуру, олицетворявшую память о его золотом веке. Другой издатель, прочитавший рукопись "Анекдотов и воспоминаний", нашел, что с небольшими поправками, при менее резком тоне в некоторых, наиболее эффектных местах, из нее можно сделать действительно интересную и ходкую книгу.

Вообще положение создалось отрадное, и не без надежд, которые иногда слаще исполнившихся благ.

Однажды, приблизительно через неделю после свалившейся на них удачи, прислуга принесла в комнату мисс Лидии письмо на ее имя. По почтовой марке видно было, что оно из Нью-Йорка. Не зная никого в этом городе, мисс Лидия, удивленная, с легким волнением, села за свой стол и ножницами открыла письмо. Вот что она прочла:

"Дорогая мисс Тальбот!

Думаю, что вы будете рады узнать о моей удаче. Я получил и принял предложение на двести долларов в неделю от одного нью-йоркского постоянного театра - Играть полковника Кальхуна в "Цветке Магнолии".

"Есть еще что-то, о чем вам следует знать. Думаю, что лучше не говорить об этом майору Тальботу. Мне очень хотелось отплатить чем-нибудь за ту большую помощь, которую он оказал мне при изучении роли и за дурное настроение, в которое я его привел. Он отказался от моей помощи, но я выполнил свое намерение другим способом. Я легко могу обойтись без этих трехсот долларов.

"Искренно ваш Г. Хопкинс-Харгрэвс".

"P. S. Как я сыграл дядю Мозе?"

...Майор Тальбот проходил через вестибюль, увидел открытую к мисс Лидии дверь и остановился.

- Есть почта для нас, дорогая Лидия? - спросил он. Мисс Лидия спрятала письмо в складках платья.

- Получена "Мобильская Хроника", - поспешно сказала она: - газета лежит на столе в вашем кабинете.

Октябрь и Июнь

Перевод Зин. Львовского

Капитан мрачно посмотрел на свою шпагу, висевшую на стене. В стоящем рядом шкафу висел его запачканный мундир, потемневший и потертый от погоды и долгой службы. Казалось, что так много-много времени прошло с той поры военных тревог...

Ветеран тяжелых времен, пережитых родиной, он теперь силой женских ласковых глаз и улыбающихся губ был обречен на постыдную сдачу. Сидя в своей тихой комнате, он держал в руке письмо, которое только что получил от нее, письмо, вызвавшее на лице его мрачное выражение. Он перечел фатальные строки, разрушившие его надежды:

"Отклоняя честь, которую вы оказали мне, предложив быть вашей женой, я чувствую, что должна высказаться откровенно. Причины - большая разница в наших годах. Вы мне очень, очень нравитесь, но я уверена, что брак наш не был бы счастливым. Мне тяжело касаться этого, но я надеюсь, что вы оцените прямооту, с которой я вам называю настоящую причину моего отказа".

Капитан вздохнул и подпер голову рукой. Правда, между ними - большая разница в годах. Но он был крепок и вынослив. У него были положение и богатство. Неужели же его любовь, его нежные заботы, те преимущества, которые он может дать ей, не заставят ее забыть о разнице лет?

Кроме того, он был почти уверен, что она любит его...

Капитан был человеком быстрых действий. В бою он отличался решимостью и энергией. Он отправится к ней и будет лично защищать свое дело! Возраст разве он может стать между ним и любимой женщиной?

Через два часа он стоял в легком походном снаряжении, готовый к Величайшему бою. Он сел в поезд, идущий в старый южный город Тенесси, где она жила.

Теодора Диминг сидела на ступенях красивого дома с портиком и наслаждалась летними сумерками, когда капитан вошел в калитку и направился к ней по усыпанной песком дорожке. Она встретила его улыбкой, в которой не было смущения. Когда капитан стоял ступенькой ниже ее, разница в возрасте не была так заметна.

Он был высокого роста, стройный, загорелый, с ясными глазами.

Она находилась в расцвете жественности.

- Я не ожидала вас,- сказала Теодора:- но раз вы тут, то можете присесть на ступеньку. Разве вы не получили моего письма?

- Получил,- ответил капитан:- потому-то и приехал! Послушайте, Тео, обдумайте, пожалуйста еще раз ваш ответ. Теодора ласково улыбнулась ему. Он выглядел хорошо для своего возраста. Она искренно любила его силу, здоровый вид, мужество. Может-быть, если бы...

- Нет, нет,- сказала она, решительно покачав головой:- об этом не может быть и речи. Вы мне ужасно нравитесь, но жениться нам не следует. Мой возраст и ваш... но не заставляйте меня повторять все снова, Я уже писала вам об этом.

Капитан немного покраснел сквозь бронзу своего лица. Он некоторое время молчал, грустно смотря в вечерние сумерки. Право, Судьба и Время сыграли с ним скверную штуку. Всего несколько лет стояли между ним и счастьем... Рука Теодоры сползла и лежала теперь уже в его крепкой загорелой руке. Она, наконец, испытывала чувство, близкое к любви.

- Не принимайте этого так близко к сердцу,- мягко сказала она:- все делается к лучшему. Я все это рассудила очень благоразумно. Когда-нибудь вы будете рады, что не женились на мне. Все это было бы хорошо и мило на некоторое время, но,- подумайте только! - какие у нас с вами будут разные вкусы через несколько скоро пролетевших лет! Одному захочется по вечерам сидеть у камина и читать, а, может быть, и возиться с невралгией или ревматизмом, тогда как другого страстно будут манить театры, балы и поздние ужины. Нет, дорогой друг! Если наши отношения нельзя определенно назвать январем и маем, то, во всяком случае, это- октябрь и самое начало июня.

- Я бы всегда поступал так, как вы того желали бы, Тео! Если бы вы только хотели...

- Нет, вы бы этого не делали. Теперь вам кажется, что вы так поступали бы, но этого не было бы в действительности. Пожалуйста, не просите меня больше.

Капитан проиграл битву. Но он был галантный боец: когда он поднялся, чтобы проститься окончательно, рот его был сурово сжат, и плечи выпрямлены.

В ту же ночь он уехал обратно на Север. И на следующий вечер снова находился в своей комнате, где на стене висела его шпага. Он одевался к обеду и завязывал свой белый галстук очень аккуратным бантом. И в то же время задумчиво разговаривал сам с собой:

- Честное слово, мне кажется, что Тео, в конце концов, права. Нельзя отрицать, что она очаровательна, но ей должно быть лет двадцать восемь, по самому пристрастному счету.

Видите ли,- капитану было всего девятнадцать лет, и шпага его никогда не вынималась из ножен, кроме как на ученьи в Чатануга. Ближе к Испано-Американской войне он никогда не подходил.

Церковь с наливным колесом

Перевод Зин. Львовского

В списках летних модных курортов Лэклендс не значится.

Он расположен на низком отроге Кумберлендского хребта гор, на небольшом притоке реки Клинг-Ривер. Собственно, Лэклендс-приличная деревня, состоящая из двух дюжин домов, расположенных около заброшенной узкоколейной линии железной дороги. Как-то сам собой возникает вопрос: железная ли дорога затерявшись в сосновых лесах, от страха и одиночества ринулась в Лэклендс, или же сам Лэклендс растерялся и подошел к железной дороге, дожидаясь, чтобы вагоны доставили его домой.

Вы удивляетесь также, почему деревня названа Лэк-лендс, т.-е. Озерная Земля. Озер здесь нет, а земля настолько плоха, что и упоминать о ней не стоит. В полумиле от деревни стоит Орлиный Дом, большое поместительное здание, содержимое Джозией Ранкин для удобства посетителей, желающих пользоваться горным воздухом за недорогую плату.

Орлиный Дом - в очаровательном беспорядке. Он полон старинных, а не новых, усовершенствований и находится в такой же комфортабельной небрежности и расстройстве, как ваш собственный дом. Но вы найдете там чистые комнаты, хороший и обильный стол,- сами вы и хвойные леса должны завершить остальное. Природа заготовила минеральный источник, виноградники и крокет, даже ворота его из дерева, Искусству вы обязаны только музыкой (скрипка и гитара) дважды в неделю на танцульке в дощатом павильоне.

Посетителями Орлиного Дома являются люди, ищущие отдыха в силу необходимости так же, как и для удовольствия. Это - народ занятой, который может быть уподоблен часам, нуждающимся в двухнедельной заводке, чтобы обеспечить годовое движение их колес. Вы найдете здесь студентов из ниже лежащих городов, иногда художника или геолога, поглощенного изучением древних наслоений холмов. Несколько тихих семейств проводят здесь лето, а иногда живут здесь одна или две представительницы корпорации, известной в Лэклендсе под названием "учительши".

В четверти мили от Орлиного Дома находится здание, которое было бы списано, как "весьма интересное" в путеводителе, если бы Орлиный Дом издавал его. Это была старая-старая мельница, переставшая быть мельницей. По словам Джозии Ранкин, это была единственная в Штатах церковь с наливным колесом, и единственная во всем мире мельница с церковными скамьями и органом.

Обитатели Орлиного Дома посещали старую мельничную церковь каждое воскресенье и слушали, как священник сравнивал очищенного от грехов христианина с просеянной мукой, смолотой до полезности между жерновами опыта и страдания.

Каждый год в Орлиный Дом приезжал некий Абрам Стронг и жил там некоторое время в качестве почетного и любимого посетителя. В Лэклендсе его звали "отец Абрам", потому что волосы у него были такие белые, лицо такое мужественное, доброе и цветущее, смех такой веселый, а сюртук и широкополая шляпа так похожи на одежду священника.

Даже вновь приезжие через три-четыре дня знакомства звали его этим фамильным именем.

Отец Абрам приезжал в Лэклендс издалека. Он жил в большом, шумном городе на Северо-Западе, где у него были мельницы - не маленькие мельницы с церковными скамьями и органом, но громадные, безобразные, похожие на горы, мельницы, вокруг которых целый день двигались вагоны товарных поездов, как муравьи вокруг муравейника.

А теперь вам надо рассказать об отце Абраме и о мельнице, ставшей церковью, так как их история сливается воедино. В то время, когда церковь была мельницей, мельником был м-р Стронг.

Во всем округе не было более веселого, пыльного, работающего мельника. Он жил в маленьком коттедже, через дорогу от мельницы. Рука у него была тяжелая, но такса за помол легкая и горные жители везли к нему зерно за много миль скалистой дороги.

Радостью жизни мельника была его дочурка Аглая. Это, пожалуй, слишком громкое имя для переваливающегося карапуза с льяными волосенками, но горцы любят звучные и пышные имена. Мать вычитала его из какой-то книги - и дело было сделано. В младенчестве Аглая сама отвергла это имя, для обычного употребления, и упорно называла себя Денс. Мельник и его жена часто старались выпытать у Аглаи об источнике этого загадочного имени, но безрезультатно. Наконец, они построили свою теорию.

В маленьком садике за коттеджем находилась клумба с рододендронами, которыми ребенок особенно восхищался и интересовался. Может-быть, в слове "Денс" она находила нечто родственное грозному имени своих -любимых цветов.

Когда Аглае было четыре года, она и отец ее каждые после - обеда устраивали в мельнице маленькое представление, которое никогда не пропускалось, если только позволяла погода. Когда ужин был готов, мать щеткой приглаживала Аглае волосы, надевала ей чистый передник и посылала напротив на мельницу, за отцом. Увидев через мельничную дверь ее приближение, мельник, весь белый от муки, шел ей навстречу, махал рукой и пел старую мельничную песню, известную в этих краях, - что-то вроде следующего:

"Вот жернов скрипит,
Мука вниз летит,
А мельник весь белый смеется,
Поет он с утра: Труд - только игра,
Когда мысль его к милой несется..."

Тогда Аглая, смеясь, подбегала к нему и кричала: "Тятя, возьми Денс домой", а мельник сажал ее на плечо и маршировал домой ужинать, напевая "песню мельника". Каждый вечер происходило то же самое.

Однажды, через неделю после того, как ей исполнилось четыре года, Аглая исчезла. Ее видели в последний раз рвущей полевые цветы у края дороги, против коттеджа.

Немного позже, когда мать вышла посмотреть, чтобы она не уходила слишком далеко, ее уже не было.

Разумеется, были приложены все старания, чтобы найти ее. Собрались соседи и обыскали леса и горы на мили кругом. Они осмотрели шлюзный желоб и ручей на большое расстояние ниже плотины. Нигде не нашли ни малейшего следа девочки. Ночь или две перед тем неподалеку в роще остановились лагерем какие-то бродяги. Явилось предположение, что они могли украсть ребенка, но, когда их нагнали и обыскали их кибитку, девочки не нашли.

Мельник оставаясь на мельнице еще около двух лет, затем он потерял надежду найти ребенка и перебрался с женой на Запад. Через несколько лет он стал владельцем современной мельницы в одном из значительных мельничных центров этого района. М-с Стронг не могла оправиться от удара, нанесенного ей потерей Аглаи, и через два года после их отъезда мельник остался один нести свое горе.

Разбогатец, Абрам Стронг приехал повидать Лэк-лендс и старую мельницу. Место было связано с грустными воспоминаниями, но он был сильный человек и всегда казался веселым и добрым. Тогда-то у него и явилась мысль превратить мельницу в церковь. Деревня Лэклендс была бедна и не могла построить церковь, а еще более бедные горцы не могли ничем помочь. Ни церкви ни молитвенного дома не было ближе, чем на расстоянии двадцати верст.

Мельник постарался как можно меньше изменить вид мельницы. Большое наливное колесо осталось на месте. Молодежь, приходившая в церковь, вырезывала свои инициалы в

его мягком, медленно разрушавшемся дереве. Плотина была частью разрушена, и чистый горный поток, не встречая препятствий, бежал по своему илистому ложу.

Внутри мельницы перемены были значительны. Столбы, жернова, ремни и блоки были, конечно, сняты. Было устроено два ряда скамеек с крылом между ними и невысокая платформа и кафедра на одном конце. Наверху с трех сторон была галерея, на которой были устроены сиденья; к ней вела внутренняя лестница. Был на галерее и орган, настоящий орган с трубами - гордость прихожан старой мельничной церкви. Мисс Феба Семмерс была органистом. Лэклэндские мальчуганы с гордостью, по очереди, накачивали орган за воскресными службами.

Священником был преподобный отец Банбридж; он приезжал из Скуррел-Гэп на своей старой белой лошади и не пропускал ни одной службы. За все платил Абрам Стронг. Священнику он платил пятьсот долларов в год, а мисс Фебе-двести.

Так, в память Аглаи, старая мельница была превращена в благословенное место для округа, где девочка некогда жила. Казалось, что короткая жизнь ребенка принесла больше добра, чем семидесятилетняя жизнь многих других. Но Абрам Стронг поставил ей еще и другой памятник.

С его мельницы на Северо-Западе приходила мука "Аглая", выделанная из самой твердой лучшей пшеницы. В этой местности скоро узнали, что у "Аглаи" есть две цейы: одна - рыночная, высшая цена, а другая - бесценная, даром.

Как только случалось несчастье, вследствие которого люди терпели нужду - пожар, наводнение, ураган, стачка или голод,- немедленно прибывал крупный транспорт "Аглаи" по "даровой цене". Ее раздавали осторожно и справедливо, но раздавали даром, и голодные не платили за нее ни одного пенни. Вошло в поговорку, что когда случался страшный пожар, то прежде всего приезжал на место происшествия кабриолет брандмайора, за ним вагон с мукой "Аглая", а затем уже пожарная команда.

Это был второй памятник, воздвигнутый Абрамом Стронгом Аглае. Может быть, поэту он покажется слишком утилитарным, но некоторые найдут красивой и милой эту идею, что чистая, белая, девственная мука, исполняющая миссию любви и милосердия, может быть уподоблена духу потерянного ребенка, чью память она увековечила.

...Наступил год, принесший тяжелые испытания для Кумберленда. Урожай злаков повсюду был плох, а местного урожая совсем не было. Горные потоки нанесли большие убытки землевладельцам. Даже зверя в лесах было так мало, что охотники приносили домой едва достаточно дичи, для того, чтобы сохранить жизнь родных. Особенно это чувствовалось около Лэклэнса.

Как только Абрам Стронг услышал об этом, тотчас же полетели его посылки, и маленькие вагоны узкоколейки начали выгружать муку "Аглая". По приказанию мельника, муку надлежало складывать в галерее старой мельничной церкви, и всякий, посещающий церковь, мог взять домой мешок муки.

Через две недели после этого Абрам Стронг явился на ежегодное пребывание в Орлиный Дом и снова стал "отцом Абрамом".

В этот сезон посетителей было меньше, чем обыкновенно.

Среди них находилась Роза Честер. Мисс Честер явилась в Лэклэндс из Атланты, где она служила в универсальном магазине. Это были ее первые каникулы вне родного города. Жена управляющего складом как-то провела лето в Орлином Доме и уговорила Розу поехать туда на время ее трехнедельного отпуска.

Жена управляющего дала Розе письмо к мс Ранкин которая охотно взяла ее на свое попечение.

Мисс Честер была девушка около двадцати лет, не крепкого сложения. Жизнь без воздуха сделала ее бледной и хрупкой. Но после недели, прожитой в Лэклэндсе, к ней вернулись веселость и оживление, поразительно изменившие ее.

Стояло начало сентября, когда Кумберленд особенно красив. Листва на горах блестела всеми осенними красками, точно в воздухе было розлито шам-йанское; ночи стояли упоительно прохладные, располагающие удобно улечься под теплыми одеялами Орлиного Лома.

Отец Абрам и мисс Честер очень подружились. Старый мельник узнал от миссис Ранкин ее историю и сразу заинтересовался стройной, одинокой девушкой, собственными силами пробивавшей себе дорогу.

Для мисс Честер горная местность была новостью. Она много лет прожила в теплом, плоском городе Атланта. Величие и разнообразие кумберлендского пейзажа восхищали ее. Она решила использовать каждую минуту своего пребывания здесь. Маленький запас ее сбережений был так строго рассчитан в соответствии с расходами, что она знала с точностью до одного пенни, какой небольшой остаток будет у нее ко времени возвращения на службу.

Для мисс Честер было счастьем заполучить отца Абрама в качестве друга и товарища. Он знал каждую дорогу, вершину и горный склон близ Лэклендса. Благодаря ему, она узнала величавую прелесть тенистых, сводчатых сосновых лесов, важность голых утесов, живительные утра и мечтательные, золотые послеполуденные часы, полные таинственной грусти.

Здоровье ее улучшилось, настроение стало веселым. Смех ее, хотя и по-женски, звучал так же искренно и звонко, как знаменитый смех отца Абрама... Оба они были природными оптимистами и умели показывать свету ясное и веселое лицо.

Однажды мисс Честер узнала от одного из жильцов историю пропавшего ребенка отца Абрама. Она сейчас же побежала и нашла мельника сидящим на своей любимой садовой скамье, близ железистого источника. Он был удивлен, когда маленький друг положил на его ладонь свою руку и посмотрел на него со слезами на глазах.

- О, отец Абрам, - сказала она, - мне так жаль. Я до сих пор ничего не знала о вашей дочке. Вы еще найдете ее, надеюсь, что найдете.

Мельник посмотрел на нее с энергичной, веселой улыбкой.

- Благодарю вас, мисс Роза, - сказал он обычным приветливым тоном, но я больше не надеюсь найти Аглаю. Несколько лет я думал, что она украдена бродягами и находится в живых, но теперь я потерял эту надежду. Думаю, что она утонула.

- Я могу представить себе, - сказала мисс Честер, - как тяжело было перенести эти сомнения; а между тем, вы так веселы и всегда готовы облегчить другим их бремя. Добрый отец Абрам!

- Добрая мисс Роза, - передразнил ее мельник, улыбаясь: - кто больше вас думает о других?

Мисс Честер овладело какое-то причудливое настроение.

- Отец Абрам, - воскликнула она, - разве не было бы чудесно, если бы я оказалась вашей дочерью? Разве это не было бы романтично? Было бы вам приятно, если бы я оказалась вашей дочерью?

- Конечно, было бы, - сердечно сказал мельник. - Если бы Аглая была жива, я не мог бы пожелать лучшего, как чтобы она стала такой же маленькой женщиной, как вы. Может-быть, вы и Аглая, - продолжал он, впадая в ее шуточный тон.-- Не можете ли вы вспомнить, когда мы жили на мельнице?

Мисс Честер сразу впала в серьезное раздумье. Ее большие глаза были устремлены на что-то вдали. Отца Абрама забавляло ее быстрое возвращение к серьезности. Так она сидела долго, прежде чем заговорила.

- Нет!-сказала она, наконец, глубоко вздохнув:- я не могу вспомнить ничего, связанного с мельницей. Мне кажется, что я никогда не видела мукомольной мельницы, пока не увидела вашу потешную маленькую церковь. Ведь, если бы я была вашей дочерью, я бы вспомнила это, не правда ли? Мне так жаль, отец Абрам.

- И мне также,-сказал отец Абрам, принаравливаясь к ней:- но если вы не можете вспомнить, что вы моя девочка, то, конечно, должны помнить, что вы чья-то другая дочка. Вы, разумеется, помните своих родителей.

- О, да, я очень хорошо помню, особенно отца. Он совсем не был похож на вас, отец Абрам. Я ведь только пошутила. Пойдемте, вы достаточно отдыхали. Вы обещали показать мне сегодня прудок, где видно, как играет форель. Я никогда не видела форели...

Как-то поздно вечером отец Абрам один пошел на старую мельницу. Он часто ходил туда, посидеть и подумать о старом времени, когда жил в коттедже через дорогу. Время

притупило остроту его горя, так что воспоминание об этих временах не было болезненным. Когда Абрам Стронг в меланхоличные сентябрьские вечера сидел на том месте, где каждый день бегала Денс. с развевающимися белокурыми кудрями, на его лице не было улыбки, которую обыкновенно видели лэклэндские жители. Мельник медленно шел по вьющейся крутой дороге. Деревья толпились так близко к ее краям, что он шел в их тени, неся шляпу в руках. Белки весело бегали по старой изгороди, по его правую руку. Перепела на пшеничном жнивье звали своих птенцов. Низко стоявшее солнце посылало поток бледного золота вдоль оврага, открывавшегося на запад. Начало сентября! Всего несколько дней до годовщины исчезновения Аглаи!

Старое наливное колесо, полупокрытое горным ивня ком, украсилось пятнами теплого солнечного света, про свечивающего сквозь деревья. Коттэдж через дорогу все еще стоял, но, наверно, развалится будущей зимой от порывов ветра. Он был весь заплетен вьюнками и плетнями дикой тыквы. Дверь его висела на одной петле.

Отец Абрам толкнул дверь мельницы и тихо вошел. Затем остановился в удивлении.

Он услышал, что внутри кто-то безутешно плачет. Оглянувшись, он увидел мисс Честер. Она сидела на темной скамье, склонив голову над открытым письмом, которое держала в руках.

Отец Абрам подошел к ней и опустил одну из своих сильных рук на ее плечо. Она подняла глаза, прошептала его имя и пыталась говорить.

- Не надо, мисс Роза, - ласково сказал он: - не пытайтесь еще говорить. Когда грустно на душе, нет ничего лучше, как хорошенько тихонько выплакаться.

Казалось, что старый мельник, сам испытавший столько горя, был волшебником, умевшим отгонять это горе от других. Рыдания стали стихать. Она вытащила свой маленький платочек и вытерла слезинки, упавшие из ее глаз на большую руку отца Абрама, потом подняла голову и улыбнулась сквозь слезы. Мисс Честер умела улыбаться сквозь слезы так же, как отец Абрам мог улыбаться сквозь собственное горе. В этом отношении они были очень похожи друг на друга.

Мельник не задавал ей вопросов, но мало-по-малу мисс Честер сама начала рассказывать.

Это была старая история, которая молодым кажется такой значительной и важной, а у старых вызывает улыбку воспоминаний. Как и можно было ожидать, причиной была любовь. В Атланте жил молодой человек, наделенный добротой и всеми приятными качествами. Он открыл, что и мисс Честер обладала этими качествами более всех других обитательниц Атланты или всякой иной местности от Гренландии до Патагонии. Она показала отцу Абраму письмо, над которым плакала.

То было мужественное, нежное письмо, в немного повышенном и поучительном тоне и в стиле любовных посланий, написанных молодыми людьми, полными ласковости и иных добродетелей. Он просил руки мисс Честер и желал сейчас же повенчаться. После ее отъезда на три недели, писал он, жизнь для него стала невыносима. Он просил немедленно ответить. Если ответ окажется благоприятным, он обещал немедленно, не обращая внимания на узкоколейку, прилететь в Лэклэндс.

- В чем же беда?-спросил мельник, прочитав письмо.

- Я не могу выйти за него,- сказала она.

- Вы хотели бы выйти за него? хотели бы стать его женой? - спросил отец Абрам.

- О, я люблю его, - ответила она,- но...- голова ее опустилась, и она снова зарыдала.

- Полно, мисс Роза, вы можете довериться мне. Я вас не допрашиваю, но думаю, что вы можете положиться на меня.

- Я вам доверяю вполне,- сказала девушка,- и открою вам, почему я должна сказать Ральфу. Я-никто! У меня нет даже имени. Имя, которым я называюсь,- ложное. Ральф-благородный человек. Я люблю его всем сердцем, но никогда не смогу стать его женой.

- Что вы рассказываете!-воскликнул отец Абрам. Вы говорили, что помните своих родителей. Почему же теперь вы говорите, что у вас нет даже имени? Я не понимаю.

- Я помню их,- сказала мисс Честер,-я слишком хорошо помню их. Мои первые воспоминания относятся к нашей жизни где-то далеко на Юге. Мы много раз переезжали из города в город и из штата в штат Я собирала хлопок, работала на фабриках и часто не имела

достаточно пищи и одежды. Мать иногда бывала добра ко мне. Отец же всегда был жесток и бил меня. Мне кажется, оба они были ленивые и неположительные люди.

"Когда мы жили в небольшом городе, недалеко от Атланты, они как-то ночью сильно поспорились. Когда они бранились и упрекали друг друга, я из их слов узнала-о, отец Абрам! - я узнала, что не имею права быть... вы не понимаете? не имею права даже на имя. Я-никто!

"В ту же ночь я убежала. Добралась до Атланты и там нашла работу. Я назвалась Розой Честер и с тех пор сама зарабатываю себе средства на жизнь. Теперь вы знаете, почему я не могу выйти замуж за Ральфа и никогда не смогу объяснить ему причины".....

Лучше всякой симпатии, полезнее сожалений оказалось пренебрежительное отношение отца Абрама к ее горю.

- Дорогая моя, дорогая девочка, и это все?- сказал он.- Стыдно! Я думал, что есть какое-нибудь серьезное препятствие. Если этот прекрасный молодой человек-настоящий мужчина, ему нет никакого дела до вашего родословного дерева. Поверьте моему слову, дорогая мисс Роза, что ему важны только вы сами. Расскажите ему все откровенно так же, как вы рассказали мне, и я ручаюсь, что он посмеется над вашей историей и станет вас вдвое больше уважать.

- Я никогда не скажу ему,- ответила мисс Честер печально:- я никогда не стану женой ни его, ни другого, я не имею права.

Тут они оба увидели длинную тень, которая, качаясь, двигалась по освещенной солнцем дороге. Рядом с ней колебалась более короткая тень, и две странные фигуры приблизились к церкви. Длинную тень оказалась мисс Феба Семмерс - органистка, которая шла в церковь упражняться, более короткая тень принадлежала двенадцатилетнему мальчугану, Томми Тигу. Сегодня была его очередь накачивать орган, и его босые ножонки с гордостью подымали пыль по дороге.

Мисс Феба, в ситцевом платье с цветочками сирени с аккуратными локончиками над обоими ушами, низко поклонилась отцу Абраму и церемонно потряхнула локончиками по направлению мисс Честер. Затем она со своим помощником вскарабкалась по крутой лесенке наверх, органу.

Внизу, в сгущавшемся сумраке, сидели мисс Честер отцом Абрамом. Оба молчали; казалось, каждый был занят своими воспоминаниями. Мисс Честер сидела, подперев голову рукой и устремив глаза вдаль. Отец Абрам стоял у следующей скамьи и в раздумьи глядел через дверь на дорогу и на разрушающийся коттедж.

И вдруг вся картина преобразилась и перенесла его почти на двадцать лет назад. Пока Томми накачивал воздух, мисс Феба нажала низкую басовую ноту на органе и задержала ее, желая знать количество содержащегося в инструменте воздуха. Церковь для отца Абрама перестала существовать. Глубокая, гулкая вибрация, потрясавшая маленькое деревянное строение, была не звук органа, а гул мельничных колес. Он был уверен, что то вертится старое наливное колесо, и что сам он снова мельник,- веселый мельник на старой горной мельнице. Вот наступил вечер, сейчас через дорогу, переваливаясь, прибежит Аглая с развевающимися волосенками и позовет его ужинать. Глаза отца Абрама были устремлены на сломанную дверь коттеджа.

А затем случилось другое чудо. На галерее, наверху, длинными рядами были сложены мешки с мукой. Может быть, в одном из них побывала мышь, но как бы то ни было, от сотрясения, вызванного низкой нотой органа, сквозь щели пола галереи струей потекла мука и засыпала отца Абрама белой пылью от головы до ног.

Тут старый мельник вышел в боковой придел, замахал рукой и запел песню старого мельника:

"Вот жернов скрипит,
Мука вниз летит,
А мельник, весь белый, смеется..,"

И вот когда случилась остальная часть чуда. Мисс Честер сидела на скамье, подавшись вперед, бледная, как мука, уставившись широко раскрытыми глазами на отца Абрама. Когда он начал петь, она протянула к нему руки, губы ее зашевелились, и она позвала его, как во сне:

- Тя-тя, неси Денс домой.

Мисс Феба отпустила басовую ноту органа, но ее дело было сделано. Нота, которую она взяла, пробила двери замкнувшейся памяти, и отец Абрам схватил в объятия свою потерянную Аглаю.

Когда вы будете в Лэклэндсе, вам дополнят эту историю. Вам расскажут, как впоследствии были найдены следы, и как история дочери мельника стала известной, начиная с того момента, когда кочующие цыгане, привлеченные ее детской прелестью, в сентябрьский день украли Аглаю. Но подождите, пока вы не усядетесь комфортабельно под затененным портиком Орлиного Дома. Там вы можете слушать эту историю, сколько пожелаете. Нам же лучше закончить рассказ, пока еще мягко дрожит басовая нота мисс Фебы.

И все-таки, по-моему, самое лучшее случилось, когда отец Абрам и дочь его в сумерках возвращались вместе в Орлиный Дом,- возвращались слишком счастливые, чтобы разговаривать.

- Отец,- сказала она немного застенчиво и неуверенно: - много у вас денег?

- Много ли? - сказал мельник: - это зависит от того, сколько тебе нужно. Денег достаточно, если только ты не захочешь купить луну или еще что-нибудь в роде.

- Будет очень дорого стоить, - спросила она, всегда тщательно рассчитывающая каждый цент,- послать телеграмму в Атланту?

- А, - сказал отец Абрам, с легким вздохом, - понимаю. Ты хочешь вызвать сюда Ральфа. Аглая посмотрела на него с нежной улыбкой.

- Я хочу просить его подождать,- сказала она.- Я только что нашла отца и некоторое время хочу остаться с ним вдвоем.

Я хочу сообщить Ральфу, что ему придется подождать...

Нью-Йорк при свете костра

Перевод Зин. Львовского

Находясь на индейской территории, мы узнали много интересного про Нью-Йорк.

Мы были на охоте и однажды ночью расположились лагерем на берегу небольшого ручья. Бед Кингзбюри был опытным охотником и нашим проводником: он-то и давал нам объяснение относительно Мангаттана и странных людей, живущих там.

Бед как-то провел в столице месяц и в другие разы одну или две недели и любил рассказывать о том, что он там видел - в пятидесяти ярдах от нашего лагеря была раскинута палатка кочевых индейцев, расположившихся на ночь. Старая-престарая индианка пыталась сложить костер под железным котлом, подвешенным к трем палкам.

Бед пошел помочь ей и вскоре разжег костер. Когда он возвратился, мы стали шутить над его галантным поведением.

- О,- сказал Бед,- не стоит об этом говорить; у меня уж такая манера. Когда я вижу лэди, которая варит что-то в котле, и это ей не удастся, я сейчас же иду на помощь. Я однажды сделал то же самое в аристократическом доме в Нью-Йорке в громадной этакой высокопоставленной харчевне на Пятом авеню. Индейская лэди напомнила мне об этом. Да, я стараюсь быть вежливым и помогать дамам.

Наш лагерь потребовал подробностей.

- Я управлял ранчо Треугольника Б. в Панхандле,- сказал Бед:- оно в то время принадлежало старику Стерлингу из Нью-Йорка. Он хотел продать его и написал мне, чтобы я ехал в Нью-Йорк дать объяснения о ранчо синдикату, который собирался купить его. И вот я посылаю в Форт-Уорт, заказываю себе готовую пару за сорок долларов и пускаюсь по следу в большую деревню.

Когда я приехал, старик Стерлинг и его свита из кожи лезли вон, чтобы доставить мне удовольствие. Дела и развлечения у нас так перемешались, что половину времени нельзя было понять, что у нас идет: пир или торговля? Мы подымались по зубчатке, курили сигары, посещали театры, натирали панели...

- Натирали?-спросил один из слушателей.

- Конечно,-ответил Бед,- разве вы сами не делали этого? Бродишь кругом и стараешься смотреть на вышки небоскребов. Ну, мы продали ранчо, и старик Стерлинг зовет меня к себе в дом пообедать вечером, накануне отъезда. Это не был званый обед-только старик да я, да его жена и дочь. Но все они были очень изящно одеты, без всяких там... полевых лилий. По сравнению с ними мастер, изготовлявший мою форт-уортскую одежду, казался торговцем лошадиными попонами и веревками для скота.

Стол был убран по-парадному, весь покрыт цветами, и у каждой тарелки лежал целый набор инструментов. Вы бы подумали, что вам надо ограбить ресторан, прежде чем получить свою еду. Но я уже был в Нью-Йорке целую неделю и привык к изящным манерам. Я ждал и смотрел, как другие обращались с железными орудиями, а после с тем же оружием напал на цыпленка.

Не так уж трудно ладить с этими чудаками: надо только узнать их повадки. Дело у меня шло хорошо. Мне было прохладно и приятно, и скоро я уже болтал совершенно свободно о ранчо и о Западе и рассказывал, как индейцы едят кашу из кузнечиков и змей. Вам никогда не приходилось видеть, чтобы люди были так заинтересованы.

"Но настоящей радостью на этом пире была мисс Стерлинг. Это была маленькая плутовка, не больше двух комочков табака, но весь вид ее как будто говорил; что она - главное лицо, и вы этому верили. Впрочем,, она совсем не важничала и улыбалась мне так же, как если бы я был миллионером. Когда я рассказывал про собачий праздник у индейцев, она слушала, точно это были вести из дома.

А после того как мы поели устриц и какой-то водянистый суп и еще блюдо, никогда не входившее в мой репертуар, методистский проповедник вносит приспособление в роде походного очага, все из серебра, на высоких ножках и с лампой внизу.

Мисс Стерлинг зажигает эту машинку и начинает что-то стряпать прямо на столе, где мы ужинали. Меня удивило, отчего старик Стерланг, имея столько денег не мог нанять кухарку.

Вскоре она стала раздавать какое-то кушанье, отзывавшее сыром, при чем уверяла, что это кролик, но я готов поклясться, что кроличий хвостик и на милю никогда не мелькал там.

Последним номером в программе был лимонад. Его обносили кругом в небольших плоских стеклянных чашках и ставили около каждой тарелки. Я очень хотел пить, поэтому взял чашку и залпом выпил половину. Вот тут-то маленькая лэди и ошиблась! Лимон она положила, а сахар позабыла. У лучших хозяек бывают ошибки! Я подумал, что, может быть, мисс Стерлинг еще только учится хозяйничать и стряпать. Можно было предположить это по кролику, и я сказал себе: "Маленькая лэди, положили вы сахар или нет, я буду стоять за вас".

Тут я снова подымаю чашку и выпиваю свой лимонад до дна. И тогда все они подымают свои чашки и делают то же самое. А затем я смеюсь, чтобы показать мисс Стерлинг, что смотрю на это, как на шутку, и чтобы она не огорчалась своей ошибкой.

Когда мы перешли в гостиную, она села около меня и некоторое время разговаривала со мной,

- Это, очень любезно было с вашей стороны, м-р Кингзбюри,-сказала она,-что вы так мило покрыли мой промах. Как глупо, что я забыла положить сахар.

-Не огорчайтесь,- сказал я,- какой-нибудь счастливец в скором времени набросит свою петлю на одну маленькую хозяйку неподалеку отсюда.

- Если вы говорите про меня,- громко рассмеялась она,- то надеюсь, что он будет таким же снисходительным к моему хозяйничанью, как вы сегодня.

- Пустяки,- сказал я,- не стоит и говорить об этом: я делаю все, чтобы угодить дамам".

Бед закончил свои воспоминания. Тогда кто-то спросил его: что он считает самой яркой и выдающейся чертой нью-иоркских жителей?

- Наиболее видной и особенной чертой нью-иоркца,- ответил Бед,является любовь к Нью-Йорку. У большинства из них в голове Нью-Йорк. Они слышали о других местностях, как, например, Вако, Париж или Горячие Ключи, или Лондон, но они в них не верят. Они думают, что их город это - все!

Чтобы показать вам, как они любят его, я расскажу про одного ньюйоркца, приехавшего в Треугольник Б., когда я там работал.

Человек этот пришел искать работы на ранчо. Он говорил, что хорошо ездит верхом, и на одежде его еще видны были следы таттерсаля.

Некоторое время ему было поручено вести книги кладовой на ранчо, так как он был мастер по цыфирной части. Но это ему скоро надоело, и он попросил более деятельной работы. Служащие на ранчо любили его, но он надоедал нам своими постоянными напоминаниями о Нью-Йорке. Каждый вечер он рассказывал нам об Ист-Ривере, и Д. П. Моргане, и Музее Эден, и Хетти Грин, и Центральном Парке, пока мы не начинали бросать в него жестянками и клеймами.

Однажды этот молодец хотел взгромоздиться на брыкливого коня, тот как-то вскинул задом, и парень полетел на землю; конь отправился угощаться травой, а всадник ударился головой о пень мескитного дерева и не обнаруживал никакого желания встать. Мы уложили его в палатке, где он лежал, как мертвый. Тогда Гедеон Пиз мчится к старому доктору Слипери в Дог таун, за тридцать миль.

Доктор приезжает и осматривает больного.

- Молодцы,- говорит он,- вы смело можете разыграть его седло и одежду, потому что у него проломлен череп. Если он проживет еще десять минут, это будет поразительный случай долговечности.

Разумеется, мы не стали разыгрывать седло бедного малого,-доктор только пошутил. Но все мы торжественно стояли вокруг, простив ему то, что он заговаривал нас до смерти рассказами о Нью-Йорке.

Я никогда не видел, чтобы человек, близкий к смерти, вел себя так спокойно. Глаза его были устремлены куда-то в пространство, он произносил бессвязные слова о нежной музыке, красивых улицах и фигурах в белых одеждах и улыбался, точно смерть была для него радостью.

- Он уже почти умер,-сказал доктор:- умирающим всегда начинает казаться, что они видят открытое небо.

Клянусь, что, услышав слова доктора, нью-йоркец вдруг приподнялся.

- Скажите,- произнес он с разочарованием,- разве это было небо? Чорт возьми, а я думал, что это был Бродуэй. Товарищи, подайте мое платье. Я сейчас встану...

- Будь я проклят,- закончил Бед,- если через четыре дня он не сидел в поезде с билетом до Нью-Йорка.

Методы Шенрока Джольнса

Перевод Зин. Львовского

Я счастлив, что могу считать Шенрока Джольнса, великого нью-йоркского детектива, одним из моих друзей. Джольнса, по всей справедливости, можно назвать мозгом городского детективного дела. Он - большой специалист по машинописи, его обязанности заключаются в том, чтобы в дни расследования "тайны убийства" сидеть в главной полицейской квартире, за настольным телефоном, и принимать донесения "фантазеров", докладывающих о преступлении.

Но в иные дни, более свободные, когда донесения приходят очень вяло, а три или четыре газеты уже успели раструбить по всему миру и назвать некоторых преступников, Джольнс предпринимает со мной прогулку по городу и, к моему величайшему удовольствию, рассказывает о своих чудеснейших методах наблюдения и дедукции. Как-то на-днях я ввалился в главную квартиру и нашел великого детектива сосредоточенно глядящим на веревочку, которая была туго перевязана на его мизинце.

- Доброе утро, Уотсуп! - сказал он, не поворачивая головы:- я очень рад, что вы наконец осветили свою квартиру электричеством!

- Я очень прошу вас сказать мне, каким образом вы узнали про это? воскликнул я, пораженный. - Я уверен, что я до сих пор никому ровно даже не намекнул об этом! Электричество было проведено неожиданно, и только сегодня утром закончилась проводка.

- Да ничего легче быть не может! - весело ответил мне Джольнс. - Как только вы вошли, я тотчас же почувствовал запах вашей сигары. Я понимаю толк в дорогих сигарах и знаю еще, что лишь три человека в Нью-Йорке могут позволить себе курить хорошие сигары и в то же время оплачивать нынешние счета газового общества, Это - чепушная задача!

А вот я сейчас работаю над другой, моей собственной проблемой!

- А что за веревочка на вашем пальце? - спросил я.

- Да вот в ней-то и заключается моя проблема! - ответил Джольнс. Жена повязала эту веревочку сегодня утром для того, чтобы я не забыл послать что-то домой. Присядьте, Уотсуп, и простите... Я только несколько минут.

Выдающийся детектив подошел к стенному телефону и простоял, с трубкой у уха, минут десять.

- Принимали донесение?-спросил я после того, как он вернулся на свое место.

- Возможно, - с улыбкой возразил Джольнс: - до известной степени это тоже может быть названо донесением. Знаете, дружище, я буду с вами вполне откровенен. Я, что называется, переборщил. Я увеличивал да увеличивал дозы, и теперь дошло до того, что морфий совершенно перестал оказывать на меня действие. Мне необходимо теперь что-то посильнее! Этот телефон сейчас соединял меня с одной комнатой в отеле "Уольдорф", где автор читал свое произведение. Ну-с, а теперь перейдем к разрешению проблемы этой веревочки.

После пяти минут самой сосредоточенной тишины, Джольнс посмотрел на меня с улыбкой и покачал головой.

- Удивительный человек! - воскликнул я: - уже?!

- Это очень просто! - сказал он, подняв палец.- Вы видите этот узелок? Это для того, чтобы я не забыл!

Значит, он-незабудка! Но незабудка есть цветок (Совершенно непереводаемая игра слов. В оригинале сказано "It is a forget-me-knot! A forget-me-not is a flower. It was a sack of flour that I was to send home". Прим. перев.) и, следовательно, речь идет о мешке муки, который я должен послать домой.

- Замечательно! - не мог я удержать крик изумления.

- Не угодно ли вам пройтись со мной? - предложил Джольнс. - В настоящее время можно говорить только об одном значительном случае, сказал он мне. - Некий Мак-Карти, старик ста четырех лет от роду, умер от того, что объелся бананов. Все данные так убедительно указывали на мафию, что полиция окружила на Второй Авеню Катценъяммер Гамбринус Клуб No 2, и поимка убийцы - только вопрос нескольких часов. Детективные силы еще не призваны на помощь.

Мы с Джольнсом вышли на улицу и направились к углу, где должны были сесть в трамвай. На полпути мы встретили Рейнгельдера, нашего общего знакомого, который занимал какое-то положение в Сити-Холл.

- Доброе утро! - сказал Джольнс, остановившись.- Я вижу, что вы сегодня хорошо позавтракали.

Всегда следя за малейшими проявлениями замечательной дедуктивной работы моего друга, я обратил внимание на то, что Джольнс бросил мгновенный взгляд на большое желтое пятно на груди сорочки и на пятно поменьше на подбородке Рейнгельдера. Несомненно было, что эти пятна оставлены яичным желтком.

- Опять вы пускаете в ход ваши детективные методы!-воскликнул Рейнгельдер, улыбаясь во весь рот и покачиваясь от смеху. - Ладно, готов побиться об заклад на выпивку и сигары, что вы никак не отгадаете, чем я сегодня завтракал.

- Идет! - ответил Джольнс: - сосиски, черный хлеб и кофе!

Рейнгельдер подтвердил правильность диагноза и заплатил пари.

Когда мы пошли дальше, я обратился к моему другу за разъяснением:

- Я думаю, что вы обратили внимание на яичные пятна на его груди и подбородке?

- Верно!-отозвался Джольнс: - я именно с этого и начал! Рейнгельдер - очень экономный и бережливый человек. Вчера яйца на базаре упали до двадцати восьми центов за дюжину. Сегодня же они стоили сорок два цента. Рейнгельдер вчера ел яйца, а сегодня уже вернулся к

своему обыденному меню. С такими мелочами необходимо считаться: они очень значительны. С ними знакомишься в приготовительном классе: это - арифметика нашего дела!

Когда мы вошли в трамвай, то сразу увидели, что все места заняты преимущественно женщинами. Мы с Джольнсом остались на задней площадке.

Приблизительно посреди вагона сидел пожилой господин с короткой седенькой бородкой, который производил впечатление типичного, хорошо одетого ньюйоркца. На следующих остановках в вагон вошло еще несколько женщин, и уже три-четыре дамы стояли около седого господина, держась за кожаные ремни к выразительно глядя на мужчину, который занимал желанное место. Но тот решительно удерживал свое место.

- Мы, нью-йоркцы, - сказал я, обратись к Джольнсу, - настолько утратили свои былые манеры, что даже на людях не придерживаемся правил вежливости!

- Очень может быть! - легко ответил Джольнс: - но этот господин, о котором вы, вероятно, сейчас говорите, уроженец Старой Виргинии и притом очень вежливый и услужливый человек! Он провел несколько дней в Нью-Йорке, тут же с ним его жена и две дочери, и все они сегодня ночью уезжают на Юг.

- Вы, оказывается, знаете его?-воскликнул я, смутившись.

- Я никогда в жизни, до тех пор, пока мы не вошли в вагон, не видел его! - улыбаясь, ответил детектив,

- Но тогда, во имя золотых зубов Эндорской ведьмы, объясните мне, что это значит! Если все ваши заключения сделаны лишь на основании одной видимости, то не иначе, как вы призвали на помощь черную магию!

- Нет, это привычка к наблюдениям, и ничего больше! - ответил Джольнс.-Если этот старый джентльмэн выйдет из вагона до нас, то надеюсь, что мне удастся доказать вам всю правильность моего вывода. Через три остановки господин встал, с намерением выйти из вагона. В дверях мой друг обратился к нему:

- Простите великодушно, сэр, но не будете ли вы полковник Гюнтер из Норфолька, Виргиния?

- Нет, сэр! - последовал исключительно вежливый ответ: - моя фамилия, сэр, - Эллисон! Я - майор Унфельд Р. Эллисон, из Ферфакса в том же штате. Я, сэр, знаю очень много людей в Норфольке - Гудришей, Толливеров и Кребтри, сэр, но до сих пор я не имел удовольствия встретиться там вашего друга полковника Гюнтера. Весьма рад доложить вам, сэр, что сегодня ночью я уезжаю в Виргинию, после того как провел здесь вместе с женой и тремя дочерьми несколько дней. В Норфольке я буду приблизительно через десять дней, и, если вам угодно назвать мне ваше имя, то я с удовольствием повидаюсь с полковником Гюнтером и передам, что вы справлялись о нем.

- Душевно благодарю вас, - отозвался Джольнс: - уж раз вы так любезны, то я прошу передать ему привет от Рейнольдса. Я взглянул на великого нью-йоркского детектива и сразу заметил выражение печали на его строгом, с четкими линиями, лице. Самая маленькая ошибка в определении всегда огорчала Шенрока Джольнса.

- Вы, кажется, изволили говорить о ваших трех дочерях? - спросил он джентльмена из Виргинии.

- Да, сэр, у меня три дочери, самые очаровательные девушки во всем графстве Ферфакс! - последовал ответ

С этими словами майор Эллисон остановил вагон и начал спускаться со ступенек.

Шенрок Джольнс схватил его за руку.

- Один момент, сэр! - пробормотал он учтиво, и только я уловил в его голосе нотку волнения: - я не ошибусь, если скажу, что одна из ваших дочерей - приемная?

- Совершенно верно, сэр! - подтвердил майор, уже стоя на земле: - но какого дьявола... каким образом вы узнали это? Это - превосходит мое понимание...

- И мое. - сказал я, когда трамвай двинулся дальше. Оправившись после своей явной ошибки, Шенрок Джольнс уже вернул себе свою обычную ясность и наблюдательность, а вместе с тем и спокойствие. Когда мы вышли из вагона, он пригласил меня в кафе обещая познакомить с процессом своего последнего изумительного открытия.

- Во-первых, - начал он, когда мы устроились в кафе: - я определил, что этот джентльмен - не нью-йоркец потому, что он покраснел и чувствовал себя неловко и беспокойно под взглядами женщин, которые стояли около него, хотя он и не встал и не уступил никому из них своего места. По внешности же его я легко определил, что он скорее с Юга, нежели с Запада. А затем я задался вопросом: почему он не уступил места какой-нибудь женщине в то время, как он довольно, но не достаточно сильно чувствовал потребность сделать это? Э от вопрос я очень скоро разрешил. Я обратил внимание на то, что угол одного из его глаз значительно пострадал, был красен и воспален, и что, кроме того, все его лицо было утыкано маленькими точками, величиной с конец неочиненного карандашного графита. И, еще. на обоих его патентованных кожаных башмаках было большое количество глубоких отпечатков, почти овальной формы, но срезанных с одного конца.

- А теперь примите во внимание следующее: в Нью-Йорке имеется только один район, в котором мужчина может получить подобные царапины, раны и отметины, и это место - весь тротуар Двадцать Третьей улицы и южная часть Шестой авеню. По отпечаткам французских каблучков на его сапогах и по бесчисленным точкам на его лице, оставленным дамскими зонтиками, я понял, что он попал в этот торговый центр и выдержал баталию с амазонскими войсками. А так как у него очень умное лицо, то мне ясно стало, что по собственному почину он никогда не отважился бы на подобную опасную прогулку, а был вынужден к тому собственным дамским отрядом.

- Все это очень хорошо, - сказал я: - но объясните мне, почему вы настаиваете на том, что у него имеются дочери, и, к тому же еще, две дочери? Почему бы одной жене не удалось взять его в тот самый торговый район?

- Нет, тут обязательно были замешаны дочери! - спокойно возразил Джольнс: - если бы у него была только жена и его возраста, он заставил бы ее, чтобы она одна отправилась за покупками. Если бы у него была молодая жена, то она сама предпочла бы отправиться одна. Вот и все!

- Ладно, я допускаю и это! - сказал я. - Но теперь: почему две дочери? И еще. заклинаю вас всеми пророками, объясните мне, как вы догадались, что у него одна приемная дочь, когда он поправил вас и сказал, что у него три дочери?

- Не говорите "догадался"! - сказал мне Шенрок Джольнс с оттенком гордости в голосе: - в нашем лексиконе не имеется таких слов! В петлице майора Эллисона были гвоздика и розовый бутон на фоне листа герани. Ни единая женщина не составит комбинации из гвоздики и розового бутона в петлице. Предлагаю вам, Уотсуп, закрыть на минуту глаза и дать волю вашей фантазии. Не можете ли вы представить себе на одно мгновение, как очаровательно милая Адель укрепляет на лацкане гвоздику для того, чтобы ее папочка был поизящнее на улице? А вот заговорила ревность в ее сестрице Эдит, и она спешит вслед за Аделью вдеть в ту же петлицу и с той целью украшения розовый бутон, вы и это видите?

- А потом,- закричал я, чувствуя, как мной начинает овладевать энтузиазм:- потом, когда он заявил, что у него три дочери...?

- Я сразу увидел на заднем фоне девушку, которая не прибавила третьего цветка, и я понял, что она должна быть...

- Приемной дочерью!-перебил я его: - вы поразительный человек! Скажите мне еще, каким образом вы узнали, что они уезжают на Юг сегодня же ночью?

И великий детектив ответил мне:

- Из его бокового кармана выпирало что-то довольно большое и овальное. В поездах очень трудно достать хороший виски, а от Нью-Йорка до Ферфакса довольно долго ехать!

- Я снова должен поклониться пред вами! - сказал я. - Разъясните мне еще одну вещь, и тогда исчезнет последняя тень сомнения. Каким образом вы решили, что он - из Виргинии?

- Вот в чем я согласен с вами: тут была очень слабая примета! ответил Шенрок Джольнс. - Но ни один опытный сыщик не мог бы не обратить внимания на запах мяты в вагоне.

Новый Конэй

Перевод Зин. Львовского

- В будущее воскресенье, - сказал Деннис Карнаган, - я пойду осматривать новый остров Конэй, который вырос, как птица Феникс, из пепла. Я поеду туда с Норой Флин, и мы будем жертвою всех его мануфактурных обманов, начиная с красно - фланелевого извержения Везувия до розовых шелковых лент на курящем самоубийстве в инкубаторах.

Был ли я там раньше? Был! Я был там в прошлый вторник.

Видел ли я достопримечательности? Нет, не видел!

В прошлый понедельник я вошел в союз кладчиков кирпича; и, согласно правилам, мне в тот же день было приказано бросить работу, чтобы выразить сочувствие бастующим укладчицам консервированной лососины в Такоме, Вашингтон. Ум и чувства у меня были расстроены вследствие потери работы. Вдобавок было тяжело на душе от ссоры с Норой Флин, неделю назад, из-за резких слов, сказанных на полугодичном балу молочников и поливальщиков улиц. Слова же эти были вызваны ревностью, ужасной жарой и этим дьяволом Энди Коглин.

Итак, говорю я, я поеду на Конэй во вторник, и если американские горы, смена впечатлений и кукуруза не развлекут меня и не вылечат, тогда уж не знаю, что и делать. Вы, верно, слышали, что Конэй перестроен и в моральном отношении? Старый Бауери, где вас силой заставляли сниматься на жестяной пластинке, и где вам давали "по шее", не прочитав даже линии на вашей руке, теперь называется Биржей. Киоски с венскими сосисками обязаны теперь по закону иметь телеграфное бюро, а орехи в меду каждые четыре года осматриваются отставным мореходным инспектором. Голова негра, в которую прежде бросали шары, теперь признана нелегальной и по приказанию полицейского комиссара заменена головой шофера.

Я слышал, что прежние безнравственные увеселения запрещены. Люди, любившие приезжать из Нью-Йорка, чтобы посидеть на песке и поплескаться в волнах прибоя, теперь покидают свои дома для того, чтобы пролезть чрез вертящиеся рогатки и смотреть на подражание городским пожарам и наводнениям, нарисованным на холсте. Говорят, что изгнаны все достойные порицания и развращающие учреждения, позорившие старый Конэй, как-то: чистый воздух и незастроенный пляж. Процесс чистки заключается будто бы в том, что повышена цена с 10 до 25 центов, и что для продажи билетов приглашена блондинка, по имени Модди, вместо Микки, плутовки из Бауери. Вот что говорят; я сам точно ничего не знаю.

Итак, я отправился в Конэй во вторник. Я слез с воздушной железной дороги и направился к блестящему зрелищу. Было очень красиво.

Вавилонские башни и висячие сады на крышах горели тысячами электрических огней, а улицы были полны народа. Правду говорят, что Конэй равняет людей всех положений.

Я видел миллионеров, лузгающих кукурузу и толкущихся среди народа.

Я видел приказчиков из магазина готового платья, получающих восемь долларов в месяц, в красных автомобилях, ссорящихся теперь из-за того, кто нажмет гудок, когда доедут до поворота.

Я ошибся, - подумал я: - мне нужен не Конэй. Когда человеку грустно, ему требуются не сцены веселья. Для него было бы гораздо лучше предаться размышлениям на кладбище или присутствовать на богослужении в Райском Саду на крыше. Когда человек потерял свою возлюбленную, для него не будет утешением заказать себе горячую кукурузу или видеть, как убегает лакей, подавший ему стьянку с сахарной пудрой вместо соли, или слушать предсказания Зооокум, цыганки - хиромантки, о том, что у него будет трое детей, и что ему надо ожидать еще одной серьезной напасти: плата за предсказание двадцать пять центов.

Я ушел далеко, вниз на берег, к развалинам старого павильона, близ угла нового частного парка Дримлэнд. Год тому назад этот павильон еще стоял прямо, и слуга за мелкую монету швырял вам на стол недельную порцию клейкой рыбешки с сухарями и дружески называл вас "олухом"; тогда порок торжествовал, и вы возвращались в Нью-Йорк, имея достаточно денег в кармане, чтобы сесть в трамвай на мосту. Теперь, говорят, на берегу подают кроликов по-голландски, а сдачу вы получаете в кинематографе. Я присел у стены, старого павильона, глядел на прибой, разбегавшийся по берегу, и думал о том времени, когда прошлым летом я сидел на том же месте с Норой Флин. Это было до реформы на острове, и мы были счастливы. Мы снимались на жестяных пластинках, ели рыбу в притонах разврата, а египетская волшебница, пока я ждал у двери, по руке предсказала Норе, что для нее было бы счастьем выйти замуж за рыжеволосого малого, с кривыми ногами.

Я был вне себя от радости, услышав этот намек. Здесь, год тому назад, Нора Флин положила обе свои руки в мою руку, и мы говорили о квартире, о том, что она умеет стряпать, и о разных других любовных делах, связанных с такого рода событиями.

Это был тот Конэй, который мы любили, и на котором лежала рука Сатаны,-Конэй, дружелюбный и веселый и всякому по средствам,-Конэй без забора вокруг океана, без излишнего количества электрических огней, которые освещают теперь рукав всякого пиджака из черной саржи, обвившийся вокруг белой блузки.

Я сидел спиной к парку, где у них были и луна, и грезы, и колокольни-все вместе и тосковал по старому Конэй. На берегу было мало народа. Большинство бросало центры в автоматы, чтобы видеть в кинематографе "Прерванное ухаживание", другие дышали морским воздухом в каналах Венеции, а кое-кто вдыхал дым морского сражения между настоящими военными кораблями в бассейне, наполненном водой. Несколько человек на песчаном берегу любовались водой и лунным светом. И на сердце у меня было тяжело от новой морали на старом острове, а оркестры позади меня играли, и океан впереди меня ударял в турецкий барабан.

Я встал и прошелся вдоль старого павильона и вдруг вижу, что с другой стороны, на половину в тени, на поваленных бревнах сидит тоненькая девушка и,- честное слово! - плачет в одиночестве.

- Вас что-то огорчает, мисс?-говорю я:- чем я могу помочь вам?

- Это не ваше дело, Денни Карнаган,- говорит она, выпрямляясь.

И это был ничей иной голос, как голос Нору Флин.

- Не мое, так как вам будет угодно! - говорю я.- Хороший сегодня вечер, мисс Флин. Видели вы все зрелища на новом Конэй? Предполагаю, что вы для этого приехали сюда.

- Я все видела,-ответила она:- мама и дядя Тим ждут меня там. Я провела очень приятный вечер и видела все, что нужно.

- Вы совершенно правы,- сказал я Норе:- и я не знаю, когда мне было так весело, как сегодня. После посещения самых забавных и весьма приличных аттракционов я пошел на берег подышать свежим воздухом. А видели вы Дурбар, мисс Флин?

- Да,- ответила она, подумав,- но я думаю небезопасно спускаться по откосам вниз в воду.

- А как вам понравилось стрелять по движущейся цели?

- Я боюсь ружей,- сказала Нора.- У меня от них шумит в ушах. Но дядя Тим стрелял и выиграл сигары.

Мы сегодня очень веселились, м-р Карнаган!

- Я рад, что вам было весело,-сказал я.-Думаю, что вам доставили громадное удовольствие все здешние зрелища. А как вам понравились инкубаторы и вся эта чертовщина и ресторанчики?

- Я не была голодна,-сказала смущенно Нора.- Но мама ела везде. Мне очень нравятся все эти интересные вещи на новом Конэй, и я давно не проводила такого счастливого дня, как сегодня.

- Видели вы Венецию?-спросил я.

- Да,-ответила она:- какая красавица! Она была одета во все красное, и...

Я более не слушал Нору Флин, а подошел к ней и схватил ее в объятия.

- Какая вы выдумщица, Нора Флин,- сказал я.- Вы видели на новом острове Конэй не больше моего. Сознайтесь теперь, вы приехали, чтобы посидеть около старого павильона у волн, где вы сидели прошлым летом и сделали Денни Карнагана счастливым человеком? Отвечайте, но говорите правду.

Нора уткнулась носом в мою жилетку.

- Он мне противен, Денни! - сказала она, чуть не плача.- Мама и дядя Тим пошли осматривать выставки, а я пришла сюда думать о вас. Я не могла переносить огни и толпу. Вы простили меня, Денни, за ссору, которую я начала.

- Это была моя вина, - сказал я.- Я пришел сюда по той же причине. Посмотрите на огни, Нора,-сказал я, поворачиваясь спиной к морю: разве они не красивы?

- Очень красивы,- сказала Нора, и глаза ее загорелись:- а слышите вы, как играют оркестры? О, Денни, мне хотелось бы все это посмотреть.

- Старый Конэй умер, дорогая,- сказал я ей - все на свете идет вперед. Когда человек счастлив ему нужны не грустные зрелища.

Этот новый Конэй лучше старого, но мы не могли оценить его, пока у нас было подходящего настроения.

Закон и порядок

Перевод Зин. Львовского

Недавно я очутился в Техасе и осмотрел все старые места.

В овечьем ранчо, где я жил несколько лет тому назад, я остановился на неделю. И, как все посетители, я с головой ушел в текущую работу, которая оказалась купаньем овец. Этот процесс настолько отличается от обыкновенного крещения человека, что нуждается в пояснении.

Громадный железный котел с разведенным под ним огнем - половина всего адского огня - частью наполняется водой, которая скоро начинает неистово кипеть. Затем туда бросают известь, концентрированный щелок и серу; все это должно тушиться и выкипать до тех пор, пока это чортово варево не станет таким крепким, что могло бы обжечь руку ведьме. Это конденсированное варево затем смешивается в длинном, глубоком чане с несколькими кубическими галлонами горячей воды; овец ловят за задние ноги и бросают в эту смесь. После основательного погружения при помощи вилкообразного шеста в руках специально для этого приставленного джентльмена, овцам разрешается выкарабкаться по наклонным доскам в корраль и высохнуть там, или околеть, в зависимости от того, что им подскажет состояние их организма.

Если вам приходилось когда-нибудь ловить здорового двухгодовалого барана за задние ноги, и чувствовать те 750 вольт пинков, которые он может пропустить через вашу руку, прежде чем удастся швырнуть его в чан, вы, конечно, семнадцать раз пожелаете, чтобы он лучше околел, чем высох.

Все это сказано для того только, чтобы объяснить, почему Бед Оклей и я после купанья овец радостно растянулись на берегу charco, радуясь благоприобретенному аппетиту и чудесному соприкосновению с землей после утомительной мускульной работы.

Стадо было не большое, и мы закончили купанье в три часа пополудни. Бед вытащил из morral`я на луке своего седла кофе и кофейник, а также большой каравай хлеба и ветчину.

М-р Мильс, владелец ранчо и мой давнишний приятель уехал обратно в ранчо, в сопровождении рабочих из мексиканских trabajadores.

В то время как ветчина, поджариваясь, приятно пела, за нами раздался стук лошадиных подков. Шестизарядный револьвер Беда находился в кобуре на расстоянии десяти футов от него, но мой товарищ не обратил ни малейшего внимания на приближающегося всадника.

Такое отношение техасского ранчмена было настолько отлично от прежних обычаев, что я удивился. Инстинктивно обернувшись, чтобы разглядеть возможного врага, угрожавшего нам с тыла, я увидел всадника в черной одежде, который мог быть адвокатом или пастором, или же купцом. Он мирно ехал рысцой вдоль ручья.

Бед увидел мое движение и улыбнулся саркастически и печально.

- Вы слишком долго отсутствовали,- сказал он.- Вам больше не нужно оборачиваться в этом штате, когда кто-нибудь скачет сзади вас, пока что-нибудь не ударит вас в спину; но даже и в этом случае вам может угрожать только пачка брошюр или протест против трестов - для подписи.

Я даже не посмотрел на hombre проехавшего мимо, но готов прозакладать четверть овечьей мочки, что это какая-нибудь двуличная сволочь, раз'езжающая для собирания голосов в пользу запрещения выпивки.

- Времена переменялись, Бед,- сказал я с видом оракула:- закон и порядок теперь являются правилом на Юге и Юго-Западе.

Я заметил холодный блеск в бледно-голубых глазах Беда.

- Я не...- начал я поспешно.

- Разумеется, нет,- горячо сказал Бед.- Вы хорошо знаете. Вы здесь прежде жили. Закон и порядок, говорите вы? Двадцать лет назад они были здесь. У нас было всего два или три закона: об убийстве при свидетелях, Во поимке на месте при краже лошадей, о голосовании по республиканскому списку! А теперь что? Мы все время получаем приказы за приказами, а законность уходит из штата. Законодатели заседают в Аустине и ничего не делают, кроме того, что издадут постановление против ввоза в штат керосина и школьных учебников, Я думаю, они боятся, что кто-нибудь вечером после работы зажжет лампу и получит образование, а затем примется за дело и составит закон об отмене вышеупомянутых законов. Я стою за прежние времена, когда законы и порядок были, действительно, тем, чем назывались. Закон был законом, а порядок-порядком.

- Но...-начал я. - Пока закипит кофе,-продолжал Бед,-я хотел описать вам случаи подлинного закона и порядка, которого я был свидетелем в те времена, когда дела разрешались в камерах шестизарядного револьвера вместо камер высшего суда.

- Слыхали вы о старом Бене Киркмане, короле скота? Его ранчо тянулось от Нуесес до Рио-Гранде. В те времена, как вы знаете, были бароны скота и короли скота. Разница между ними была следующая. Если скотовод отправлялся в Сан-Антоне, заказывал пиво для газетных репортеров и сообщал им количество скота, которым в действительности владел, они в газетах называли его бароном.

Если же он заказывал шампанское и к количеству купленного им скота прибавлял количество скота, им украденного, его называли королем.

Лука Семмерс был одним из работников на его ранчо. Однажды на ранчо короля явилась кучка восточных людей из Нью-Йорка или Канзас-Сити, или откуда-то по соседству. Лука с небольшим отрядом был послан сопровождать их, смотреть, чтобы гремучим змеям было сделано должное внушение при их приближении, и отгонять с дороги скотину. Среди кучки приезжих была черноглазая девушка, которая носила второй номер ботинок. Это-все, что я заметил у нее. Но Лука, вероятно, видел больше моего, так как женился на ней за день до того, как кавалькада отправилась домой. Он переехал в Канада-Верде и обзавелся собственным ранчо. Я нарочно пропускаю всю сентиментальную часть, так как никогда не видел и не желал видеть ее. Лука взял меня с собой, потому что мы были старыми друзьями, и я ходил за скотом по его вкусу.

Я пропускаю много из того, что последовало, потому что никогда не видел и не желал видеть ничего такого,- но через три года по галерее и по дому ранчо Луки, переваливаясь и спотыкаясь, затопал мальчуган. Я никогда особенно не ценил детей, но они, повидимому, ценили.

Я опять пропускаю много из того, что последовало до того дня, когда на ранчо в наемных экипажах и телегах приехала компания друзей мс Семмерс с Востока,- сестра, что ли, и двое или трое мужчин. Один был похож на чьего-то дядю, другой ни на что не был похож, а третий носил галлифе и говорил особенным тоном голоса. Мне никогда не нравился человек, говоривший таким голосом.

Я пропускаю многое, что последовало, но однажды после обеда, когда я приехал в дом за приказаниями относительно погрузки гурта скота, я слышу словно выстрел из пугача.

Я жду у решетки, не желая вмешиваться в частные дела. Немного погодя выходит Лука и отдает приказание некоторым своим мексиканским работникам; они идут и выводят несколько экипажей, и вскоре после того выходит сестра, или что-то в этом роде, и кто-то из мужчин. Мужчины несут человека в галлифе, говорившего особым голосом, и кладут его в одну из повозок. А затем видно было, что все они направляются по дороге домой. - Бед,- говорит мне Лука,- прошу вас приодеться и поехать со мной в Сан-Антоне.

-Дайте мне надеть мои мексиканские шпоры, и я готов ехать.

Повидимому, одна из сестр, или в этом роде, осталась на ранчо с м-с Семмерс и ребенком. Мы едем в Энсиньяль, там попадаем на международный поезд и прибываем в Сан-Антоне утром. После завтрака Лука ведет меня прямо в контору адвоката. Они уходят в комнату, разговаривают там и приходят обратно.

- Никаких хлопот не будет, м-р Семмерс,- говорит адвокат.- Я сегодня же ознакомлю судью Симменса с фактами, и дело это будет проведено возможно скорее. В этом штате царят закон и порядок, такой же быстрый и верный, как где-либо в стране.

- Я подожду решения, если это не затянется более получаса,-говорит Лука.

- Ну, ну,-говорит адвокат.- Закон должен идти своим течением. Возвращайтесь послезавтра к половине девятого.

К этому времени мы с Лукой являемся, и адвокат вручает ему сложенный документ. Лука выписывает ему чек. На тротуаре Лука протягивает мне бумагу, кладет на нее палец, величиной с щекотку у ухонной двери, и говорит: Решение об окончательном разводе с присуждением ребенка!

- Не касаясь многого случившегося, чего я не знаю,-говорю я,-все это мне кажется похожим на шантаж. Что же. адвокат не мог разве уладить это?

- Бед,- говорит он, с огорченным видом,- ребенок - единственное, что мне осталось в жизни. Она может уходить, но мальчик - мой! Вы подумайте: я опекун моему ребенку.

- Хорошо,- говорю я.- Если это закон, подчинимся ему. Но я думаю, что судья Симменс мог бы применить в нашем случае известную милость или какой для этого употребляется легальный термин.

Видите ли, я не был особенно обольщен желанием иметь детей на ранчо, за исключением того сорта, которые сами кормятся и продаются по столько-то за штуку на копытах. Но Лука был заражен тем видом родительской дури, которую я никогда не мог понять. Все время, пока мы ехали со станции обратно в ранчо, он продолжал вынимать декрет суда из кармана, класть палец на его изнанку и читать заглавие.

- Опекун над ребенком, Бед-говорит он.- Не забудь: опека над ребенком.

Но когда мы достигли ранчо, мы увидели, что наш судебный декрет предупрежден, и решение отменено. М-с Семмерс и ребенок исчезли. Нам рассказали, что через час после того, как я с Лукой отправился в Сан-Антоне, она велела запрягать и отправилась на ближайшую станцию со своими чемоданами и ребенком.

Лука еще раз вытаскивает свой декрет и читает о своих правах.

- Ведь невозможно, Бед, чтобы это так осталось. Это противоречит закону и порядку. Ведь здесь же написано ясно, как цент! Опекун над ребенком. Ребенок присужден мне!

- По человечеству,- говорю я - следовало бы прихлопнуть их обоих... я говорю о ребенке.

- Судья Симменс, - продолжал Лука,- вернейший слуга закона. Она не имела права взять мальчика. Он принадлежит мне по статутам, принятым и утвержденным в штате Техасе,

- Но он из'ят из юрисдикции мирских приказов,- говорю я,- неземными статутами женского пристрастия. Будем восхвалять творца и благодарить его даже за малые милости...- начал я, но вдруг вижу, что Лука не слушает меня.

Несмотря на усталость, он требует свежую лошадь и отправляется обратно на станцию.

Он возвращается через две недели и мало говорит.

- Мы не могли найти след,- заявляет он,- но мы телеграфировали столько, сколько могла вынести проволока. Мы пригласили для розысков этих городских ищек, которые называются детективами. Пока же, Бед,- говорит он,- мы отправимся об'езжать скот на Брэж-Крик и будем ждать действия закона.

После этого мы никогда больше не намекали на это происшествие. Пропускаю многое, что случилось за следующие двенадцать лет.

Лука был назначен шерифом графства Мохад. Он сделал меня своим помощником по канцелярии.

Не создавайте в уме своем ложных представлений, будто заведующий канцелярией только веде счета и снимает копии с писем прессом для выжимки яблок. В то время его делом было охранять окна сзади, чтобы никто не мог подойти к шерифу с тыла. Тогда у меня были качества, нужные для этого дела. В Мохадской провинции царили закон и порядок: были школьные учебники и виски, сколько угодно. А правительство строило собственные военные корабли и не собирало деньги для их постройки со школьников. И, как я говорил, царили закон и порядок, вместо всяких указов и запрещений, которые уродуют наш штат в настоящее время.

Наша канцелярия помещалась в Бильдаде, главном городе графства, оттуда мы выезжали в редких случаях для усмирения беспорядков и волнений, случавшихся в районе нашей юрисдикции.

Пропуская многое, что случилось, пока мы с Лукой шерифствовали, я хочу дать вам представление о том, как в прежние времена почитался закон. Лука был одним из наиболее добросовестных людей в мире. Он никогда не был особенно хорошо знаком с писанным законом, но носил внедренными в свой организм природные зачатки справедливости и милосердия. Если какой-нибудь уважаемый гражданин, бывало, застрелит мексиканца или задержит поезд и очистит сейф в служебном вагоне, и если Луке удастся поймать его, он делает виновному такое внушение и так выругает его, что тот вряд ли когда-нибудь повторит свой поступок. Но пусть только кто-нибудь украдет лошадь, - если только это не испанский пони, - или разрежет проволочную ограду или иным образом нарушит мир и достоинство провинции Мохата, мы с Лукой напустимся на него с habeas corpus, бездымным порохом и всеми современными изобретениями справедливости и формальности.

Мы, конечно, держали свою провинцию на базисе законности. Я знал людей восточной породы в примятых фуражечках и ботинках на пуговицах, которые выходили в Бильдаде из поезда и ели сандвичи на железнодорожной станции, не будучи застреленными или хотя бы связанными и утащенными гражданами нашего города.

У Луки были собственные понятия о законности и справедливости. Он как бы готовил меня в преемники по должности, всегда думая о том времени, когда оставит шерифство. Ему хотелось выстроить себе желтый дом с решеткой под портиком, и хотелось еще, чтобы куры рылись у него во дворе. Самым главным для него был двор.

- Я устал от далей, горизонтов, территорий, расстояний и тому подобного, - говорил Лука. - Я хочу разумного дела. Мне нужен двор с решеткой вокруг, куда можно войти, и в котором можно сидеть после ужина и слушать крик козодоя.

Вот какой это был человек! Он любил домашнюю жизнь, хотя и не был счастлив в подобного рода предприятиях. Он никогда не говорил о том времени на ранчо.

Он как будто забыл о нем. Я удивлялся. Думая о дворах, цыплятах и решетках, он, казалось, забывал о своем ребенке, которого у него противозаконно отняли, несмотря на решение суда. Но он был не такой человек, чтобы можно было его спросить о подобных вещах, когда сам он не упоминал о них в своем разговоре. Я полагаю, что все свои мысли и чувства он вложил в исполнение своих обязанностей шерифа. В книгах я читал о людях, разочаровавшихся в этих тонких и поэтических делах с дамами; эти люди отрекались от такого дела и углублялись в какое -нибудь занятие, в роде писания картин или разводки овец, или науки, учительства в школах - чтобы забыть прошлое. Мне кажется, что то же было и с Лукой. Но так как он не умел писать картины, то стал ловить конокрадов и сделал графство Мохата безопасной местностью, где вы могли спокойно спать, если были хорошо вооружены и не боялись тарантулов.

Однажды чрез Бильдад проезжала кучка капиталистов с Востока; они остановились здесь, так как Бильдад - станция с буфетом. Они возвращались из Мексики, где осматривали рудники и прочее. Их было пятеро. Четверо солидных людей с золотыми цепочками, которые в среднем стоили более двухсот долларов каждая, и мальчик лет семнадцати-восемнадцати. На этом мальчике был одет костюм ковбоя; подобные костюмы эти неженки берут с собой на Запад.

Легко можно было догадаться, как страстно юнец мечтал захватить пару индейцев или же убить одного-двух медведей из маленького револьвера с выложенной перламутром ручкой. Такой револьвер висел у него на ремне вокруг пояса. Я спустился на станцию, чтобы присмотреть за этой публикой: чтобы они не арендовали какой-нибудь земли или не спугнули коней, привязанных перед лавкой Мурчисона, или не допустили бы другого предосудительного поступка.

Лука отправился ловить шайку воров скота вниз на Фрио, а я всегда в его отсутствие наблюдал за законом и порядком.

После обеда, пока поезд стоял на станции, мальчик выходит из обеденного зала и важно разгуливает взад и вперед по платформе, готовый застрелить всех антилоп, львов и частных граждан, которые вздумают досаждать ему. Это был красивый ребенок, но такой же, как все эти пижоны; он не мог распознать город, где царил закон и порядок.

Вскоре подходит Педро Джонсон, владелец "Хрустального Дворца-харчевни" где подают рагу из бобов,- в Бильдаде Педро был человек, любивший позабавиться. Он стал преследовать мальчика, смеясь над ним до упаду. Я находился слишком далеко, чтобы слышать что-либо, но мальчик, очевидно, сделал Педро какое-то замечание, а Педро подошел к нему, ударом отбросил его далеко назад и захохотал пуще прежнего.

Тут мальчик вскакивает на ноги скорее еще, чем упал, вытаскивает револьвер с перламутровой ручкой и-бинг-бинг-бинг! - три раза попадает в Педро, в специальные и наиболее ценные части его тела.

Я видел, как пыль подымалась от его одежды всякий раз, как пуля попадала в него.

Иногда эти маленькие тридцатидвухлинейные игрушки, следуя близко одна за другой, могут причинить неприятность.

Раздается третий звонок, и поезд медленно начинает отходить. Я направляюсь к мальчику, арестую его и отбираю оружие. Но в эту минуту шайка капиталистов устремляется к поезду. Один из них нерешительно, на секунду, останавливается передо мной, улыбается, ударяет меня рукой под подбородок, и я растягиваюсь на платформе в сонном состоянии. Я никогда не боялся ружей, но не желаю, чтобы кто-нибудь, кроме цирюльника, в другой раз позволял себе такие вольности с моим лицом. Когда я проснулся, весь комплект- поезд, мальчик и все остальное - исчезли. Я спросил про Педро; мне ответили, что доктор надеется на его выздоровление, если только раны не окажутся роковыми.

Лука через три дня вернулся. Когда я все рассказал ему, он совсем взбесился.

- Почему ты не телеграфировал в Сан-Антоне, чтобы там арестовали всю шайку?- спрашивает он.

- О,-говорю я:- я всегда восхищался телеграфией, но в ту минуту был больше занят астрономией. Капиталист этот здорово знает, как жестикулировать руками. Лука все более и более бесился.

Он сделал расследование и нашел на станции карточку, оброненную одним из капиталистов, на которой имелся адрес некоего Скедере из Нью-Йорка.

- Бед! - говорит Лука,- я отправляюсь за шайкой. Я еду в Нью-Йорк, захвачу этого мужчину или мальчика, как ты говоришь, и привезу его сюда. Я-шериф графства Мокада и буду поддерживать закон и порядок в его пределах, пока я в состоянии держать в руках револьвер. Я желаю, чтобы ты ехал со мной. Никакой восточный янки не может подстрелить почтенного и известного гражданина города Бильдада, в особенности тридцать вторым калибром, и избежать законной кары. Педро Джонсон - один из наших выдающихся граждан и деловых людей. Я назначу Сама Билля заместителем шерифа, с правом наложения исправительных наказаний, на время своего отсутствия, а мы оба сядем на поезд к Северу завтра, в шесть часов сорок пять вечера, и отправимся по следу. - Хорошо, я еду с вами,-говорю я:-я никогда не видел Нью-Йорка и охотно посмотрю на него.

-Но, Лука,-говорю я,- не нужно ли тебе иметь какое-либо разрешение или habeas corpus или что-нибудь другое от штата, чтобы ехать так далеко за богатыми людьми и преступником?

- Разве было у меня разрешение,- говорит Лука,- когда я отправился в глубины Бразоса и привез обратно Билля Граймса и еще двоих за задержание международного поезда? Было ли у тебя или у меня полномочие, когда мы окружили тех шестерых мексиканских воров скота в Гидальго? Моя обязанность - поддерживать порядок в графстве Мохада!

- А моя обязанность, как заведующего канцелярией,- говорю я,смотреть, чтобы все делалось согласно закону. Нам обоим следует держать все в образцовом порядке.

Итак, на следующий день Лука укладывает одеяло и несколько воротников и путеводитель в дорожный мешок, и оба мы мчимся в Нью-Йорк. Это была страшно длинная дорога. Диваны в вагонах оказались слишком короткими для того, чтобы шестифутовым молодцам в роде нас было удобно спать на них и кондуктору пришлось удерживать нас от намерения выйти в каждом городе, где были пятиэтажные дома.

Но мы прибыли наконец в Нью-Йорк и сразу же увидели, в чем дело.

- Лука,- говорю я:- как заведующий канцелярией и с точки зрения закона, я не нахожу, чтобы этот город действительно и законно находился под юрисдикцией графства Мохада, Техас.

- С точки зрения порядка,-сказал он,- всякий несет ответственность за свои грехи перед законом, установленным властью, от Бильдада до Иерусалима.

- Аминь! - сказал я.- Но постараемся сыграть свою штуку внезапно и удерем!

Мне не нравится вид этого места.

- Подумай о Педро Джонсоне,- сказал Лука,- о моем и твоём друге, застреленном одним из этих позолоченных аболиционистов у самых своих дверей.

- Это случилось у дверей товарной станции,- сказал я.- Но закон из-за такой придирки обойти нельзя.

Мы остановились в одном из больших отелей на Бродуэе. На следующее утро я спускаюсь по лестнице, мили две до самого дна гостиницы, и ищу Луку. Напрасно! Все вокруг-точно в день святого Хасинто в Сан-Антоне. Тысячи людей вертятся вокруг на каком-то подобии крытой площади, с мраморной мостовой и растущими прямо из нее деревьями.

Найти Луку у меня было не более шансов, как если бы мы искали друг друга в большой кактусовой заросли внизу у старого порта Юель, но вскоре мы наскакиваем друг на друга на одном из поворотов мраморных аллей.

- Ничего не поделаешь, Бед!-говорит он:- я не могу найти, где бы нам поесть. Я по всему лагерю искал вывеску ресторана и нюхал, не пахнет ли где ветчиной. Но я привык голодать, когда приходится. Теперь,-говорит он-я ухожу. Найму клячу и поеду по адресу на карточке Скеддера. Ты оставайся здесь и постарайся раздобыть какой-нибудь еды. Однако сомневаюсь, чтобы ты нашел что-нибудь. Жалею, что мы не взяли с собой кукурузной муки, ветчины и бобов. Я вернусь, повидав этого Скеддера, если только след не заметен.

Я отправляюсь в фуражировку за завтраком. Соблюдая честь Мохата, Техас, я не хотел казаться перед этими аболиционистами новичком, а поэтому каждый раз, заворачивая за угол мраморного вестибюля, я подходил к первому попавшемуся столу или прилавку и искал еду. Если я не находил того, что мне нужно было, то спрашивал что-нибудь другое. Через пол-часа у меня в кармане была дюжина сигар, пять книжек журналов и семь или восемь расписаний железнодорожных поездов, но нигде - ни малейшего запаха кофе или ветчины, который мог бы навести на след.

Раз какая-то леди, сидевшая у стола и игравшая во что-то вроде бирюлек, посоветовала мне пойти в чулан, которой она называла No 3. Я вошел и запер дверь, и чулан сразу осветился. Я сел на стул перед полочкой и стал ждать. Сажу и думаю: "это-отдельный кабинет", но ни один лакей не явился. Когда я совсем пропотел, то вышел оттуда. - Получили вы, что вам нужно?-спросила она.

- Нет, м-ам,- ответил я.

- Значит, с вас ничего не следует,- говорит она.

- Благодарю вас, м-ам,- говорю я и снова пускаюсь по следу.

Вскоре я решаю отбросить этикет. Я ловлю одного из мальчиков в синей куртке с желтыми пуговицами спереди, и он ведет меня в комнату, которую называет комнатой для завтрака. И первое, что мне попадает на глаза, как только я вхожу,-это мальчик, стрелявший в Педро Джонсона. Он сидел один за маленьким столиком и ударял ложкой по яйцу с таким видом, точно боялся разбить его.

Я сажусь на стул против него. Он принимает оскорбленный вид и делает движение, как будто хочет встать.

- Сидите смирно, сынок! - говорю я.- Вы захвачены, арестованы и находитесь во власти техасских властей. Ударьте по яйцу сильнее, если вам нужно его содержимое. Теперь скажите: зачем вы стреляли в м-ра Джонсона в Бильдаде?

- Могу я осведомиться, кто вы такой? - говорит он.

- Можете,- говорю я,- начинайте.

- Допустим, что вы имеете право,- говорит малыш, не опуская глаз.Но что вы будете есть? Человек,- зовет он, подымая палец,- примите заказ этого джентльмена!

- Бифштекс!-говорю я,- и яичницу. Банку персиков и кварту кофе! Этого, пожалуй, будет достаточно.

Мы некоторое время разговариваем о разных разностях, затем он заявляет:

- Что вы намерены сделать по поводу этой стрельбы? Я имел право стрелять в этого человека, - говорит он.-Он называл меня словами, которые я не мог оставить без внимания, а затем ударил меня. У него тоже было оружие! Что же мне оставалось делать?

- Нам придется увезти вас обратно в Техас,-говорю я.

- Я охотно бы поехал туда,- отвечает мальчик, усмехаясь,- если бы это не было по такому делу. Мне нравится тамошняя жизнь. Мне всегда, с тех пор как я себя помню, хотелось скакать верхом, стрелять и жить на открытом воздухе.

- Кто были эти толстяки с которыми вы ездили?- спросил я.

- Мой отчим,- говорит он,- и его компаньоны по мексиканским рудникам и земельным предприятиям,

- Я видел, как вы стреляли в Педро Джонсона,- говорю я,- я отобрал у вас ваш маленький револьвер. И когда отбирал, то заметил три или четыре маленьких шрама рядом над вашей правой бровью. Вы уже раньше бывали в переделках, не правда ли? - Эти шрамы у меня с тех пор, как я себя помню,говорит он,- не знаю, отчего они.

- Были вы прежде в Техасе?-спрашиваю я.

- Я этого не помню,-говорит он:- когда мы попали в прерии, мне показалось, что я там бывал. Думаю, что не бывал.

- Есть у вас мать?-говорю я.

- Она умерла пять лет назад,- заявляет он.

Пропускаю большую часть того, что последовало. Когда вернулся Лука, я привел к нему мальчика. Лука был у Скеддера и сказал все, что ему нужно было. И, повидимому, Скедер сейчас же после его ухода поработал-таки по телефону. Потому что через час в наш отель явилась одна из этих городских ищеек, которые именуются детективами, и препроводил всю нашу компанию на так называемый полицейский суд...

Луку обвиняли в покушении на похищение несовершеннолетнего и потребовали объяснений.

- Этот глупец, ваша честь.- говорит Лука судье,- выстрелил и предумышленно с предвзятым намерением ранил одного из наиболее уважаемых граждан города Бильдада в Техасе и вследствие этого подлежит наказанию. Настоящим я предъявляю иск и прошу у штата Нью-Йорк выдачи вышеупомянутого преступника. Я знаю, что это он сделал.

- Есть у вас обычные в таких случаях и необходимые документы от губернатора вашего штата?-спрашивает судья.

- Мои обычные документы,-говорит Лука,- были взяты у меня в отеле этими джентльмэнами, представителями закона и порядка в вашем городе. Это были два кольта сорок пятого калибра, которые я ношу девять лет. Если мне их не вернут, то будет еще больше хлопот. О Луке Семмерсе можете спросить кого угодно в графстве Мохата. Для того, что я делаю, мне обычно не требуется других документов.

Я вижу, что у судьи совсем безумный вид. Поэтому я поднимаюсь и говорю:

- Ваша честь, вышеупомянутый ответчик, м-р Лука Семмерс - шериф графства Мохата, Техас, и самый лучший человек, когда-либо бросавший лассо или поддерживавший законы и примечания к ним величайшего штата в союзе. Но он...

Судья ударяет по столу деревянным молоточком и спрашивает, кто я такой.

- Бед Оклея,-говорю я,- помощник по канцелярской части шерифской канцелярии графства Мохата, Техас, Я представляю собой законность, а Лука Семмерс - порядок. И если ваша честь примет меня на десять минут для частного разговора, я объясню вам все и покажу справедливые и законные реквизиционные документы, которые держу в кармане.

Судья слегка улыбнулся и сказал, что согласен поговорить со мной в своем частном кабинете. Там я рассказываю ему все дело своими словами, и, когда мы выходим, он объявляет вердикт, согласно которому молодой человек отдается в распоряжение техасских властей.

Затем он вызывает по следующему делу.

Пропуская многое из того, что случилось по дороге домой, расскажу вам, как кончилось дело в Бильдаде.

Когда мы поместили пленника в шерифской канцелярии, я говорю Луке:

- Помнишь ты своего двухлетнего мальчугана, которого у тебя украли, когда началась суматоха?

Лука нахмурился и рассердился. Он не позволял никому говорить об этом деле и сам никогда не упоминал о нем.

- Приглядишься,-говорю я.-Помнишь, как он ковылял как-то по террасе, упал на пару мексиканских шпор и пробил себе четыре дырочки над правым глазом? Посмотри на пленника,- говорю я,- посмотри на его нос и на форму головы. Что, старый дурак, неужели ты не узнаешь собственного сына? -Я узнал его,-говорю я,- когда он продырявил мистера Джона на станции.

Лука подходит ко мне, весь дрожа. Я никогда раньше не видел, чтобы он так волновался.

- Бед,-говорил он.- Я никогда, ни днем, ни ночью, с тех пор как он был увезен, не переставал думать о моем мальчике. Но я никогда не показывал этого. Можем ли мы удержать его? Может ли он остаться здесь? Я сделаю из него самого лучшего человека, какой когда-либо опускал ногу в стремя. Подожди минутку,- говорит он возбужденно и едва владея собой:- у меня тут что-то есть в конторке. Полагаю, что оно еще имеет законную силу, я рассматривал его тысячу раз. "Присуждение ребенка",- говорит Лука,-"при-суж-дение ребенка". Мы можем удержать его на этом основании, не правда ли? Посмотрю, не найду ли я этого постановления.

Лука начинает разрывать содержимое конторки на клочки. Подожди,-говорю я,- ты-Порядок, но я-Законность. Тебе нечего искать эту бумагу, Лука! Она находится в делах полицейского суда в Нью-Йорке. Я взял ее с собой, потому что я - управляющий канцелярией и знаю закон.

- Я получил мальчика обратно,- говорит Лука:- он снова мой, я никогда не думал.

- Подожди минутку,- говорю я.- Надо, чтобы у нас царили законность и порядок. Ты и я должны поддерживать их в графстве Мохадда, согласно нашей присяге и совести. Мальчонка стрелял в Педро Джонсона, в одного из бильярдских выдающихся и...

- Чепуха!-говорит Лука.- Это ничего не значит! Ведь этот Джонсон был на половину мексиканец.

Калиф и хам

Перевод Зин. Львовского

Безусловно, нет более интересного препровождения времени, как вращаться инкогнито среди людей богатых и с высоким положением.

Где, как не в этих кругах, можно наблюдать жизнь в ее примитивном сыром виде, не скованную условностями, связывающими обитателей более низких сфер.

Был некий багдадский калиф, имевший привычку ходить среди людей бедных и низкого положения и удовольствия ради выслушивать их сказки и истории. Не странно ли, что люди скромные и бедные не воспользовались радостями, что могли бы узнать, одевшись в шелка и брильянты и разыгрывая калифа в местах, посещаемых высшим светом?

Был челрвек, увидевший возможность такого подражания Гаруну-аль-Рашиду. Звали его Корни Бранниган, и был он ломовым извозчиком импортной фирмы на Канал-Стрит. Если вы прочтете далее, то узнаете, как он превратил верхний Бродуэй в Багдад и узнал о самом себе нечто, чего не знал раньше.

Многие называли бы Корни снобом, предпочтительно по телефону! Главным интересом его жизни, его любимым удовольствием и единственным развлечением после рабочего дня было - противопоставить себя элегантным и богатым людям. Ведь у него не было надежды войти в их круг.

Каждый вечер, распрягнув лошадь и пообедав в закусочной, где быстрота услужения была специальностью,

Корни одевался в вечерний костюм, такой же корректный, какой можно встретить только в вестибюле отелей. Затем он отправлялся по сверкающей восхитительной дороге, посвященной Теспису, Таис и Бахусу.

Некоторое время он бродил по передним шикарным отелям с чувством полного удовлетворения.

Красивые женщины, воркующие, как голубки, но украшенные перьями райских птиц, проходя, задевали его своими платьями. Их сопровождали изящные кавалеры, галантные и услужливые. А сердце Корни колотилось, как у сэра Ланцелота, потому что зеркало говорило ему, когда он проходил мимо:

"Корни, голубчик, между ними нет ни одного, который был бы элегантнее тебя. А ты погоняешь ломовых лошадей, тогда как они задают фасон, бывают в картинных галереях и имеют все, что только есть лучшего в стране".

Зеркало говорило правду. М-р Корни Бранниган усвоил себе наружный лоск, если и не усвоил ничего иного. Продолжительное и внимательное наблюдение вежливого общества привило ему манеры, изящный вид и - что было труднее всего! - выдержанность и непринужденность.

Время от времени Корни удавалось заводить в отелях разговоры и краткие знакомства с солидными, если не знатными, посетителями. Со многими из них он обменялся карточками и полученные карточки тщательно хранил, надеясь впоследствии воспользоваться ими. Выйдя из вестибюля отеля, Корни с праздным видом бродил по улицам, останавливался у входа в театр и заходил в фешенебельные рестораны, как бы разыскивая знакомого. Он редко бывал посетителем этих мест, уподобляясь не пчеле, прилетевшей собирать мед, но бабочке, сверкающей крыльями среди цветов, в чашечках которых не содержалось для нее сладкого сока. Его жалованье было не достаточно, чтобы дать ему нечто большее, чем внешний вид джентльмена. Корни Бранниган охотно отдал бы свою правую руку, только бы быть одним из тех созданий, которым он так ловко подражал.

Однажды ночью с ним случилось следующее. Насладившись прелестью часового шатания по главнейшим отелям на Бродуэе, он перешел в театральный квартал. Кучера кэбов окликали его, видя в нем пассажира, что доставляло ему тщеславное удовольствие. Томные взгляды были обращены на него, как на источник омаров и упоительной шипучки. Эти заигрывания и бессознательные комплименты Корни глотал, как манну, и надеялся, что Билли, его лошадь, утром будет меньше хромать на левую переднюю ногу. Под купой молочно-белых электрических шаров Корни остановился для того, чтобы полюбоваться блеском своих низко вырезанных лаковых ботинок. В угловом здании помещалось претенциозное кафе. Оттуда вышла парочка - дама в белом, прозрачном, как паутина, платье с накинутым на него, точно туманная дымка, кружевным манто, и мужчина, высокий, безукоризненный, самоуверенный, - слишком самоуверенный. Они двинулись к краю тротуара и остановились. Глаза Корни, всегда ищущие примера в поведении щеголей, искоса следили за ними.

- Экипажа нет,- сказала дама,- вы приказали ему дожидаться?

- Я заказал его к половине десятого,- ответил фронт.- Он сейчас будет. Знакомая нотка в голосе дамы привлекла особое внимание Корни. Она звенела в тоне хорошо ему известном. Мягкий электрический свет падал на ее лицо. Для сестер по горю нет определенных кварталов. В указателе книги разбитых сердец вы увидите, что Бродуэй следует очень близко за Бауери. Лицо этой лэди было печально, и голос ее звучал также жалобно. Они ждали экипажа, Корни тоже ждал, потому что был на улице и никогда не терял случая проследить за поведением джентльменов,

- Джэк,- сказала дама,- не сердитесь. Я сделала сегодня все, что могла, чтобы угодить вам. Зачем вы так поступаете со мной?

- О, вы ангел,- ответил мужчина. - Известна женская манера во всем винить мужчину.

- Я не виню вас, я стараюсь сделать вас счастливым...

- Вы беретесь за это весьма странным образом!

- Вы без всякой причины были неласковы со мной весь вечер.

- О, причины нет никакой, кроме того что вы надоели мне.

Корни вынул портфельчик для визитных карточек и пересмотрел свою коллекцию. Он выбрал одну, на которой было написано: "М-р Уайт, Кенсингтон, Лондон". Эту карточку он получил от туриста в отеле "Король Эдуард". Корни подошел к джентльмену и подал ему карточку с самым корректным видом.

- Могу я спросить, чему я обязан этой честью?- спросил спутник лэди.

Корни Браннигам обычно следовал весьма мудрому правилу: мало говорить во время своих подражаний багдадскому калифу. Он, никогда не слышав, верил в изречение лорда Честерфильда: "Носи черный фрак и держи язык за зубами". Но сейчас от него спрашивалось и требовалось слово.

- Никакой джентльмэн,- сказал Корни, - не стал бы так разговаривать с лэди. Стыдно, Вилли. Если она даже ваша жена, все же вам следует больше уважать свой наряд и не отталкивать ее таким образом. Может быть, это не мое дело, но все равно: вы, по моему мнению, совершенно не правы.

Спутник лэди дал более элегантно выраженный, но дерзкий ответ. Корни, пользуясь своим лексиконом ломового извозчика, отвечал, насколько мог, вежливыми фразами. Затем дипломатические сношения прервались.

Последовала краткая, но оживленная стычка другим, не словесным, оружием, из которой Корни легко вышел победителем.

Подъехала карета, управляемая запоздавшим и взволнованным кучером.

- Не откроете ли вы мне дверцу? - спросила лэди. Корни помог ей войти и снял шляпу. Спутник ее начал подниматься с тротуара.

- Прошу извинения, м-ам, если это ваш муж,-сказал Корни.

- Он не мой муж, сказала лэди.-Может-быть, он... но теперь уже нет надежды, чтобы это случилось. Поезжайте домой, Майкель. Если вам приятно, примите это и мою благодарность.

Три красные розы были брошены из окна кареты в руку Корни. Он схватил их, а также и руку, на одно мгновение, а затем карета умчалась. Корни поднял шляпу своего врага к началу счищать пыль с его одежды.

- Пойдемте,-сказал Корни, взяв его за руку.

Бывший соперник был еще немного оглушен полученными ударами. Корни осторожно довел его до салуна, через три двери.

- Виски! - сказал Корни: - для меня и моего друга!

- Вы - странный малый, - сказал бывший спутник лэди: - сперва вы колотите человека, а затем стараетесь привести его в себя.

- Вы - мой лучший друг! - восторженно произнес Корня.- Вы не понимаете? Так слушайте. Вы открыли мне глаза. Я долгое время разыгрывал джентльмэна, воображая, что у меня только тряпки его, и ничего больше. Скажите: вы - ведь барин, не правда ли? Вы возвращаетесь среди этого класса. Я - нет. Но я открыл одну вещь.

Я джентльмэн, и теперь я твердо знаю это. Что вам угодно выпить?

Брильянт богини Кали

Перевод Зин. Львовского

Первоначальная статья, касающаяся брильянтов богини Кали, была вручена заведующему отделом городской хроники. Он улыбнулся и подержал ее мгновение над корзиной для мусора. Затем, положив статью обратно на письменный стол, он сказал:

- Попробуйте поговорить с сотрудниками воскресного приложения; они, может - быть, и сделают что-нибудь из этого.

Воскресный редактор рассмотрел статью и промычал:

- Гм!

Затем он послал за репортером и преподал ему пространные указания.

- Вы можете побывать у генерала Людло,- сказал он,- и составить из этого рассказ. Истории о брильянтах вообще - дрянь, но этот достаточно крупен, чтобы его нашла уборщица завернутым в газету под угол линолеума и засунутым в сени.

Прежде всего узнайте, нет ли у генерала дочери, которая собиралась бы поступить на сцену. Если нет, то можете писать рассказ. Поместите выписки о Кохиноре и о коллекции Д. П. Моргана и вставьте картинки Кимберлэйских рудников и Барней Барнато.

Дополните сравнительной таблицей стоимости брильянтов, радия и телячьих котлет со времени мясной забастовки, и пусть все это займет полстраницы.

На следующий день репортер принес свой рассказ. Воскресный редактор пробежал глазами по строкам,

- Гм! - снова сделал он.

На этот раз рукопись почти без колебаний отправилась в мусорную корзину.

У репортера немного сжались губы, но, когда я часом позже пришел поговорить с ним об этом, он посвистывал не громко, но с довольным видом.

- Я не сержусь на старика,- сказал он великодушно.- Не сержусь за то, что он выбросил мою статью. Действительно, она могла показаться странной. Но случилось именно так, как я написал. Послушайте, отчего бы вам не выудить рассказа из корзины и не пустить его в дело? Он не хуже всей той чепухи, которую вы пишете.

Я принял комплимент. Если вы станете читать дальше, то познакомитесь с фактами, касающимися брильянта богини Кали, за верность которых ручается один из самых надежных репортеров.

Генерал Марцелус Б. Людло живет в одном из разрушающихся почтенных старых домов из красного кирпича на одной из двадцатых улиц Запада.

Генерал - член одной старой нью-йоркской семьи, которая к рекламам не прибегает. Он- путешественник по рождению, джентльмэн по вкусу, миллионер по милости неба и знаток драгоценных камней по роду занятий.

Репортер был принят немедленно, как только явился к генералу в дом, около восьми часов тридцати минут вечера, в день получения предписания. В роскошной библиотеке его приветствовал просвещенный путешественник и знаток - высокий, стройный джентльмэн, лет немногим больше пятидесяти, с почти белыми усами и такой военной выправкой, что в нем едва ли можно было найти след национального гвардейца.

Его обветренное лицо осветилось чарующей улыбкой и выражением интереса, когда репортер познакомил его с целью своего прихода.

- А, вы слышали о моей последней находке? Я рад показать вам камень, который считаю одним из шести существующих на земле наиболее ценных голубых брильянтов.

Генерал открыл в одном из углов библиотеки небольшой сейф и вынул из него оклеенную плюшем коробку. Открыв ее, он выставил изумленному взгляду репортера громадный сверкающий брильянт, величиной приблизительно с крупную градину.

- Этот камень,- сказал генерал,- нечто большее, чем драгоценность. Он прежде составлял центральный глаз трехглазой богини Кали, которой поклоняется одно из наиболее свирепых и фанатичных племен Индии. Садитесь поудобнее, и я расскажу вам. для вашей газеты, краткую историю этого камня.

Генерал Людло вынул из шкафа графинчик виски и стаканы и подвинул счастливому репортеру удобное кресло.

- Фансигары, или туги,- начал генерал, - являются одной из наиболее опасных и внушающих страх сект в северной Индии. В религии они экстремисты и поклоняются ужасной богине Кали, в виде ее изображений.

Их обряды кровавы и интересны. По их странному религиозному кодексу, ограбление и убийство путешественников считается достоинством и даже обязательным поступком.

Поклонение трехглазой богине Кали производится в такой тайне, что до сих пор ни одному путешественнику не выпало чести быть свидетелем их религиозных церемоний. Эта честь приберегалась для меня.

Будучи в Сакаранпуре, между Дели и Келатом, я исследовал джунгли во всех направлениях, чтобы узнать что -нибудь новое об этих таинственных Фансигарах. Однажды вечером, в сумерках, проходя через тиковый лес, я набрел на открытом месте на круглое углубленное пространство, посреди которого возвышался грубый каменный храм. Будучи уверен, что это один из храмов тугов, я спрятался в кустах и стал ждать.

Когда взошел месяц, углубленное пространство внезапно наполнилось сотнями призрачных, быстро скользящих фигур. В храме распахнулась дверь, открывая вид на ярко

освещенный идол богини Кали, пред которым жрец в белой одежде стал произносить варварские заклинания. А в это время почитатели богини распростились на земле.

Больше всего заинтересовал меня средний глаз громадного деревянного идола. По ослепительному блеску я видел, что это громадный брильянт чистой воды. Когда кончилось служение, туги скрылись в лес так же безмолвно, как и пришли. Жрец постоял еще несколько минут в дверях храма, наслаждаясь ночной прохладой перед тем, как закрыть свое довольно жаркое жилище. Вдруг темная, гибкая тень скользнула в углубление, прыгнула на жреца и ударом блестящего ножа бросила его на землю. Затем убийца, точно кошка бросился к идолу богини и выковырял ножом сверкающий средний глаз Кали. Держа в руках свою королевскую добычу, он побежал прямо на меня; когда он был на расстоянии трех шагов, я вскочил и со всей силы ударил его между глаз. Он упал без чувств и выронил из рук великолепную драгоценность. Это и есть тот восхитительный голубой брильянт, который вы только что видели. Камень, достойный царского венца!

- Пикантная история,- сказал репортер:- этот графинчик точно такой же, какой обыкновенно выставляет Джон В. Гец во время интервью.

- Простите,- сказал генерал Людло,- что, увлекшись рассказом, я позабыл о правилах гостеприимства!

Наливайте себе!

- За ваше здоровье! - сказал репортер.

- Всего больше я теперь боюсь,- сказал генерал, понижая голос,- что брильянт может быть у меня украден. Драгоценность, образовавшая глаз богини, является для фансигаров самым священным предметом. Каким-то образом племя подозревает, что брильянт - у меня, и члены этой секты следовали за мной почти что вокруг света. Это - хитрейшие и жесточайшие фанатики во всем мире, и их религиозные обеты требуют убийства неверного, осквернившего их священное сокровище.

Однажды в Лукнове три агента, переодетые слугами отеля, пытались задушить меня при помощи скрученной скатерти. В Лондоне тоже, два туга, переодетые уличными музыкантами, влезли ко мне в окно ночью и напали на меня. Жизнь моя постоянно в опасности. Месяц тому назад, когда я жил в отеле в Бергшайре, трое из них ринулись на меня из-за придорожной травы. Я спасся тогда только вследствие знания их обычаев.

- Как было дело, генерал?-спросил репортер.

- Поблизости паслась корова, - ответил генерал Людло: - славная джерсейская корова. Я подбежал к ней и остановился. Три туга тотчас прекратили атаку, стали на колени и трижды лбами ударились об землю. Затем, после многих почтительных поклонов, они ушли.

- Испугались, что корова их забодает? - спросил репортер.

- Нет, у фансигаров корова считается священным животным. Кроме богини, они поклоняются и корове. Насколько известно, они никогда не совершали актов насилия в присутствии животного, которое почитают.

- Это чрезвычайно интересная история,- сказал репортер.- Если вы ничего не имеете против, я выпью еще стаканчик и сделаю несколько заметок.

- Я последую вашему примеру, - сказал генерал Людло, сделав галантное движение рукой.

- Если бы я был на вашем месте,- сказал репортер:- я бы увез брильянт в Техас, там бы я поселился на коровьем ранчо, и фарисеи...

- Фансигары, - поправил генерал.

- Ах, да! Они наталкивались бы на корову каждый раз, как врывались бы к вам.

Генерал Людло закрыл коробку с брильянтом и спрятал ее на груди.

- Шпионы выследили меня в Нью-Йорке,-сказал он, выпрямляя свою высокую фигуру.-Я знаком с восточно-индийской организацией и знаю, что за каждым моим движением следят. Они, без сомнения, попытаются обокрасть и убить меня здесь.

- Здесь? - воскликнул репортер, схватив графин и выливая значительное количество его содержимого.

- В любое время! - прибавил генерал. - Но, как солдат и любитель, я продам свою жизнь и брильянт как можно дороже.

В этом пункте рассказа репортера ощущается некоторая неясность. Можно только догадаться, что послышался громкий треск за домом, в котором они находились. Генерал Людло плотно застегнул сюртук и побежал к двери, но репортер крепко вцепился в него одной рукой, в то время как другой держал графинчик.

- Прежде чем бежать,- произнес он, и в голосе его почувствовалась какая-то тревога,- скажите мне, не собирается ли какая-нибудь из ваших дочерей поступить на сцену?

- У меня нет никаких дочерей! Спасайтесь скорей, фансигары нападают на нас. И оба выбежали через парадный подъезд дома. Было поздно, когда ноги их коснулись тротуара. Странные люди, смуглые и страшные, как будто выросли из земли и окружили их. Один, с азиатскими чертами лица, близко надвинулся на генерала и закричал страшным голосом:

- Покупаю старую одежду!

Другой, мрачный и с темными баками, быстро подбежал к нему и начал жалостным голосом:

- М-р, нет ли у вас десяти пенни для бедного человека, который?..

Они пробежали мимо, но попали в объятия черноглазого, темнобрового создания, подставившего им под нос свою шляпу. В то же время товарищ его, также восточного вида, вертел неподалеку шарманку. На двадцать шагов дальше генерал Людло и репортер очутились среди полудюжины людей, подозрительного вида, с высоко поднятыми воротниками пальто и лицами, покрытыми щетиной небритых бород.

- Бежим, - крикнул генерал. - Они открыли владельца брильянта богини Кали.

Оба помчались со всех ног. Мстители за богиню пустились за ними в погоню.

- Боже мой! - простонал репортер.- В этой части Бруклина нет ни одной коровы. Мы пропали.

Около угла оба упали на железный предмет, возвышавшийся на тротуаре, вблизи водосточного желоба. В отчаянии ухватившись за него, они ожидали решения своей судьбы.

- Если бы только у .меня была корова,- стонал репортер,- или еще глоток из того графинчика, генерал.

Как только преследователи открыли убежище своей жертвы, они внезапно отступили и ушли на значительное расстояние

- Они ждут подкрепления, чтобы напасть на нас,- сказал генерал Людло.

Но репортер залился звонким смехом и торжествующе замахал шляпой.

- Посмотрите-ка,- закричал он, тяжело опираясь на железный предмет;ваши фансигары или туги, как бы они ни звались, народ современный. Дорогой генерал, ведь мы с вами попали на насос. Это в Нью-Йорке то же самое, что корова. Вот почему эти бешеные черномазые парни не нападают на нас. Насос в Нью-Йорке- священное животное.

Но дальше, в тени Двадцать Восьмой улицы, мародеры собрали совет.

- Пойдем, Рэдди,- сказал один из них,- схватим старика: он целые две недели показывал брильянт, величиной с куриное яйцо, по всей Восьмой авеню.

- Не для тебя! - решил Рэдди. - Видишь, они собираются вокруг насоса. Эго-друзья Билля. Билль не позволит ничего подобного на своем участке!

Этим исчерпываются факты, касающиеся брильянта Кали, но считаю вполне логичным закончить следующей короткой (оплаченной) заметкой, появившейся двумя днями позже в утренней газете:

"Говорят, что племянница генерала Марцелуса Б. Людло появится на сцене в ближайшем сезоне.

Брильянты ее оцениваются в крупную сумму и представляют исторический интерес".

День, который мы празднуем

Перевод Зин. Львовского

- В тропиках,- так сказал мне "Прыгун Биб", любитель птиц,- времена года, месяцы, недели, будни, праздники, каникулы, воскресенья, вчерашний день - все так перемешивается, что вы не знаете, когда окончился год до тех пор, пока не пройдет половина следующего.

"Прыгун Биб" содержал зоологический магазинчик на Нижней Четвертой авеню. Он был раньше моряком, а теперь совершал регулярные поездки в южные порты на каботажных судах и привозил говорящих попугаев. У него были негибкие: колени, шея и характер. Я пришел к нему, чтобы купить попугая и подарить его к рождеству моей тете Жоане,

- Вот этот,-сказал я, не обращая внимания на его доклад о подразделениях времени,- вот этот синий с белым и красным! К какому виду принадлежит он? Он взывает к моему патриотизму и моей любви к дисгармонии в красочных сочетаниях.

- Это какаду из Эквадора,- ответил Биб.- Его научили говорить только "Веселого рождества!" Сезонная птица! Стоит всего семь долларов. Готов побиться об заклад, что много людей извлекли из вас больше денег этими же словами.

Биб внезапно и громко расхохотался.

- Эта птица,- объяснил он, - напоминает мне кое-что. У нее числа перепутались. Ей, в соответствии с оперением, следовало бы говорить "E pluribus unum!", а не стараться подражать святому Николаю. Это напоминает мне время, когда на берегу Коста-Рика у меня и у Ливерпуля Сэма перепутались все понятия относительно погоды и других явлений природы, встречающихся в тропиках.

Мы попали в эту часть испанского материка, не имея ни денег, о которых стоило бы говорить, ни друзей, с которыми можно было бы говорить. Мы приехали сюда из Нового Орлеана на фруктовом пароходе, в качестве кочегара и младшего повара, желая попытаться счастья. Работы по нашему вкусу не было, и мы с Ливерпулем стали питаться местным красным ромом и плодами, которые нам удавалось собирать там, где мы не сеяли. Это был городок под названием Соледад, где не было ни гавани, ни будущего, ни способов извернуться.

В промежутки между прибытиями пароходов город спал и пил ром. Он пробуждался только тогда, когда надо было грузить бананы. Это похоже было на человека, который проспал обед и просыпается только к десерту

Когда мы с Ливерпулем так опустили, что американский консул не хотел с нами даже разговаривать, мы поняли, что сели на мель.

Столовались мы у лэди с табачным цветом кожи, по имени Чика, которая содержала распивочную рома и ресторан для мужчин и женщин на улице под названием "Calle de los сорока семи неутешных святых". Когда наш кредит истощился, Ливерпуль, у которого желудок пересилил чувства "noblesse oblige", женился на Чике.

Это обеспечило нам рис и жареные бананы на месяц.

Затем Чика однажды утром с печальным и серьезным видом тузила Ливерпуля в течение пятнадцати минут кастрюлей, сохранившейся с каменного века. И тогда мы поняли, что нам делать здесь больше нечего.

В тот же вечер мы заключили контракт с доном Хаиме Мак-Спиноза местным авантюристом-плантатором, человеком смешанного происхождения - на работу на его консервном заводе в девяти милях от города.

Нам пришлось поступить так, чтобы не быть обреченными на морскую воду и неравные дозы пищи и сна.

Говоря о Сэме Ливерпуле, я не браню и не обвиняю больше, чем я сделал бы это в его присутствии. Но, по моему мнению, когда англичанин опускается так низко, что дальше идти некуда, ему надо так изворачиваться, чтобы подонки других наций не выбрасывали на него балласта из своих шаров. Это мое личное мнение, как прирожденного американца.

Между мной и Ливерпулем было много общего.

У нас у обоих не было приличной одежды и никаких способов или средств к существованию.

И, как говорит поговорка, "нищета любит общество соучастников".

Наша работа на плантации старого Мак-Спиноза заключалась в рубке банановых ветвей и нагрузке кистей фруктов на спины лошадей. После нас туземец, одетый в пояс из кожи аллигатора и пару холщевых штанов, отвозил этот груз на берег и складывал его там.

Были ли вы когда-нибудь в банановой роще? В ней тоскливо, как в пивной утром. В ней можно затеряться, как за сценой какого-нибудь ярмарочного балагана. Вы не видите неба из-за густой листвы над вами. Земля по колена усыпана гниющей листвой, и вокруг стоит такая тишина, что вы можете, кажется, услышать, как ветки вырастают заново после того, как вы их срубили.

По ночам мы с Ливерпулем ютились в хижинах из травы, на краю лагуны, вместе с целым стадом краснокожих, желтых и черных служащих дона Хаиме. Мы лежали до рассвета, сражаясь с москитами и прислушиваясь к крику обезьян и к ворчанию и плеску аллигаторов в лагуне. Засыпали мы на самые короткие промежутки времени.

Скоро мы потеряли всякое представление о том, какое стоит время года. Там почти около восьмидесяти градусов в декабре и в июне, по пятницам и в полночь, и в день выборов, и во всякое другое любое время. Иногда идет больше дождя, иногда меньше,- вот единственная разница, которую можно заметить.

Человек живет там, не замечая бега времени, пока вдруг не явится к нему гробовщик - и как раз тогда, когда он начинает подумывать, как бы это бросить беспутство и начать делать сбережения, чтобы купить себе землю.

Не знаю, сколько времени мы работали у дона Хаиме. Знаю только, что прошло два или три дождливых периода, восемь или десять стрижек волос, и что сносились три пары парусиновых штанов. Все заработанные деньги уходили на ром и табак, но мы были сыты,- а это что-нибудь да значит!

Вдруг как-то мы с Ливерпулем находим, что хирургическая работа в банановой роще набила нам оскомину. Это чувство часто охватывает белых в разных этих латинских и географических краях, Мы хотели снова слышать обращение к нам на порядочном языке. Захотели увидеть дым парохода и прочесть в старом номере газеты объявление о продаже и покупке движимых имуществ и рекламы магазинов готового платья.

Даже Соледад вдруг показался нам центром цивилизации. И вот, как-то вечером, мы показали нос фруктовой плантации дона Хаиме и отряхнули с ног его травяные оковы.

До Соледада было всего двенадцать миль, но нам с Ливерпулем пришлось идти туда два дня. Почти все время путь шел банановой рощей, и мы несколько раз сбивались с дороги. Это было все равно, что разыскивать в пальмовом зале нью-йоркского отеля человека по имени Смит.

Как только мы увидели сквозь деревья дома Соледада, во мне поднялось неприязненное чувство к Ливерпулю Сэму. Пока нас было двое белых против пестрых чужаков на банановой плантации, я выносил его, но теперь, когда явилась надежда обменяться даже ругательными словами с каким-нибудь американским гражданином, я поставил его на место. И хорош же он был с его красным от рома носом, рыжими баками и ногами, как у слона в кожаных сандалиях на ремешках! Я, вероятно, выглядел так же.

- Мне кажется, - сказал я, - что Великобритании следовало бы держать дома таких опухших от пьянства, презренных, непристойных грязнуль, как ты! И нечего ей посылать их сюда развращать и марать чужие страны. Мы уже раз выставили вас из Америки. Нам следовало бы сделать это опять.

- Убирайся к чорту! - сказал Ливерпуль. Это был его обычный ответ.

После плантации дона Хаиме Соледад показался мне чудесным городом. Мы с Ливерпулем шли рядом, по привычке мы пришли мимо calabosa и Отель Гранде и направились через площадь к хижине Чики, в надежде, что Ливерпуль, в качестве ее мужа, вправе получить обед.

Проходя мимо двух-этажного небольшого дощатого дома, занятого под американский клуб, мы застали, что балкон убран цветами из вечно зеленых растений и цветов а на шесте на крыше развеивается флаг. Оганзей, консул, и Арк Райт, владелец золотых приисков, курили на балконе. Я и Ливерпуль помахали им своими грязными руками и улыбнулись настоящей светской улыбкой, но они повернулись к нам спиной и продолжали разговаривать. Между тем мы с ними играли в вист до того времени, как у Ливерпуля оказались на руках все тринадцать козырей четыре игры подряд.

Мы поняли, что был какой-то праздник, но не знали ни дня, ни года.

Немного далее мы увидели почтенного человека, по имени Пендергаст, приехавшего в Соледад строить церковь. Он стоял под кокосовой пальмой в одежде из черного альпага и с зеленым зонтиком.

- Дети, дети,-говорит он, глядя на нас сквозь синие очки: - неужели дела так плохи? Неужели жизнь довела вас до этого?

- Она нас привела,-сказал я,- к одному знаменателю.

- Очень грустно, - заметил Пендергаст: - грустно видеть соотечественников в таком положении.

- Бросьте скулить, старина! - воскликнул Ливерпуль.- Неужели вы не можете отличить представителя английского высшего класса, когда видите его перед собой?

- Замолчи,-сказал я Ливерпулю, - ты теперь на чужой земле.

- Еще в такой день!-продолжает Пендергаст сокрушенно. - В этот самый торжественный день в году, когда все мы должны бы праздновать зарю христианской цивилизации и гибель нечестивых.

- Я заметил, почтенный отец, что тряпки и букеты украшают город,сказал я:- но не знаю, по какому это случаю. Мы так давно не видали календарей, что не знаем, что теперь: лето или субботний вечер.

- Вот вам два доллара,- сказал Пендергаст, вытаскивая два чилийских серебряных колеса и вручая их мне. - Ступайте и проведите остаток дня достойным образом.

Я и Ливерпуль поблагодарили его и пошли дальше.

- Поедим чего-нибудь?-спросил я.

- О, черт! - говорит Ливерпуль: - на то ли существуют деньги!

- Хорошо, - говорю я: - если ты настаиваешь, то будем пить!

Мы входим в ромовую лавку, покупаем себе кварту рома, идем на берег под кокосовую пальму и празднуем. Так как мы два дня не ели ничего, кроме апельсинов, ром начин действовать немедленно, и снова у меня накопилось отвращение к британской нации, и тогда я говорю Ливерпулю:

- Вставай, накинь деспотически-ограниченной монархии, и получи вторую дозу потасовки. Этот добрый человек, мистер Пендергаст, сказал, что мы должны провести день соответствующим образом, и я не хочу, чтобы его деньги нашли дурное применение.

- Убирайся к черту!-замечает Ливерпуль.

Удачным ударом левой руки я попал по его правому глазу.

Ливерпуль в прежнее время был борцом, но беспутная жизнь и дурная компания обессилили его. Через десять минут он лежал у меня на песке, выкинув белый флаг,

- Вставай,-сказал я, толкая его под ребра,- и иди со мной.

Ливерпуль встал и по привычке последовал за мной, утирая кровь с лица и носа. Я отвел его к дому преподобного Пендергаста и вызвал старика.

- Посмотрите на это, сэр,- сказал я.- Посмотрите на эту вещь, которая раньше была гордым британцем. Вы дали нам два доллара и велели отпраздновать этот день. Звездами украшенное знамя еще развевается! Ура звездам ура орлам!

- Боже мой!- говорит Пендергаст, подымая руки.- Дратся в этот величайший день, день рождества, когда мир...

- Рождество, черт возьми!-говорю я:- а я думал, что это четвертое июля.

- Веселого рождества! - крикнул бело-синий какаду.

- Возьмите его за шесть долларов,- сказал "Прыгун Биб" - у него перемешались числа и цвета.

Чародейные хлебцы

Мисс Марта Мичем содержала маленькую булочную на углу (ту самую, знаете? где три ступеньки вниз и когда открываешь дверь, дребезжит колокольчик).

Мисс Марте стукнуло сорок, на ее счету в банке лежало две тысячи долларов, у нее было два вставных зуба и чувствительное сердце. Немало женщин повыходило замуж, имея на то гораздо меньше шансов, чем мисс Марта.

Раза два-три на неделе в ее булочной появлялся покупатель, которым она мало-помалу заинтересовалась. Это был человек средних лет, в очках и с темной бородкой, аккуратно подстриженной клинышком.

Он говорил по-английски с сильным немецким акцентом. Костюм на нем — старенький, неотутюженный, местами подштопанный — сидел мешковато. И, тем не менее, вид у него был опрятный, а главное — манеры хорошие.

Этот покупатель всегда брал два черствых хлебца. Свежие хлебцы стоили пять центов штука. Черствые — два на пять центов. И ни разу он не спросил ничего другого.

Однажды мисс Марта заметила у него на пальцах следы красной и коричневой краски. Тогда она решила, что он художник и очень нуждается. Наверно, живет где-нибудь на чердаке, питается черствым хлебом и мечтает о разных вкусных вещах, которых так много в булочной у мисс Марты.

Принимаясь теперь за свой завтрак — телячья отбивная, сдобочки, джем и чай, — мисс Марта частенько испускала вздох и сокрушалась, что этот художник, такой деликатный, воспитанный, вместо того чтобы делить с ней ее вкусную трапезу, гложет сухие корки у себя на чердаке, где гуляет сквозняк. Сердце у мисс Марты было, как вы уже знаете, чувствительное.

Решив проверить свою догадку о профессии этого человека, она вынесла из задней комнаты в булочную картину, купленную когда-то на аукционе, и поставила ее на полку позади прилавка.

На картине изображалась сценка из венецианской жизни: на самом видном — вернее, на самом водном месте высилось великолепное мраморное палаццо (если верить подписи). Остальное пространство было занято гондолами (дама, сидевшая в одной из них, вела пальчиком по воде), облаками, небом и обилием светотени. Ни один художник не сможет пройти мимо такой картины, не обратив на нее внимания.

Через два дня покупатель зашел в булочную.

— Два шерстных хлебца, пожалуйста.

И когда мисс Марта стала заворачивать хлебцы в бумагу, он сказал:

— Какой у вас красивый картина, мадам.

— Да? — Мисс Марта пришла в восторг от собственной хитрости. — Я так люблю искусство и... (Не рано ли говорить: «и художников»?) — Найдя подходящую замену, мисс Марта заключила: — ...и живопись. Вам нравится эта картина?

— Тфорец нарисован неправильно, — ответил покупатель. — Неферный перспектив. До свидания, мадам.

Он взял свои хлебцы, поклонился и быстро вышел.

Да, тут и сомневаться нечего, он художник. Мисс Марта унесла картину обратно в заднюю комнату.

Какой мягкий, добрый свет излучали его глаза из-за очков! Какой у него высокий лоб! С первого взгляда разобраться в перспективе — и жить на черством хлебе! Но гениям нередко приходится бороться за существование, прежде чем мир признает их.

А как выиграло бы искусство и перспектива, если бы такого гения поддержать двумя тысячами долларов на банковском счету, булочной и чувствительным сердцем... Но вы начинаете грезить наяву, мисс Марта!

Теперь, заходя в булочную, покупатель задерживался у прилавка минуту-другую, чтобы поболтать с хозяйкой. Ее приветливость, видимо, радовала его.

Он продолжал покупать черствый хлеб. Ничего, кроме черствого хлеба, ни пирожных, ни пирожков, ни ее восхитительного песочного печенья.

Мисс Марте казалось, что он похудел за последнее время, стал какой-то грустный. Ей так хотелось добавить чего-нибудь вкусного к его скудным покупкам, но всякий раз мужество покидало ее. Она не осмеливалась нанести ему обиду. Ведь эти художники такие гордые.

Мисс Марта стала появляться за прилавком в шелковой блузке — белой, синим горошком. В комнате позади булочной она состряпала некую таинственную смесь из айвовых семечек и буры. Многие употребляют это средство для придания белизны коже.

В один прекрасный день покупатель зашел в булочную, положил на прилавок, как обычно, монету, в пять центов и спросил свои всегдашние черствые хлебцы. Мисс Марта только протянула руку к полке, как вдруг на улице раздался рев сирены, грохот колес, и мимо булочной пронеслась пожарная машина.

Покупатель бросился к двери, как сделал бы каждый на его месте. Мисс Марта, осененная блестящей мыслью, воспользовалась этим.

На нижней полке под прилавком лежал фунт сливочного масла, которое молочник принес ей минут десять назад. Мисс Марта надрезала ножом черствые хлебцы, вложила в каждый по солидному куску масла и крепко прижала верхние половинки к нижним.

Когда покупатель вернулся от двери, она уже завертывала хлебцы в бумагу.

После коротенькой, но Особенно приятной беседы он ушел, и мисс Марта молча улыбнулась, хотя сердце у нее билось беспокойно.

Может быть, она слишком много себе позволила? А что, если он обидится? Нет, вряд ли! Съедобные вещи не цветы — у них нет своего языка. Сливочное масло вовсе не обозначает нескромности со стороны женщины.

В тот день мисс Марта много думала обо всем этом. Она представляла себе, как он обнаружит ее невинную хитрость. Вот он откладывает в сторону свои кисти и палитру. На мольберте у него стоит картина с безукоризненной перспективой.

Он собирается позавтракать сухим хлебом с водицей. Разрезает хлебцы и... ах!

Мисс Марта залилась румянцем. Подумает ли он о руке, которая положила в хлебцы масло? Захочет ли...

Звонок на двери злобно тренькнул. Кто-то входил в булочную, громко стуча ногами. Мисс Марта выбежала из задней комнаты. У прилавка стояли двое мужчин. Какой-то молодой человек с трубкой — его она видела впервые; второй был ее художник.

Весь красный, в сдвинутой на затылок шляпе, взлохмаченный, он сжал кулаки и яростно затряс ими перед лицом мисс Марты. Перед лицом мисс Марты!

— Dummkopf! — что есть силы закричал он по-немецки. Потом: — Tausendonfer! — или что-то в этом роде.

Молодой человек потянул его к выходу.

— Я не хочу уходить — свирепо огрызнулся тот, — пока я не скажешь ей все до конца.

Под его кулаками прилавок мисс Марты превратился в турецкий барабан.

— Вы мне испортили! — кричал он, сверкая на нее сквозь очки своими голубыми глазами. — Я все, все скажу! Вы нахальный старый кошка!

Мисс Марта в изнеможении прислонилась спиной к хлебным полкам и положила руку на свою шелковую блузку — белую, синим горошком. Молодой человек схватил художника за шиворот.

— Пойдемте! Выказались — и довольны. — Он вытащил своего разъяренного приятеля на улицу и вернулся к мисс Марте.

— Вам все-таки не мешает знать, сударыня, — сказал он, — из-за чего разыгрался весь скандал. Это Блумбергер. Он чертежник. Мы с ним работаем вместе в одной строительной конторе. Блумбергер три месяца, не разгибая спины, трудился над проектом здания нового муниципалитета. Готовил его к конкурсу. Вчера вечером он кончил обводить чертеж тушью. Вам, верно, известно, что чертежи сначала делают в карандаше, а потом все карандашные линии стирают черствым хлебом. Хлеб лучше резинки. Блумбергер покупал хлеб у вас. А сегодня... Знаете, сударыня, ваше масло... оно, знаете ли... Словом, чертеж Блумбергера годится теперь разве только на бутерброды.

Мисс Марта ушла в комнату позади булочной. Там она сняла свою шелковую блузку — белую, синим горошком, и надела прежнюю — бумажную, коричневого цвета. Потом взяла притиранье из айвовых семечек с бурой и вылила его в мусорный ящик за окном.

Улисс и собачник

Перевод Н. Волжиной

Известно ли вам, что существует час собачников?

Когда четкие контуры Большого Города начинают расплываться, смазанные серыми пальцами сумерек, наступает час, отведенный одному из самых печальных зрелищ городской жизни.

С вершин и утесов каменных громад Нью-Йорка сползают целые полчища обитателей городских пещер, бывших некогда людьми. Все они еще сохранили способность передвигаться на двух конечностях и не утратили человеческого облика и дара речи, но вы сразу заметите, что в своем поступательном движении они плетутся в хвосте у животных. Каждое из этих существ шагает следом за собакой, будучи соединено с ней искусственной связью.

Перед нами жертвы Цирцеи. Не по своей охоте стали они няньками при Жужу и Вижу и мальчиками на побегушках у Аделек и Фиделек. Современная Цирцея не уподобила их целиком животным — она милостиво оставила между теми и другими известное расстояние, равное длине поводка. В иных случаях просто отдается приказ, в других — пускается в ход ласка или подкуп, но так или иначе каждый из собачников, послушный своей собственной Цирцее, ежевечерне выводит на прогулку бесценное домашнее сокровище.

Лица собачников и вся их повадка свидетельствуют о том, что они околдованы прочно и утратили надежду на спасение. Даже избавитель-Улисс в лице человека с собачьим фургонном не явится к ним, чтобы разрушить чары.

У некоторых из собачников каменные лица. Этим уже не тронут ни любопытство, ни насмешки, ни сострадание их двуногих собратьев. Годы супружеского рабства и принудительного моциона в обществе собак сделали их нечувствительными ко всему. Они освобождают от пут ноги зазевавшегося прохожего и фонарные столбы с бесстрашием китайских мандаринов, потягивающих за веревочки запущенный в небо воздушный змей.

Другие, лишь недавно низведенные до положения собачьих поводырей, подчиняются своей участи с угрюмым ожесточением. Они дергают за поводок с тем чувством злорадства, какое бывает написано на лице девицы, когда она в воскресный денек вытаскивает из воды поймашуюся на крючок рыбешку. На случайные взгляды прохожих они отвечают свирепыми взглядами, словно только ищут предлога, чтобы послать их к свиньям собачьим. Это полупокоренные, не до конца оцирцеенные собачники, и, если подопечный пес одного из них начинает обнюхивать вам лодыжку, вы поступите благоразумно, не дав ему пинка.

Есть еще категория собачников, представители которой не принимают своего положения так близко к сердцу. Это преимущественно потасканные молодые люди в модных каскетках и с сигаретой, небрежно свисающей из угла рта. Между ними и вверенными им попечению животными не чувствуется прочной, гармоничной связи. На ошейнике у их собак обычно красуется шелковый бант, а сами молодые люди с таким усердием несут свою службу, что невольно возникает подозрение — не ждут ли они каких-то особых наград за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей.

Собаки, эскортируемые всеми вышеупомянутыми способами, принадлежат к различным породам, но все они в сущности одно и то же: жирные, избалованные, капризные твари, с оскаленными мордами, омерзительно гнусным характером и наглым поведением. Они упрямо и тупо тянут за поводок и застревают у каждого порога, у каждого забора и фонарного столба, не спеша обследуя их с помощью своих органов обоняния. Они присаживаются отдохнуть, когда им только заблагорассудится. Они сопят и отдуваются, как победитель конкурса «Кто съест больше бифштексов». Они проваливаются во все незакрытые погребки и угольные ямы. Словом, устраивают своим поводырям веселую жизнь.

А эти несчастные слуги собачьего царства — эти дворецкие дворняжек, лакеи левреток, бонны болонок, гувернантки грифонов, поводыри пуделей, телохранители терьеров и таскатели такс, замороженные высокогорными Цирцеями, покорно плетутся за своими питомцами. Собачонки не питают к ним ни почтения, ни страха. Эти человеческие существа, которые тащатся за ними на поводке, могут быть хозяевами дома, но над ними они отнюдь не хозяева. С мягкого дивана — прямо к выходной двери, из уютного уголка — на пожарную

лестницу гонит свирепое собачье рычание эти двуногие существа, обреченные следовать за четвероногими во время их прогулок.

Как-то в сумерки собачники, по обыкновению, вышли на улицу, подчинившись просьбе, подкupu или щелканью бича своих Цирцеи. Один из них был человек могучего телосложения, чья внушительная внешность не вязалась с этим малосолидным занятием. Уныние было написано на его лице, во всех движениях сквозила подавленность. Он был влеком за поводок отвратительно жирной, развращенной до мозга костей, зловредной белой собачонкой, ни в грош не ставившей своего поводыря.

На ближайшем углу собачник свернул в переулок, надеясь избавиться от свидетелей своего позора. Раскормленная тварь ковыляла впереди, сопя от пресыщенности жизнью и непомерных физических усилий.

Внезапно собака остановилась. Высоченный загорелый мужчина в длиннополом пиджаке и широкополой шляпе стоял на тротуаре, подобно колоссу, загораживая проход.

— Чтоб мне сдохнуть! — сказал мужчина.

— Джим Берри! — ахнул собачник, пустив в ход несколько восклицательных знаков.

— Сэм Тэлфер! — возопил длиннополо-широкопальный. — Ах ты, старый бесхвостый битюг! Дай копыто!

Их руки сошлись в коротком, крепком, достойном Запада рукопожатии, в мощных тисках которого мгновенно погибают все микробы.

— Ах ты, чертова перечница! — продолжал широкопальный, сияя улыбкой в паутине коричневых морщин. — Пять лет ведь, как не видались. Я здесь уже целую неделю, да разве в этом городе найдешь кого! Ну как она, супружеская-то жизнь?

Что-то рыхлое, тяжелое, мягкое, как подошедшее на дрожжах тесто, шлепнулось Джиму на ступню и с рычаньем и чавканьем принялось жевать его штанину.

— Будь так добр, — сказал Джим, — объясни мне, зачем ты накинул свое лассо на это страдающее водобоязнь животное, похожее на бочку? Неужто ты держишь в своем загоне эту скотину? Как это у вас называется, кстати, собакой или еще как-нибудь?

— Я хочу выпить, — сказал собачник, в котором упоминание о водобоязни разбередило дурные наклонности. — Пойдем.

Кафе было рядом. В большом городе оно всегда где-нибудь по соседству.

Приятели сели за столик, а шарообразное, заплывшее жиром чудовище с визгливым лаем начало скрести когтями пол, стремясь добраться до хозяйской кошки.

— Виски, — сказал Джим официанту.

— Давайте два, — сказал собачник.

— А тебя здесь здорово раскормили, — сказал Джим. — И, кажется, основательно объездили. Не сказал бы я, что здешний воздух пошел тебе впрок. Когда я уезжал, все ребята наказывали разыскать тебя. Сэндч Кинг отправился на Клондайк. Уотсон Бэрли женился на старшей дочке старика Питерса. Я недурно заработал на скоте и купил изрядный кусок пустоши на Литл-Паудер. Осенью думаю обнести оградой. А Билл Роулин засел у себя на ферме. Ты помнишь Билла? Ну да, еще бы! Он же волочился за Марселлой... Прошу прощенья, я хотел сказать за той дамой, которая преподавала в школе на Прэри-Вью и выскочила за тебя замуж. Да, ты натянул нос Биллу. Как же поживает миссис Тэлфер?

— Ш-ш-ш! — зашикал собачник, знаком подзывая официанта. — Что ты выпьешь?

— Виски, — сказал Джим

— Давайте два, — сказал собачник.

— Марселла в добром здоровье, — промолвил он, отхлебнув виски. — Не желает жить нигде, кроме Нью-Йорка, она ведь отсюда родом. Снимаем квартиру. Каждый вечер в шесть часов я вывожу этого пса гулять. Это любимчик Марселлы. Признаться тебе, Джим, никогда, с сотворения мира, не было на земле двух существ, которые бы так ненавидели друг друга, как я и это животное. Его зовут Пушок. Пока мы гуляем, Марселла переодевается к обеду. Мы едим за табльдотом. Тебе никогда не приходилось есть за табльдотом, Джим?

— Ни разу в жизни. Я видел объявления, но думал, что это какая-нибудь игра, вроде рулетки. А как за ним едят — стоя или сидя? Это удобнее, чем за столом?

— Сколько ты здесь пробудешь? Мы могли бы...

— Нет, дружище. В семь двадцать пять отправляюсь домой. Рад бы побыть еще, да не могу.

— Я провожу тебя до парома, — сказал собачник.

Собака впала в тяжелую дремоту, предварительно прикрутив ногу Джима к ножке его стула. Джим хотел встать, покачнулся, и слегка натянувшийся поводок обеспокоил собаку. Раздраженный визг потревоженного пса был слышен на весь квартал.

— Если это твоя собака, — сказал Джим, когда они вышли на улицу, — кто мешает тебе привязать ее к какому-нибудь дереву, использовав это ярмо, надетое ей на шею в нарушение закона о неприкосновенности личности, уйти и забыть, где ты ее покинул?

— У меня никогда не хватит на это духу, — сказал собачник, явно испуганный таким смелым предложением. — Он спит на кровати. Я сплю на кушетке. Стоит мне взглянуть на него, как он бежит жаловаться Марселле. Но когда-нибудь я сведу с ним счеты, Джим. Я уже все обдумал. Подкрадусь к нему ночью с ножом и проделаю в пологе над его кроватью хорошую дырку, чтобы его покусали москиты. Я буду не я, если не сделаю этого.

— Что с тобой, Сэм Тэлфер? Ты сам на себя не похож. Я, конечно, не знаю этой вашей городской квартирной жизни... Но вот в Прэри-Вью я собственными глазами видел, как ты одним медным краном от бочки с патокой обратил в бегство обоих тиллотсоновских ребят. И разве не ты накидывал лассо на самого свирепого быка в Литл-Паудер и вязал его тридцать девять с половиной секунд по часам?

— А ведь и правда, а? — воскликнул Сэм Тэлфер, и что-то вспыхнуло на мгновение в его взгляде. — Да, это все было, пока меня еще не приспособили к этой собаке.

— А что миссис Тэлфер?.. — начал было Джим.

— Молчи, — сказал собачник. — Вот еще кафе. Зайдем?

Они стали у стойки. Собака брякнулась на пол у их ног и задремала.

— Виски, — сказал Джим.

— Давайте два, — сказал собачник.

— А я ведь думал о тебе, когда покупал эту пустошь, — сказал Джим. — Жалел, что нет тебя, чтобы помочь мне управиться со скотом.

— Во вторник, — сказал собачник, — он вцепился мне в лодыжку за то, что я попросил сливок к кофе. Сливки всегда достаются ему.

— А тебе бы сейчас понравилось у нас в Прэри-Вью, — сказал Джим. — Ребята съезжаются к нам с самых отдаленных ранчо, за полсотни миль. А мой выгон начинается в шестнадцати милях от города. Одну сторону обнести оградой, так и то пойдет миль сорок проволоки, не меньше.

— В спальню стараешься попасть через кухню, — продолжал собачник, — а в ванную комнату крадешься через гостиную, а оттуда норовишь проскользнуть назад в спальню через столовую, чтобы можно было отступить и спастись через кухню. И даже во сне он все время лает и рычит, а курить меня прогоняют в сквер, потому что у него астма.

— А разве миссис Тэлфер... — начал Джим.

— Ах, да замолчи ты! — сказал собачник. — Ну, что теперь?

— Виски, — сказал Джим.

— Давайте два, — сказал собачник.

— Что ж, мне, пожалуй, пора пробираться на пристань, — заметил Джим.

— Ну, ты, кривоногая, вислозадая, толстопузая черепаха! Шевелись, что ли, пока тебя не перетопили на мыло! — заорал вдруг собачник с какой-то новой ноткой в голосе, и рука его по-новому ухватила поводок. Собака заковыляла за ним следом, злобно рыча в ответ на неслыханные речи своего телохранителя.

В конце Двадцать третьей улицы собачник толкнул ногой вращающуюся дверь.

— Ну, разгонную! — сказал он. — Ты что выпьешь?

— Виски, — сказал Джим.

— Давайте два, — сказал собачник.

— Не знаю, где мне найти человека, которому я мог бы доверить мой скот на Литл-Паудер, — сказал владелец ранчо. Тут нужен свой парень. Славный кусочек прерий, и роща там у меня, Сэм. Вот если бы ты...

— Кстати, насчет водобоязни, — сказал собачник. — Эта бешеная зверюга вырвала мне вчера кусок мяса из ноги за то, что я согнал муху с руки Марселлы. «Необходимо сделать прижигание», — сказала Марселла, и я был целиком с ней согласен. Вызвали по телефону врача. А когда он пришел, Марселла и говорит: «Помоги мне поддержать бедную крошку, чтобы доктор продезинфицировал ему ротик. Надеюсь, он не успел наглотаться микробов, пока кусал тебя за ногу!» Ну, что ты скажешь?

— А что миссис Тэлфер... — начал Джим.

— Ах, брось ты это, — сказал собачник. — Выпьем?

— Виски, — сказал Джим.

— Давайте два, — сказал собачник.

Они направились на пристань. Скотовод шагнул к билетной кассе.

Внезапно душераздирающий собачий визг сотряс воздух. За первым увесистым пинком быстро последовал второй и третий, и кривоногий студень, отдаленно напоминающий собаку, сломя голову припустился без провожатого по улице, всем своим видом выражая крайнее возмущение.

— Билет до Денвера, — сказал Джим.

— Давайте два! — закричал собачник и полез в карман за деньгами.

Родственные души

Перевод Т. Озерской

Вор быстро скользнул в окно и замер, стараясь освоиться с обстановкой. Всякий уважающий себя вор сначала освоится среди чужого добра, а потом начнет его присваивать.

Вор находился в частном особняке. Заколоченная парадная дверь и неподстриженный плющ подсказали ему, что хозяйка дома сидит сейчас где-нибудь на мраморной террасе, омываемой волнами океана, и объясняет исполненному сочувствия молодому человеку в спортивной морской фуражке, что никто никогда не понимал ее одинокой и возвышенной души. Освещенные окна третьего этажа в сочетании с концом сезона в свою очередь свидетельствовали о том, что хозяин уже вернулся домой и скоро потушит свет и отойдет ко сну. Ибо сентябрь — такая пора в природе и в жизни человека, когда всякий добропорядочный семьянин приходит к заключению, что стенографистки и кабаре на крышах — тщета и суета, и, ощутив в себе тягу к благопристойности и нравственному совершенству, как ценностям более прочным, начинает поджидать домой свою законную половину.

Вор закурил сигарету. Прикрытый ладонью огонек спички осветил на мгновение то, что было в нем наиболее выдающегося, — его длинный нос и торчащие скулы. Вор принадлежал к третьей разновидности. Эта разновидность еще не изучена и не получила широкого признания. Полиция познакомила нас только с первой и со второй. Классификация их чрезвычайно проста. Отличительной приметой служит воротничок.

Если на пойманном воре не удастся обнаружить крахмального воротничка, нам заявляют, что это опаснейший выродок, вконец разложившийся тип, и тотчас возникает подозрение — не тот ли это закоренелый преступник, который в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году выкрал наручники из кармана полицейского Хэннеси и нахально избежал ареста.

Представитель другой широко известной разновидности — это вор в крахмальном воротничке. Его обычно называют вор-джентльмен. Днем он либо завтракает в смокинге, либо рассказывает, переодевшись обойщиком, вечером же — приступает к своему основному, гнусному занятию — ограблению квартир. Мать его — весьма богатая, почтенная леди, проживающая в респектабельнейшем Ошеан-Гроув, и когда его препровождают в тюремную камеру, он первым делом требует себе пилочку для ногтей и «Полицейскую газету». У него есть жена в каждом штате и невесты во всех территориях, и газеты сериями печатают портреты жертв его матримониальной страсти, используя для этого извлеченные из архива фотографии

недужных особ женского пола, от которых отказались все доктора и которые получили исцеление от одного флакона патентованного средства, испытав значительное облегчение при первом же глотке.

На воре был синий свитер. Этот вор не принадлежал ни к категории джентльменов, ни к категории поваров из Адовой Кухни. Полиция, несомненно, стала бы в тупик при попытке его классифицировать. Ей еще не доводилось слышать о солидном, степенном воре, не проявляющем тенденции ни опуститься на дно, ни залететь слишком высоко.

Вор третьей категории начал крадучись продвигаться вперед. Он не носил на лице маски, не держал в руке потайного фонарика, и на ногах у него не было башмаков на каучуковой подошве. Вместо этого он запасся револьвером тридцать восьмого калибра и задумчиво жевал мятную резинку.

Мебель в доме еще стояла в чехах. Серебро было убрано подальше — в сейфы. Вор не рассчитывал на особенно богатый «улов». Путь его лежал в тускло освещенную комнату третьего этажа, где хозяин дома спал тяжелым сном после тех усад, которые он так или иначе должен был находить, дабы не погибнуть под бременем Одиночества. Там и следовало «пощупать» на предмет честной, законной, профессиональной поживы. Может, попадетса немного денег, часы, булавка с драгоценным камнем, словом, ничего сногшибательного, выходящего из ряда вон. Просто вор увидел распахнутое окно и решил попытаться счастья.

Вор неслышно приоткрыл дверь в слабо освещенную комнату. Газовый рожок был привернут. На кровати спал человек. На туалетном столике в беспорядке валялись различные предметы — пачка смятых банкнот, часы, ключи, три покерных фишки, несколько сломанных сигар и розовый шелковый бант. Тут же стояла бутылка сельтерской, припасенная на утро для прояснения мозгов.

Вор сделал три осторожных шага по направлению к столику. Спящий жалобно застонал и открыл глаза. И тут же сунул правую руку под подушку, но не успел вытащить ее обратно.

— Лежать тихо! — сказал вор нормальным человеческим голосом. Воры третьей категории не говорят свистящим шепотом. Человек в постели посмотрел на дуло направленного на него револьвера и замер.

— Руки вверх! — приказал вор.

У человека была каштановая с проседью борода клинышком, как у дантистов, которые рвут зубы без боли. Он производил впечатление солидного, почтенного обывателя и был, как видно, весьма желчен, а сейчас вдобавок чрезвычайно раздосадован и возмущен. Он сел в постели и поднял правую руку.

— А ну-ка, вторую! — сказал вор. — Может, вы двусмысленный и стреляете левой. Вы умеете считать до двух? Ну, живо!

— Не могу поднять эту, — сказал обыватель с болезненной гримасой.

— А что с ней такое?

— Ревматизм в плече.

— Острый?

— Был острый. Теперь хронический.

Вор с минуту стоял молча, держа ревматика под прицелом. Он глянул украдкой на туалетный столик с разбросанной на нем добычей и снова в замешательстве уставился на человека, сидевшего в постели. Внезапно его лицо тоже исказила гримаса.

— Перестаньте корчить рожи, — с раздражением крикнул обыватель. — Пришли грабить, так грабьте. Забирайте, что там на туалете.

— Прошу прощенья, — сказал вор с усмешкой. — Меня вот тоже скрутило. Вам, знаете ли, повезло — ведь мы с ревматизмом старинные приятели. И тоже в левой. Всякий другой на моем месте продырявил бы вас насквозь, когда вы не подняли свою левую клешню.

— И давно у вас? — поинтересовался обыватель.

— Пятый год. Да теперь уж не отвяжется. Стоит только заполучить это удовольствие — пиши пропало.

— А вы не пробовали жир гремучей змеи? — с любопытством спросил обыватель.

— Галлонами изводил. Если всех гремучих змей, которых я обезжирил, вытянуть цепочкой, так она восемь раз достанет от земли до Сатурна, а уж греметь будет так, что заткнут уши в Вальпараисо.

— Некоторые принимают «Пилюли Чизельма», — заметил обыватель.

— Шарлатанство, — сказал вор. — Пять месяцев глотал эту дрянь. Никакого толку. Вот когда я пил «Экстракт Финкельхема», делал припарки из «Галаадского бальзама» и применял «Поттовский болеутоляющий пульверизатор», вроде как немного полегчало. Только сдается мне, что помог главным образом конский каштан, который я таскал в левом кармане.

— Вас когда хуже донимает, по утрам или ночью?

— Ночью, — сказал вор. — Когда самая работа. Слушайте, да вы опустите руку... Не станете же вы... А «Бликерстафовский кровеочиститель» вы не пробовали?

— Нет, не приходилось. А у вас как — приступами или все время ноет?

Вор присел в ногах кровати и положил револьвер на колено.

— Скачками, — сказал он. — Набрасывается, когда не ждешь. Пришлось отказаться от верхних этажей — раза два уже застрял, скрутило на полдороге. Знаете, что я вам скажу: ни черта в этой болезни доктора не смыслят.

— И я так считаю. Потратил тысячу долларов, и все впустую. У вас распухает?

— По утрам. А уж перед дождем — просто мочи нет.

— Ну да, у меня тоже. Стоит какому-нибудь паршивому облачку величиной с салфетку тронуться к нам в путь из Флориды, и я уже чувствую его приближение. А если случится пройти мимо театра, когда там идет слезливая мелодрама «Болотные туманы», сырость так вопьется в плечо, что его начинает дергать, как зуб.

— Да, ничем не уймешь. Адовы муки, — сказал вор.

— Вы правы, — вздохнул обыватель.

Вор поглядел на свой револьвер и с напускной развязностью сунул его в карман.

— Послушайте, приятель, — сказал он, стараясь преодолеть неловкость. — А вы не пробовали оподельдок?

— Чушь! — сказал обыватель сердито. — С таким же успехом можно втирать коровье масло.

— Правильно, — согласился вор — Годится только для крошки Минни, когда киска оцарапает ей пальчик. Скажу вам прямо — дело наше дрянь. Только одна вещь на свете помогает. Добрая, старая, горячительная, веселящая сердце выпивка. Послушайте, старина... вы на меня не сердчайте... Это дело, само собой, побоку... Одевайтесь-ка, и пойдём выпьем. Вы уж простите, если я... ух ты, черт! Опять схватил, гадюка!

— Скоро неделя, как я лишен возможности одеваться без посторонней помощи, — сказал обыватель. — Боюсь, что Томас уже лег, и...

— Ничего, вылезайте из своего логова, — сказал вор. — Я помогу вам нацепить что-нибудь.

Условности и приличия мощной волной всколыхнулись в сознании обывателя. Он погладил свою седеющую бородку.

— Это в высшей степени необычно... — начал он.

— Вот ваша рубашка, — сказал вор. — Нырять в нее. Между прочим один человек говорил мне, что «Растирание Омберри» так починило его в две недели, что он стал сам завязывать себе галстук.

На пороге обыватель остановился и шагнул обратно.

— Чуть не ушел без денег, — сказал он. — Выложил их с вечера на туалетный стол.

Вор поймал его за рукав.

— Ладно, пошли, — сказал он грубовато. — Бросьте это. Я вас приглашаю. На выпивку хватит. А вы никогда не пробовали «Чудодейственный орех» и мазь из сосновых иголок?

Призрак возможности

Перевод Т. Озерской

— Да с носилками за плечами! — трагически повторила миссис Кинсолвинг.

Миссис Бэлами Бэлмор сочувственно подняла брови. Этим она выразила соболезнование и щедрое количество вежливого удивления.

— Представьте, снова начала миссис Кинсолвинг, — она всюду говорит, что видела привидение в комнате, которую занимала, — в нашей лучшей комнате для гостей, — видела призрак старого мужчины в рабочем комбинезоне, с трубкой и носилками. Самая невероятность этого свидетельствует о ее злом намерении. Никогда ни один Кинсолвинг не ходил с носилками для кирпичей. Всем известно, что отец мистера Кинсолвинга нажил свое богатство на крупных строительных подрядах, но он никогда, ни одного дня не работал на стройке сам. Этот дом строился по его плану, но, боже мой, носилки! Почему она была так жестока и коварна!

— Это действительно очень неприятно, — согласилась миссис Бэлмор, с одобрением обводя своими прекрасными глазами просторную комнату, отделанную в двух тонах: сиреневом и старого золота. — И она видела его в этой комнате? О нет, я не боюсь привидений. Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне. Я рада, что вы поместили меня здесь. Я считаю, что фамильные привидения очень заняты. Но в рассказе миссис Фишер-Симпкинс отсутствует логика. От нее можно было бы ожидать чего-нибудь более удачного. Ведь на таких носилках носят кирпичи, не правда ли? Ну для чего привидение понесет кирпичи в виллу, построенную из мрамора и камня? Мне очень жаль, но я готова подумать, что на миссис Фишер-Симпкинс начинает сказываться возраст.

— Этот дом, — продолжала миссис Кинсолвинг, — построен на месте старого, в котором семья жила во времена Войны за независимость. Вполне возможно, что в нем и водится привидение. Был ведь капитан Кинсолвинг, который сражался в армии генерала Грина, хотя нам так и не удалось достать документы, подтверждающие это. Если уж в семье должно быть привидение, то пусть оно лучше будет капитаном, а не каменщиком.

— Привидение предка-освободителя — это было бы не плохо, — согласилась миссис Бэлмор, — но вы знаете, как привидения бывают капризны и бесцеремонны. Может быть, они, как любовь, создаются воображением. Главное преимущество тех, кто видит привидения, это что их рассказы невозможно опровергнуть. Злонамеренный глаз может легко принять ранец воина за носилки для кирпичей. Дорогая миссис Кинсолвинг, не думайте больше об этом. Я уверена, что это был ранец.

— Но она ведь рассказывала это всем, — безутешно горевала миссис Кинсолвинг. — Она настаивала на деталях, и потом эта трубка, а как быть с рабочим комбинезоном?

— Не надевать его совсем, — сказала миссис Бэлмор, изящно подавляя зевок. — Слишком грубо и неуклюже. Это вы, Фелис? Пожалуйста, приготовьте мне ванну. Вы здесь, в Клифтоне, обедаете в семь, миссис Кинсолвинг? Как мило с вашей стороны, что вы забежали поболтать со мной до обеда. Я люблю эти маленькие интимности в обращении с гостями. Они придают визиту семейный характер. Вы меня простите, — мне нужно одеваться. Я так ленива, я всегда откладываю это до последней минуты.

Миссис Фишер-Симпкинс была первым большим куском, который Кинсолвингам удалось урвать от общественного пирога. Долгое время пирог этот лежал высоко на полке и только дразнил глаз. Но деньги и настойчивость помогли дотянуться до него. Миссис Фишер-Симпкинс была линзой избранного круга высшего общества. Блеск ее ума и поступков отражал все самое модное и смелое в этом светском стереоскопе. Прежде ее слава и первенство были настолько прочными, что не нуждались в применении таких искусственных мер, как раздача во время котильона живых лягушек. Но теперь такие средства стали необходимы для поддержки ее трона. Кроме того, непрощенная старость заметно портила блеск ее проделок. Сенсационные газеты сократили посвящаемые ей заметки с целой страницы до двух столбцов. Ум ее приобрел едкость; манеры стали резкими и бесцеремонными, словно она чувствовала необходимость утвердить свое царственное превосходство презрением условностей, связывающих других, менее солидных владык.

Под давлением силы, которой располагали Кинсолвинги, она снизошла до того, что на один вечер и ночь почтила своим присутствием их дом. За это она отомстила хозяйке, — она повсюду с мрачным наслаждением и сарказмом рассказывала свою выдумку о привидении с

носилками. Для миссис Кинсолвинг, осчастливленной тем, что ей удалось так далеко проникнуть в желанный круг, такой результат был жесточайшим разочарованием. Одни жалели ее, другие смеялись над ней — и то и другое было одинаково плохо.

Но через некоторое время миссис Кинсолвинг воспряла духом, завоевав другой и более ценный приз.

Миссис Бэлами Бэлмор согласилась посетить Клифтон и собиралась провести там три дня. Миссис Бэлмор была одной из сравнительно юных матрон, которой красота, происхождение и богатство обеспечили в святая святых прочное место, не нуждавшееся в какой-либо особой поддержке. Поэтому она великодушно согласилась исполнить заветное желание миссис Кинсолвинг; в то же время она знала, какое большое удовольствие доставит этим Теренсу. Может быть, ей даже удастся разгадать его.

Теренс был сыном миссис Кинсолвинг. Ему было двадцать девять лет, он был хорош собой и обладал двумя-тремя привлекательными и загадочными черточками.

Во-первых, он был очень привязан к своей матери, и это одно уже было так странно, что заслуживало внимания. Затем он возмутительно мало говорил и казался или очень застенчивым, или очень сложным человеком. Миссис Бэлмор заинтересовалась им, потому что не могла решить, какое из двух предположений верно. Она решила изучить его поближе, пока это не перестало ее занимать. Если он окажется только застенчивым, она оставит его, так как застенчивость скучна. Если он окажется сложным, она тоже оставит его, так как сложность опасна.

Вечером, на третий день визита миссис Бэлмор, Теренс застал ее в уголке гостиной не более и не менее как рассматривающей альбом.

— Как мило с вашей стороны было приехать сюда и выручить нас из беды, — сказал он. — Вы, вероятно, слышали, как миссис Фишер-Симпкинс пыталась потопить корабль, прежде чем покинуть его. Она пробила ему днище носилками. Моя мать так этим расстроена, что я опасаюсь за ее здоровье. Не постараетесь ли вы, пока вы здесь, миссис Бэлмор, увидеть для нас привидение — роскошное привидение — с графским гербом и с чековой книжкой?

— Миссис Фишер-Симпкинс — злая старая леди, Теренс, — сказала миссис Бэлмор. — Может быть, вы накормили ее слишком плотным ужином. Неужели ваша мать действительно всерьез огорчена этим?

— По-моему, да, — ответил Теренс. — Можно подумать, что все кирпичи с носилок свалились ей на голову. Она хорошая дама, и мне больно видеть ее огорчение. Надо надеяться, что привидение состоит членом союза каменщиков и объявит забастовку. Иначе в нашей семье никогда больше не будет покоя.

— Я сплю в комнате привидения, — задумчиво проговорила миссис Бэлмор. — Но она такая удобная, что я не поменяла бы ее, даже если бы мне было страшно, а мне совсем не страшно. Я думаю, мне не следует сочинять контррассказ о симпатичном аристократическом призраке, не правда ли? Я бы с удовольствием, но мне кажется, что противоядие будет слишком явным и только подчеркнет эффект первой версии.

— Да, — сказал Теренс, задумчиво проводя двумя пальцами по своим вьющимся каштановым волосам. — Это не годится. А что, если увидеть опять то же привидение, но без рабочего комбинезона и чтобы кирпичи были золотые? Это вознесет призрак из области униженного труда в финансовые сферы. Не думаете ли вы, что это будет достаточно rispetабельно?

— У вас был предок, который сражался с англичанами, не так ли? Ваша мать упоминала как-то об этом.

— Да, кажется. Один из тех чудаков, которые носили мундиры реглан и брюки для гольфа. Мне-то нет никакого дела до всех этих исторических предков, но мама увлечена помпой, геральдикой и пиротехникой, а я хочу, чтобы она была счастлива.

— Вы хороший мальчик, Теренс, что заботитесь о своей маме, — сказала миссис Бэлмор, подбирая свои шелка поближе к себе. — Садитесь здесь рядом со мной и давайте смотреть альбом, как это делали двадцать лет тому назад. Ну-ка расскажите мне о каждом из них. Кто этот высокий, внушительный джентльмен, опирающийся на горизонт, положив одну руку на коринфскую колонну?

— Вот этот, с большими ногами? — спросил Теренс, изогнувшись. — Это двоюродный дедушка О'Брэнниген. Он содержал пивную на Бауэри.

— Я просила вас сесть, Теренс. Если вы не будете забавлять меня или слушаться, утром я доложу, что видела привидение в фартуке, таскающее кружки с пивом. Вот так-то лучше. Застенчивость в вашем возрасте, Теренс, — это черта, в которой должно быть стыдно признаваться.

За завтраком, в последнее утро своего визита, миссис Бэлмор удивила и очаровала всех присутствующих, решительно заявив, что видела привидение.

— Оно было с нос... нос... — От замешательства и волнения миссис Кинсолвинг не могла выговорить это слово.

— Нет, нет, отнюдь.

От сидевших за столом градом посыпались вопросы: «Вы испугались?», «Что оно делало?», «Как оно выглядело?», «Как оно было одето?», «Сказало оно что-нибудь?», «Вы не вскрикнули?»

— Я постараюсь ответить сразу всем, — мужественно сказала миссис Бэлмор, — хотя я ужасно голодна. Меня что-то разбудило — не знаю, шум или прикосновение, — и я увидела призрак. Я никогда не оставляю света на ночь, так что в комнате было темно, но я ясно видела его. Я не спала. Это был высокий мужчина, весь в каком-то белом тумане. Он был в костюме старых колониальных времен: напудренные волосы, мешковатые полы сюртука, кружевные манжеты и шпага. Он казался воздушным и как будто светился в темноте и двигался бесшумно. Да, я сначала немного испугалась, или, вернее, удивилась. Это было первое привидение, которое мне довелось увидеть. Нет, оно ничего не сказало. Я не вскрикнула. Я поднялась на локте, и тогда оно стало медленно отдаляться и, достигнув двери, исчезло.

Миссис Кинсолвинг была на седьмом небе от радости.

— По описанию это капитан Кинсолвинг, генерал армии Грина, один из наших предков, — сказала она, и голос ее дрожал от гордости и облегчения. — Мне следует извиниться за нашего призрачного родственника, миссис Бэлмор. Я боюсь, что он доставил вам большое беспокойство.

Теренс довольной улыбкой поздравил свою мать. Наконец-то победа была на стороне миссис Кинсолвинг, и он был рад ее счастью.

— Хотя мне и очень стыдно, — сказала миссис Бэлмор, принимаясь за завтрак, — но я должна сознаться, что не была очень обеспокоена. Мне, вероятно, следовало бы вскрикнуть и упасть в обморок и заставить вас всех забегать по дому в самых живописных костюмах. Но, когда первая тревога миновала, я уже не могла вызвать у себя чувство страха. Привидение, сыграв свою роль, спокойно и мирно сошло со сцены, и я опять уснула.

Почти все слушатели приняли рассказ миссис Бэлмор как выдумку, великодушно созданную в противовес злomu видению миссис Фишер-Симпкинс. Но кое-кто заметил, что ее рассказ носил печать подлинного убеждения. Каждое слово дышало правдой и искренностью. Даже человек, не верящий в привидения, при некоторой наблюдательности вынужден был бы признать, что она действительно видела странного посетителя, хотя бы в очень ярком сне.

Вскоре горничная миссис Бэлмор принялась укладывать вещи. Через два часа автомобиль должен был доставить миссис Бэлмор на станцию. Когда Теренс прогуливался по восточной веранде, миссис Бэлмор подошла к нему. В глазах ее сверкал лукавый огонек.

— Я не хотела рассказывать все другим, — сказала она, — но вам я расскажу. Я думаю, что в какой-то мере вы должны нести ответственность за это. Догадываетесь, каким образом привидение разбудило меня ночью.

— Загремело цепями, — предположил Теренс после некоторого раздумья, — или застонало? Они обычно делают либо то, либо другое.

— Не знаете ли вы, — со странной непоследовательностью продолжала миссис Бэлмор, — похожа я на кого-нибудь из родственниц вашего беспокойного предка, капитана Кинсолвинга?

— Не думаю, — в крайнем удивлении ответил Теренс. — Никогда не слышал, чтобы хоть одна из них была признанной красавицей.

— Тогда почему, — спросила миссис Бэлмор, серьезно глядя в глаза молодому человеку, — почему привидению вздумалось поцеловать меня?

— Боже! — воскликнул Теренс, широко открыв от изумления глаза. — Что вы говорите, миссис Бэлмор! Неужели он действительно поцеловал вас?

— Я сказала — оно, — поправила его миссис Бэлмор.

— Но почему вы говорите, что я должен нести за это ответственность?

— Потому что у этого привидения, кроме вас, нет родственников мужского пола.

— Понимаю. «До третьего и четвертого колена». Но, серьезно, неужели он... неужели оно... откуда вы?..

— Знаете? Как вообще знают? Я спала, и это прикосновение как раз и было тем, что разбудило меня, я почти уверена.

— Почти?

— Ну, я проснулась, когда... о, неужели вы не понимаете, что я хочу сказать? Когда вас неожиданно разбудят, вы не уверены, то ли вам снилось, то ли... и все же вы знаете, что... боже мой, Теренс, неужели я должна анализировать самые примитивные ощущения, чтобы удовлетворить вашу чрезвычайно практическую любознательность?

— Но в отношении поцелуев привидений, — смиренно сказал Теренс, — я нуждаюсь в самых элементарных сведениях. Я никогда не целовался с привидениями. Это... это?..

— Раз уж вы хотите поучаться, — сказала миссис Бэлмор, намеренно, но слегка шутливо подчеркивая каждое слово, — это дает ощущение чего-то среднего между физическим и духовным.

— Конечно, — сказал Теренс, вдруг становясь серьезным, — это был сон или какая-то галлюцинация. Теперь никто не верит в духов. Если вы рассказали эту историю по доброте сердечной, я не могу выразить, как я вам благодарен, миссис Бэлмор. Вы доставили этим маме величайшее счастье. Этот предок-освободитель гениальная выдумка!

Миссис Бэлмор вздохнула.

— Меня постигла обычная судьба тех, кто видит привидения, — смиренно сказала она. — Честь моей встречи с духом приписывают салату из омаров или фантазии. Что ж, у меня по крайней мере осталась одна память от этого крушения: поцелуй с того счета. Скажите, Теренс, капитан Кинсолвинг был очень храбрым человеком?

— Кажется, он был разбит под Йорктауном, — ответил Теренс, вспоминая. — Говорят, он удрал со своей ротой после первого же боя.

— Я так и думала, что он был робок, — рассеянно заметила миссис Бэлмор. — Он мог бы получить еще один.

— Еще один бой? — тупо спросил Теренс.

— Что же другое могла я иметь в виду? Теперь мне пора идти собираться. Через час автомобиль будет здесь. Я очень хорошо провела время в Клифтоне. Прекрасное утро, не правда ли, Теренс?

По дороге на станцию миссис Бэлмор вынула из сумочки шелковый носовой платок и посмотрела на него, загадочно улыбаясь. Потом завязала его несколькими крепкими узлами и бросила в удобный момент за край обрыва, вдоль которого шла дорога.

У себя в комнате Теренс давал распоряжения своему лакею Бруксу.

— Сложите это тряпье, — сказал он, — и отошлите его по адресу, указанному на этой карточке.

Карточка была от нью-йоркского костюмера. «Тряпьем» был костюм джентльмена далеких дней тысяча семьсот семьдесят шестого года, весь из белого атласа и с серебряными пряжками, белые шелковые чулки, белые лайковые туфли и в довершение пудренный парик и шага.

— И потом, Брукс, — с некоторым беспокойством добавил Теренс, — поищите шелковый носовой платок с моей меткой. Я, должно быть, обронил его где-то.

Месяц спустя миссис Бэлмор и еще одна или две дамы высшего общества составляли список лиц, приглашенных на прогулку в Кэтскилские горы.

Миссис Бэлмор в последний раз просмотрела список. Имя Теренса Кинсолвинга попало ей на глаза. Миссис Бэлмор провела по нему тонкую линию своим цензорским карандашом.

— Слишком застенчив, — нежно прошептала она в объяснение.

Джимми Хейз и Мьюриэл

Перевод В. Жак

I

Ужин кончился, и в лагере наступила тишина, сопровождающая обычно свертывание папирос из кожуры кукурузных початков. Маленький пруд светился на темной земле, как клочок упавшего неба. Тявкали койоты. Глухие удары копыт выдавали присутствие стреноженных коней, продвигавшихся к свежей траве скачками, как деревянные лошади-качалки. Полуэскадрон техасского пограничного батальона расположился вокруг костра.

Знакомый звук — шорох и трение чапarrала о деревянные стремена — послышался из густых зарослей повыше лагеря. Пограничники насторожились. Они услышали, как громкий, веселый голос успокоительно говорил:

— Подбодрись, Мьюриэл, старушка! Вот мы и приехали. А долгая получилась поездка, верно? Эх ты, допотопное существо! Да ну, будет тебе целоваться, право! И не цепляйся так крепко за мою шею. Надо тебе сказать, этот коняга под нами не очень тверд на ноги. Он еще, чего доброго, сбросит нас с тобой, если мы будем зевать.

После двух минут ожидания на лагерную площадку вылетела усталая серая в яблоках лошадь. Долговязый парень лет двадцати раскачивался в седле. Никакой Мьюриэл, к которой он обращался, не было видно.

— Эй, друзья, — весело закричал всадник, — вот тут письмо лейтенанту Мэннингу!

Он спешил, расседлал коня, опустил на землю свернутое в кольцо лассо и снял с луки седла путы. Пока лейтенант Мэннинг, командир полуэскадрона, читал письмо, он заботливо соскреб засохшую на путах грязь, показав тем самым, что бережет передние ноги своего коня.

— Ребята, — сказал лейтенант и помахал пограничникам рукой, — это мистер Джимми Хейз. Он зачислен в нашу часть. Капитан Мак-Лин прислал его к нам из Эль-Пасо. Хейз, когда стреножите коня, ребята вас накормят.

Пограничники приняли новичка радушно. Тем не менее они подвергли его внимательному осмотру и воздержались до поры до времени от окончательного приговора. Пограничники выбирают нового товарища в десять раз осмотрительнее, чем девушка возлюбленного. От выдержки, преданности, хладнокровия и меткой стрельбы вашего соседа в бою часто зависит ваша жизнь.

После плотного ужина Хейз присоединился к курящим у костра. Его внешность не рассеяла всех сомнений у его братьев по оружию. Они видели всего лишь длинного, сухопарого юношу с выжженными солнцем волосами цвета пакли и загорелым простодушным лицом, на котором играло добрая, лукавая улыбка.

— Друзья, — сказал новый пограничник, — я сейчас представлю вас одной моей знакомой леди. Я никогда не слышал, чтобы ее называли красавицей, но вы согласитесь, что она все-таки ничего себе. Поди-ка сюда, Мьюриэл!

Он расстегнул свою синюю фланелевую рубаху. Из-за пазухи у него выползла рогатая лягушка. Ярко-красная ленточка была кокетливо повязана вокруг ее колючей шеи. Она сползла на колено к хозяину и уселась там неподвижно.

— Вот у этой самой Мьюриэл, — сказал Хейз с ораторским жестом, — имеется куча достоинств. Она никогда не спорит, она всегда сидит дома, и она довольствуется одним красным платьем и в будни и в воскресенье.

— Вы только посмотрите на эту погань, — сказал, смеясь, один из пограничников. — Видал я рогатых лягушек, но никогда не видел, чтобы кто-нибудь взял себе такую дрянью в товарищи. Она что, знает вас?

— Возьмите ее и увидите, — сказал Хейз.

Небольшая короткохвостая ящерица, известная под названием рогатой лягушки, совершенно безвредна. Она уродлива, как те доисторические чудовища, уменьшенным потомком которых она является, но кротка, как голубь.

Пограничник взял Мьюриэл с колен Хейза и вернулся на свое сиденье из свернутых одеял. Пленница вертелась, царапалась и энергично вырывалась из его руки. Подержав лягушку с минуту, пограничник опустил ее на землю. Неуклюже, но быстро она заработала своими уморительными лапками и остановилась у ноги Хейза.

— Здорово, разрази меня гром! — сказал другой пограничник. — Никогда не думал, что у этих насекомых столько соображения.

II

Джимми Хейз стал общим любимцем в лагере пограничников. Он обладал бесконечным запасом добродушия и неиссякаемым мягким юмором, который очень ценится в походной жизни. Он был неразлучен со своей рогатой лягушкой. За пазухой во время езды, на плече или на колене в лагере, под одеялом ночью — маленький уродец никогда не покидал его.

Джимми был шутником того типа, который преобладает в сельских местностях Запада и Юга. Не умея ни изобрести что-нибудь новое по части развлечений, ни сострить экспромтом, он набрел как-то раз на забавную мысль и крепко ухватился за нее. Ему показалось очень смешным иметь при себе для развлечения друзей ручную рогатую лягушку с красной ленточкой на шее. Это была счастливая мысль — почему же не развивать ее до бесконечности?

Отношения, связывавшие Джимми с его лягушкой, трудно поддаются определению. Способна ли рогатая лягушка на прочную привязанность, это вопрос, для разрешения которого мы не располагаем данными. Легче угадать чувства Джимми. Мьюриэл была перлом его остроумия и в качестве такового была им нежно любима. Он ловил для нее мух и защищал ее от холодного ветра. Заботы его были наполовину эгоистичны, и все же, когда пришло время, она отплатила ему сторицей. Немало других Мьюриэл так же щедро вознаграждали других Джимми за их поверхностное увлечение.

Джимми не сразу добился полного признания со стороны своих товарищей. Они любили его за простоту и чудачества, но над ним все еще висел тяжелый меч отсроченного приговора. Жизнь пограничников состоит не только в том, чтобы дурачиться в лагере. Приходится еще выслеживать конокрадов, ловить опасных преступников, драться со всякими головорезами, выбивать из чапаррала шайки бандитов, насаждать закон и порядок с помощью шестизарядного револьвера. Джимми, по собственному его признанию, был преимущественно ковбоем и не имел опыта в пограничной войне. Поэтому пограничники в его отсутствие усиленно гадали, как он будет вести себя под огнем. Ибо, да будет всем известно, честь и гордость каждого пограничного отряда зависят от личной отваги составляющих его солдат.

Два месяца на границе было спокойно. Солдаты бездельничали в лагере. А затем, к великой радости изнывавших от скуки защитников границы, Себастьяно Салдар, знаменитый мексиканский головорез и угонщик скота, перешел со своей шайкой Рио-Гранде и стал производить опустошения на техасском берегу. Теперь были основания предполагать, что скоро Джимми Хейзу представится случай показать, чего он стоит. Отряд гонялся за бандитами неустанно, но у Салдара и его людей кони были, как у Лохинвара[1], и настигнуть их было нелегко.

Однажды вечером, перед закатом, пограничники после долгого перехода остановились на отдых. Усталые лошади стояли тут же, нерасседланные. Люди жарили сало и варили кофе. Вдруг из чащи зарослей на них выскочил Себастьяно Салдар со своей шайкой, стреляя из шестизарядных револьверов и оглашая воздух отчаянными воплями. Это было полной неожиданностью. Пограничники, раздраженно ругаясь, схватились за винчестеры; но атака оказалась лишь показным выступлением в чисто мексиканском духе. После этой шумной демонстрации налетчики с оглушительным криком ускакали прочь вдоль реки. Пограничники вскочили на коней и пустились в погоню; но уже мили через две их лошади выдохлись, и лейтенант Мэннинг отдал приказ прекратить погоню и вернуться в лагерь.

Тут обнаружилось, что Джимми Хейз исчез. Кто-то вспомнил, что, когда началась тревога, он побежал к своей лошади, но после этого никто его не видел. Наступило утро, а Джимми все не было. Думая, что он лежит где-нибудь убитый или раненый, пограничники обыскали все окрестности, но безуспешно. Тогда они пошли по следам банды Салдара, но она как в воду

канула. Мэннинг решил, что коварный мексиканец после своего театрального прощания снова ушел за реку. И действительно, ни о каких дальнейших набегах сведений не поступало.

Это дало пограничникам время разобраться в своих неприятностях. Как уже было сказано, честь и гордость каждого пограничного отряда зависят от личной отваги составляющих его солдат. И теперь они были уверены, что свист мексиканских пуль обратил Джимми Хейза в позорное бегство. Бак Дэвис хорошо помнил, что мексиканцы не дали ни одного выстрела, после того как Джимми побежал к своей лошади. Таким образом, он не мог быть убит. Нет, он бежал от своего первого боя и не захотел вернуться, зная, что презрение товарищей труднее вынести, чем вид направленных на тебя винтовок.

И в отряде Мэннинга из пограничного батальона Мак-Лина было невесело. Это было первое пятно на их знамени. Ни разу еще за всю историю пограничной службы ни один солдат не показал себя трусом. Все они любили Джимми Хейза, и это еще больше портило дело.

Проходили дни, недели и месяцы, а облачко неизжитого позора все еще висело над лагерем.

III

Год спустя, оставив позади много стоянок и изъездив с оружием в руках много сотен миль, лейтенант Мэннинг почти с тем же составом людей был послан на борьбу с контрабандистами на несколько миль ниже по реке от их старого лагеря. Однажды, пересекая густо заросшую мескитом равнину, они выехали на луг, изрезанный овражками. Тут глазам их представилась немая картина давнишней трагедии.

В одном из овражков лежали скелеты трех мексиканцев. Их можно было узнать только по платью. Самый большой скелет был когда-то Себастьяно Салдаром. Его громадное дорогое сомбреро с золотыми украшениями — шляпа, известная по всему Рио-Гранде, — лежало тут же, пробитое тремя пулями. На краю овражка покоились заржавевшие винчестеры мексиканцев — все они были направлены дулами в одну сторону.

Пограничники проехали в ту сторону пятьдесят ярдов. Там, в небольшой впадине, все еще целясь из винтовки в тех троих, лежал еще один скелет. Это был бой на взаимное уничтожение. Ни по каким признакам нельзя было опознать одинокого защитника. Его одежда, над которой немало потрудились дожди и солнце, могла быть одеждой любого ранчмена или ковбоя.

— Какой-нибудь ковбой, — сказал Мэннинг. — Они настигли его одного. Молодец парень! Задал он им горячих, прежде чем они уколошили его! Так вот почему мы больше ничего не слышали о доне Себастьяно!

И вдруг из-под истрепанных непогодой лохмотьев мертвеца вылезла рогатая лягушка с полинявшей красной ленточкой вокруг шеи и уселась на плече своего давно успокоившегося хозяина. Безмолвно рассказала она повесть о неопытном юноше и быстроногом сером в яблоках коне — как они в погоне за мексиканскими налетчиками обогнали всех своих товарищей и как мальчик погиб, поддерживая честь своего отряда.

Пограничники теснее столпились у трупа, и, словно по данному знаку, дикий вопль вырвался из их уст. Этот вопль был и панихидой, и надгробной речью, и эпитафией, и торжествующей песнью. Станный реквием над прахом павшего товарища, скажете вы, но, если бы Джимми Хейз мог его услышать, он бы все понял.